





БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАНА
М. ГОРЬКИМ



Большая серия
Второе издание



Л Е Н И Н Г Р А Д * 1 9 5 6

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

СТИХОТВОРЕНИЯ
И ПОЭМЫ



С О В Е Т С К И Й П И С А Т Е Л Ъ

*Вступительная статья,
подготовка текста и примечания
А. Л. Дыш и ца*

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

Недолгой была жизнь этого замечательного поэта.

Есенин родился 3 октября (21 сентября ст. стиля) 1895 года, умер 27 декабря 1925 года. Он прожил всего тридцать лет.

Недолгим был и его путь в литературе — всего лет десять-одиннадцать. В 1914 году имя Есенина стало появляться на страницах журналов, в 1916 году вышла в свет его первая книга. До революции он был еще малоизвестным, начинающим поэтом. Известность и слава пришли к нему с революцией, — его лучшие достижения принадлежат советской эпохе, советской поэзии.

Свою недолгую жизнь Сергей Есенин прожил бурно. Его писательский путь был путем нелегким и сложным. Поэт всегда был полон творческих исканий, сознание его было проникнуто глубочайшими противоречиями, — часто становилось оно полем битвы между пережитками и предрассудками прошлого и жизненными и творческими принципами новой, революционной эпохи. Трудным было движение Есенина к новому, советскому. И все же именно это движение имело решающее значение для его поэтического развития.

Есть в художественном наследии Есенина произведения, свидетельствующие о том, как уходящие, умирающие социальные силы пытались привлечь к себе поэта. Но гораздо больше оставлено Есениным стихов и поэм, говорящих о связи поэта с народной жизнью, с миром народных чувств и переживаний, с богатейшими национальными традициями русской культуры, с процессом рождения нового искусства, создаваемого эпохой величайшей из революций — Октябрьской социалистической революции. Поэзия Сергея Есенина — это яркое, выдающееся явление в истории советской литературы. Это — не остаток реакционного прошлого, доставшийся в наследие от дореволюционных времен, а проникнутое глубочайшим волнением, задушевное и истинно лирическое творчество советского поэта.

Сергей Александрович Есенин происходил из небогатой крестьянской семьи. Родился он в селе Константиново (ныне Есенино) Рязанского уезда Рязанской губернии. Отец будущего поэта, Александр Никитич, не мог прокормить на свои скудные заработки многочисленную семью, и Сергей Есенин с двух лет был отдан на воспитание довольно зажиточному деду по матери.

Дед Есенина был религиозным человеком. Как вспоминал впоследствии поэт, дед (подобно бабке, водившей его в отрочестве по монастырям) сильно влиял на его детское воображение пересказами различных церковных легенд и сказаний. Дед и дядья Есенина намеревались сделать его сельским учителем и с этой целью отдали мальчика в закрытую церковно-приходскую школу в Спас-Клепиках (неподалеку от Константинова). Они рассчитывали, что по окончании этой школы Сергей поступит в Московский учительский институт.

Однако Сергей Есенин избрал для себя иной путь. Окончив спас-клепиковскую школу, он двинулся в Москву, но вовсе не для того, чтобы выучиться здесь «на учителя». Его интересы уже в это время были тесно связаны с теми первыми поэтическими опытами, которые все больше и больше увлекали его на путь литературного творчества. Писать стихи Есенин начал очень рано, лет девяти, — но только выйдя из школы, он твердо уверовал в свое назначение.

Нелегко было юноше Есенину, выходящу из деревни, поэту-самоучке, пролагать себе путь в литературу в условиях царской России, в пору, когда большинство литераторов жило жизнью, далекой от интересов народа, его стремлений и надежд. Когда весной 1912 года Сергей Есенин прибыл со своими рукописями из рязанской деревни в Москву, разыскал там отца, служившего приказчиком в лавке замоскворецкого купца Крылова, и сам пристроился в конторе при этой лавке, его судьба должна была напоминать ему судьбу первых русских поэтов из народа — Алексея Кольцова и Ивана Сурикова, мучительно переживавших разлад между их творческими устремлениями и нравами окружавшей их мещанско-торгашеской среды.

Есенин недолго прослужил в конторе. Понасмотревшись на «свинцовые мерзости» замоскворецкого быта, он решительно (разругавшись с хозяином) оставил свою «должность» у купца. Любовь к литературе, к поэзии привела его в ряды литературного объединения писателей-самоучек из народа, в так называемый Суриковский литературно-музыкальный кружок, в котором с большим вниманием и заботой относились к начинающим писателям из рабочей и крестьянской среды. В кругу литераторов-суриковцев Есенин встретил С. Кош-

карова — человека с революционными убеждениями. Кошкарлов помог своими советами талантливому юноше и пытался сблизить его с рабочей средой. Есенин некоторое время работает в типографии, затем поступает рабочим на Патронный завод.

В 1912—1914 годах, живя и работая в Москве, Есенин длительно занимается самообразованием, ходит на лекции в Народный университет Шаняевского, много читает. Выбор книг для чтения подсказывался специальными его интересами к поэзии (отсюда — обращение к творчеству русских классиков, к сборникам народного устного творчества) и отчасти определялся средой московских рабочих, в которой вращался начинающий писатель. Кольцов, Некрасов, Гоголь — любимые писатели молодого Есенина, их он читает увлеченно, с любовью. Вместе с тем берется он и за книги, прочно входившие в круг чтения революционной молодежи, — за сочинения Белинского, за роман Чернышевского «Что делать?», за очерки Глеба Успенского. В письмах и заметках того времени он с восторгом отзывается о герое «Что делать?» — «особенном человеке», революционере Рахметове. Успенского он противопоставляет — как правдивого изобразителя крестьянской жизни — народникам, их утопическому, идеалистическому взгляду на деревню. Биографы Есенина справедливо отмечают прогрессивный характер таких его суждений. Они указывают и на то, что в пору нового подъема рабочего движения поэт участвовал в нескольких нелегальных сходках. Однако эти факты не дают еще права относить молодого Есенина к числу революционно настроенных людей. Более того, наступившие вскоре новые времена — годы первой мировой войны — далеко увели молодого поэта и от среды рабочих и от передовых, демократических идей.

В 1914 году начинается сотрудничество Есенина в издававшемся И. Д. Сытиным детском журнале для семьи и начальной школы «Мирок». Печатается поэт и в других аналогичных изданиях — журналах «Проталинка» и «Доброе утро». Появляются его первые, еще не замеченные литературной средой и критикой стихотворения. Это поэзия деревни, сельского пейзажа, детского «открытия мира». Это стихи, отмеченные отчетливым тяготением к традициям народной лирической песни, иногда перекликающиеся с мотивами поэзии А. Кольцова, С. Дрожжина. Характерно, что уже в этих ранних произведениях Есенина проявляется свойственная его лирике автобиографичность, возникает (в стихотворении «Молотьба») образ рыжебородого деда, который пройдет затем, приобретая все большую выразительность, через многие стихотворения последующих лет.

Таланту Есенина было тесно на страницах московских журналов для детей. Молодой поэт искал доступа в толстые журналы. Он разо-

слал свои стихи по московским редакциям, отправил их в Петербург, но так и не дождался ответов. Время было военное, рабочая печать, уделявшая так много внимания начинающим поэтам из народа, подверглась запрету, а в редакциях буржуазных изданий к безвестному сельскому поэту-самоучке никто не проявил должного внимания. Тогда Есенин решил самолично «нагрянуть» в Петербург и в марте 1915 года появился в столице.

2

В одной из автобиографий Есенин вспоминал: «Первый, кого я увидел, был Блок». Сохранилась записка, с которой Сергей Есенин обратился к Блоку. Вот она:

«Александр Александрович!

Я хотел бы поговорить с Вами.

Дело для меня очень важное.

Вы меня не знаете, а может быть, где и встречали по журналам мою фамилию.

Хотел бы зайти часа в четыре.

С почтением С. Е с е н и н.

На этой записке Блок сделал помету, передающую впечатление от встречи: «Крестьянин Рязанской губернии. 19 лет. Стихи свежие, чистые, голосистые, многословные. Приходил ко мне 9 марта 1915».

Встреча с Блоком, этим великим и проникновенным поэтом, вступившим в резкую борьбу против холодного эстетства и снобизма различных декадентских течений того времени, имела несомненно очень важное значение для молодого Сергея Есенина. Поэзия Блока не только учила Есенина лирическому мастерству, не только учила его избегать многословия, быть кратким, чтобы с предельной яркостью выразить в стихотворении эмоциональный мир художника. Блок, как поэт, стремившийся воплотить в поэзии некоторые характерные настроения, охватившие в военные годы народную Русь, Блок, как создатель знаменитого цикла «Стихи о России», был близок Есенину патристическими мотивами его произведений, горячей любовью к «могучей и бессильной» крестьянской Руси, горечью и негодованием, порожденными кровавой и несправедливой войной. Все эти мотивы были в ту пору неизмеримо сильнее выражены в произведениях Блока, чем в поэзии Есенина. И поэтому нельзя не почувствовать их воздействия, нельзя не ощутить влияния поэтической индивидуальности Блока на многие стихотворения Есенина предреволюционных лет (в частности, на лирическую сюиту «Русь», на такие стихи, как «Устал я жить в родном краю» и многие другие).

Вскоре у Есенина завязались связи с петербургской литературной средой. Молодым поэтом, выходцем из деревни, автором «свежих, чистых, голосистых» стихов, заинтересовались писатели-символисты. Есенин стал посещать салон Мережковского — Гиппиус — Философова, один из центров идеалистического мракобесия, познакомился с Алексеем Ремизовым и Андреем Белым. Символистской средой этот юный поэт, многие стихи которого были проникнуты религиозными мотивами и образами, рассматривался как живой аргумент в пользу реакционных теорий о народе-богоносце, о народе-страстотерпце, о якобы исконной религиозности «простонародья». Идеи и теории символистов в свою очередь произвели впечатление на Есенина, который благодаря своему религиозному воспитанию легко поддался этим «соблазнам». Так, в частности, символистские мистические теории отразились в рассуждениях Есенина на эстетические темы, изложенных в его брошюре «Ключи Марии» (1918), в попытках рассматривать искусство как форму религиозного «познания».

Заинтересовался Есениным и связанный с акмеизмом поэт Сергей Городецкий, ставший деятельным литературным покровителем молодого Есенина. При его содействии Есенин «побратался» с Николаем Клюевым. «Городецкий, — писал Есенин в автобиографии 1922 года, — свел меня с Клюевым, о котором я раньше не слышал ни слова. С Клюевым у меня завязалась, при всей нашей внутренней распри, большая дружба». Так состоялось включение Есенина в группу реакционных поэтов деревни, возглавлявшихся такими выразителями кулацких настроений, как Н. Клюев, С. Клычков и другие. По сути своего творчества Есенин не был прямым единомышленником этой группы Клюева — «певца мистической сущности крестьянства и еще более мистической «власти земли» (М. Горький). Но буржуазные литераторы и критики принялись усердно пропагандировать мысль о единой «платформе» Клюева и Есенина, об их творческой общности. Есенин на время поддался этим уговорам, стал смотреть на Клюева как на «старшего брата» в поэзии, но в дальнейшем, в двадцатые годы, обнаружилось, что путь Есенина идет к революции, тогда как Клюев твердо встает на позиции политического реакционера и мистика.

В 1916 году, в феврале, появилась книга стихотворений Есенина «Радуница», куда вошла лишь часть его ранних произведений, строго отобранная им для этого первого поэтического сборника. На страницах журнала «Северные записки» в первом полугодии 1916 года печатается повесть поэта «Яр», образ романтического героя которой, Карева, явно перекликается с образами удальца, бродяги, вольного человека, возникающими в 1915—1916 годах в лирике Есенина. В том

же 1916 году в журнале «Летопись», руководимом М. Горьким, появляется стихотворение Есенина «Заглушила засуха засевки», самый факт публикации которого говорит о внимании великого пролетарского писателя к молодому таланту, входящему в литературу.

Итак, Есенин предреволюционных лет вызывает живой интерес самых различных, более того — противоборствующих литературно-общественных сил. Ему покровительствуют разного рода декаденты. Но в то же время к его судьбе глубоко равнодушны Горький, Блок, для которых талант его оказывается весьма привлекательным.

Чем же вызвано это внимание к Есенину столь различных литературных деятелей? Думается, что ответ на этот вопрос коренится в тех противоречиях, которые столь явственно обнаруживаются в лирике молодого Есенина, в мироотношении и творчестве юного поэта.

Сергей Есенин пришел в город из деревни и принес с собой характерно крестьянские взгляды на жизнь. Эти взгляды молодого поэта были отмечены глубокими противоречиями. В стихотворении 1917 года «О Русь, взмахни крылами» Есенин вспомнил о любимом поэте — Алексее Кольцове, которого он по праву считал родоначальником крестьянской поэзии в России. Себя Есенин называл учеником этого большого народного поэта, его продолжателем. В какой-то мере оно так и было, но все же в гораздо меньшей степени, чем это представлялось Есенину. Социальные мотивы Кольцова, тема крестьянского труда, столь ярко разработанная им, тема крестьянской мечты о воле, так поэтично им претворенная в некоторых его песнях, — все это почти не получило отзвука в ранней лирике Есенина. Близким к Кольцову Есенин оказался в ряде поэтических образов и интонаций, в песенности, напевности стиха, в обращении к излюбленному кольцовскому образу молодца-удальца. Такое сужение кольцовской традиции у Есенина было, разумеется, далеко не случайным. Есенин вырос в среде зажиточного крестьянства, он был далек от деревенской бедноты, от горького батрацкого горя. И в ранних его стихах деревенские темы выступили вне их характерного жизненного содержания, вне типических социальных трагедий деревни, пережившей ужасы столыпинской реакции. Во многих ранних стихотворениях Есенина деревня нарисована светлыми, радужными красками, дана в тонах идиллических, с позиций созерцательных.¹ Именно такие стихи,

¹ Интересно отметить, что эти стороны мировоззрения и творчества Есенина очень верно определил в заметках-тезисах о его поэзии Д. А. Фурманов Среди черновых записей Фурманова сохранилась рукопись этих тезисов, в которой, между прочим, читаем: «... 6) Любит родину — Русь — сермяжную, иконную, ржаную, монастырскую, смиренную. 7) Деревня — идиллическая. 8) Социальный

поэтизирующие смирение и покорность, особенно устраивали символистов и акмеистов, под влиянием которых в творчестве Есенина стали укрепляться религиозные мотивы (такие стихотворения молодого Есенина, как «Микола», «Чую радуницу божью», «Я странник убогий» и др.). Все это выражало слабые стороны мировоззрения раннего Есенина, все это стесняло развитие реалистических тенденций в его лирике.

Впрочем, ни особенности взраставшей поэта среды, ни тлетворное влияние символизма не могли подавить в поэзии Есенина ее сильных, здоровых, прогрессивных тенденций. Горячая любовь к народу, деятельное патриотическое чувство были всегда свойственны Есенину. Социальные уроки, полученные Есениным в годы пребывания в Москве, в годы общения с рабочим людом, также не прошли для него даром. Патриотические настроения Есенина оказались сродни горячему, проникнутому искренним сочувствием к народу патриотизму Блока. В годы мировой войны окрепли и явственнее зазвучали в его стихах («Гой ты, Русь моя родная», «Русь» и др.) мотивы сыновней любви к отчизне:

Если крикнет рать святая:
— Кинь ты Русь, живи в раю! —
Я скажу: не надо рая,
Дайте родину мою.

В стихах первых военных лет вместе с глубокой верой в силу народа и народную любовь к родине звучат у Есенина и мотивы недовольства тяготами войны, оплакивания жертв, понесенных народом. Реалистические тенденции, изначально присущие поэзии Есенина, но выражавшиеся ранее главным образом в стихах о природе, теперь обретают большую социальную окрашенность. В несомненной связи с укреплением реалистических черт поэзии Есенина надо рассматривать и появляющийся в ней образ удалого молодца, восходящий отчасти к традициям лирики Кольцова. В стихотворении «Марфа Посадница», воспевая нравы старинного вечевого Новгорода, поэт любит героями народной вольницы, прославляет буслаевскую буйную ширь, лихое буслаевское молодечество. Однако образ молодца-удальца в лирике Есенина очень скоро отдалается от своего кольцовского прообраза. Удалой вольный человек, отважный бунтарь оказывается фигурой трагической — бродягой, кандальником, «вором». В таких

гнев мужика ему незнаком, мало знакома нужда — горе мужичье» (Архив Д. А. Фурманова. Институт мировой литературы имени А. М. Горького Академии наук СССР).

стихотворениях, как «В том краю, где желтая крапива» или «Устал я жить в родном краю», это выражается с особенной силой трагизма.

Лучшие стороны поэзии Есенина — ее патриотизм, гуманизм (так чудесно проявившийся в знаменитой «Песне о собаке»), зреющие реалистические тенденции — привлекали к ней внимание передовых литераторов. Но в предреволюционные годы эти прогрессивные черты есенинской лирики еще не победили ее слабостей. Судьба отчизны все еще представляется ему неизменной, жизнь русская как бы застывшей, навсегда остановившейся:

И Русь все так же будет жить,
Плясать и плакать у забора.

Подобно тому как «двоится» у Есенина облик жизни, так «двоится» и образ его лирического героя. То предстает он перед нами как бунтарь, готовый дать волю своим стихийным чувствам протеста:

Я одну мечту, скрывая, нежу —
Что я сердцем чист.
Но и я кого-нибудь зарежу
Под осенний свист.

То его восприятие жизни окрашивается мотивами благостного примирения с действительностью:

Все принявшему с улыбкой
Ничего от вас не надо.

И тогда лирический герой оказывается — совсем в традициях символистской поэзии — «прорицателем» сокровенного «мира тайн», мира религиозных представлений:

Глаза, увидевшие землю,
В иную землю влюблены.

В предреволюционные годы Сергей Есенин весь захвачен этой внутренней борьбой идейно-художественных противоречий, которая порою приводит его к контрастному решению однородных тем и сходных образов. Для исхода этой борьбы еще не настало время.

3

Революционные события 1917 года — свержение самодержавия, Великую Октябрьскую социалистическую революцию — Сергей Есенин встретил восторженно. Он воспринял революцию как начало новой эры. Недаром свои книги 1918 года — «Преображение», «Сель-

ский часослов» и переиздание «Радуницы» — он датировал: «второй год первого века». Но, приветствуя всем сердцем революцию, Есенин не мог, не умел разобраться в ее содержании и характере. Социалистическая природа великого Октября оставалась ему непонятной.

Революция воспринималась Есениным на мелкобуржуазный лад, как «вихрь», как стихия. «Этот вихрь, — писал он в сентябре 1918 года в брошюре «Ключи Марии», — который сейчас бреет бороду старому миру, миру эксплуатации массовых сил, явился нам как ангел спасения к умирающему, он протянул ему, как прокаженному, руку и сказал: возьми одр твой и ходи».

В 1917 году двадцатидвухлетний Есенин сблизился с группой литераторов и публицистов, объединившейся вокруг сборников «Скифы» и состоявшей из эпигонов народничества (Р. Иванов-Разумник и др.) и некоторых символистов (Андрей Белый и др.). «Скифское» течение пыталось истолковать революцию в националистическом духе; в нем неонароднический утопизм сочетался с декадентской мистикой, с призывами «освятить» религией революционный «вихрь». К «скифам» вполне закономерно примкнул Н. Клюев.

Влияние «скифства», влияние некоторых неонароднических идей и религиозные настроения дали себя знать в творчестве Есенина 1917—1918 годов. В его программной брошюре «Ключи Марии» обе эти тенденции выражены весьма отчетливо. Революция толкуется здесь как путь преобразования отчизны в духе народнической общинной утопии. Преображенная страна мыслится Есениным как общинный «мужицкий рай», где «нет податей за пашни», как «преогромнейшее древо» (символ мира в условной поэтической фразеологии Есенина. — А. Д.), под тенистыми ветвями которого люди будут отдыхать «блаженно», «мудро» и «хороводно». Такое «преображение» связано в сознании Есенина и с торжеством религии в душах «вольных пахарей». «Мы верим, — заявляет поэт, — что чудесное исцеление родит теперь в деревне еще более просветленное чувство новой жизни. Мы верим, что пахарь пробьет теперь окно не только *глазком* к богу, а *целым огромным, как шар земной, глазом*» («Ключи Марии»).

Рассуждая подобным образом, Сергей Есенин мыслил себя по меньшей мере идеологом российского крестьянства. На самом же деле именно в этих рассуждениях он был очень далек от жизни и настроений революционной деревни, действительно преобразенной Октябрем. В них он выражал лишь влиявшие на него в ту пору реакционные утопические чаяния и религиозные умствования «скифской» группы. Сами по себе эти публицистические высказывания Есенина (так же как и временные его связи со «скифским» течением) можно было бы

оставить без внимания, если бы они в известной степени не отразились в некоторых его стихотворениях тех лет. Такие стихотворения поэта, как «Певущий зов», «Инония», «Сельский часослов», «Преображение», «Отчарь», «Иорданская голубица», в той или иной мере развивают тему религиозного «оправдания» революции, тему новой, «революционной» веры. При этом, в отличие от «скифов», от Белого или Клюева, Есенин отнюдь не был озабочен вопросом о сохранении старых мистических «принципов» в новых исторических условиях. Прежде всего его увлекал пафос разрушительной борьбы против старой церковной религиозности, против казенной, ханжеской веры попов, пафос мечты о новом, справедливом жизненном укладе, освященном беспоповской религией. Для понимания есенинских религиозно-утопических идей этой поры особенно яркий материал представляет «Инония». Здесь Есенин одновременно — и бунтарь и мечтатель, здесь он яростный критик официальной религии и церкви, стремящийся поставить на место опохабленной поповским лицемерием религиозной веры новую, «свободную» религию. Образ чаемого «града Инонии, где живет божество живых», образ пришествия нового спаса, мужицкого мессии, едущего к миру на кобыле, — все эти образы символизируют религиозно-утопические мечтания поэта. Но и «Инония» (как и все названные выше стихотворения) меньше всего может рассматриваться только в качестве простой иллюстрации к подобного рода идеям. Значение «Инонии» и других стихотворений Есенина, отмеченных религиозными и утопическими мотивами и образами, гораздо шире. В этих произведениях поэт с огромной силой гнева и страсти нападает на старый мир насилия и лжи, проклинает «эксплуатацию массовых сил» и казенную церковь с ее лживыми легендами. Духу смирения и покорности противопоставляет он дух бунта — стихийного, вихревого, буслаевского, бунта яростного, не останавливающегося перед смелым богоборчеством. Есенин поднимается до гневного отрицания Иисуса, святых и праведников, канонизированных церковью, — иначе говоря, приходит к мотивам, никогда не замечавшимся ранее в его поэзии. Он восстает против церковного культа Иисуса:

Тело, Христово тело
Выплываю изо рта...
Ныне ж бури воловьим голосом
Я кричу, сняв с Христа штаны...

Так крепнут в поэзии Есенина ее бунтарские мотивы, едва наметившиеся в дореволюционной лирике и отражающие теперь, в начале революционной эпохи, пафос разрушения и ломки старого мира. Вос-

принимая революцию как стихию, поэт еще не видел, не понимал ее созидательных сил и перспектив. Но разрушительную ее ярость, справедливую и священную, он чувствовал всем сердцем и стремился передать в бунтарских, полных гнева и страсти мотивах своих произведений.

Итак, уже в первых послереволюционных стихах Есенина рядом с утопическими мечтаниями и религиозными «прозрениями» жила сильная революционная эмоция, жило горячее сочувствие героической революционной борьбе. Вот почему в стихотворении «Иорданская голубица» сквозь мишуру религиозных образов с внезапной силой и резкостью блеснули образы живые и яркие, идущие от самой жизни и от ее революционного восприятия:

Небо — как колокол,
Месяц — язык,
Мать моя — родина,
Я — большевик.

Конечно, большевиком Есенин не был, но сочувствие революционной расчистке одряхлевшего мира, начатой большевиками, жило в его сердце. И это самым решительным образом определяло непрочность и временный характер связей Есенина с группой «Скифы». С ней у поэта были «точки сближения»; но гораздо важнее оказывалась «линия расхождения».

Разрыв с группой «Скифы» был в значительной степени вызван у Есенина теми столкновениями между ним и Клюевым, которые начались в 1917 году. «Внутренняя распря», скрывавшаяся под внешностью «дружбы» с Клюевым (об этой распре позднее писал Есенин в автобиографии), зародилась именно в самом начале революционной эпохи. Клюеву претили бунтарские настроения Есенина; он выразил это в стихах 1917 года «Елушка-сестрица», посвященных Есенину и содержащих хитро завуалированное сравнение поэта-бунтаря с Борисом Годуновым — убийцей царевича Дмитрия (себя же Клюев сравнивал с невинной жертвой Годунова). Есенин принял этот поэтический вызов и в стихотворении «О Русь, взмахни крылами» отмежевался от Клюева. «Средний брат», Клюев, в его изображении представлен как елейный и благостный ханжа; он — «монашья мудр и ласков», он «весь в резьбе молвы» и «тихо сходит пасха с бескудрой головы». Совсем иной облик самого Есенина, облик бунтаря и жизнелюбца: «кудрявый и веселый», «разбойный», он «даже с тайной бога» заводит «тайно спор». Чтобы убедиться в сознательно полемическом характере такого изображения Клюева, следует познакомиться с письмом, написанным Есениным в 1918 году идеологу «скиф-

ства» Иванову-Разумнику.¹ Письмо это дышит негодованием против Клюева, Есенин возмущается теми славословиями, которыми «скифы» окружают его имя. «Уж очнь, — пишет Есенин, — мне понравилась, с прибавлением не, клюевская «Песнь солнценодца» и хвалебные оды ей с бездарной «Красной песнью» (также Клюева. — А. Д.)». И далее поэт поясняет строки своего стихотворения, относящиеся к Клюеву. «Середним» он, оказывается, назвал его как посредственность. «Значение среднего в «Коньке-Горбунке», да и вообще почти во всех русских сказках, — растолковывает Есенин, — «так и сяк». Поэтому я и сказал «он весь в резьбе молвы», то есть в пересказе сказанных». Это же письмо явилось и документом отречения от «скифства». «Штемпель ваш — «первый глубинный народный поэт», который вы приложили к Клюеву... — заявляет Есенин, — заставляет меня не появляться в третьих Скифах (т. е. в третьем сборнике группы. — А. Д.), ибо то, что вы и Андрей Белый сочли за верх совершенства, я счел только за мышинный писк». Клюев, — продолжал он, — «за последнее время сделался моим врагом... То единство, которое вы находите в нас, только кажущееся. «Я — яровчатый стих» и «приложитесь ко мне, братья» — противно моему нутру, которое хочет выплеснуться из тела и прокусить чрево небу». Как видим, Есенин весьма недвусмысленно заявлял о своем разладе с Клюевым. В том же 1918 году в «Ключах Марии» он прямо связал поэзию Клюева со старым миром, заметив, что, «уходя из мышления старого, капиталистического обихода, мы не должны строить наши творческие образы так, как построены они хотя бы, например, у того же Николая Клюева». Так революция решительно развела пути двух литераторов, о «единстве» которых столь настойчиво и вопреки истине твердила вся буржуазная критика, пытавшаяся сколотить вокруг Клюева отряд кулацких поэтов. Разрыв Есенина с Клюевым впоследствии выразился в эпиграмматических строках из стихотворения «На Кавказе» (1924), полных презрения к «среднему брату»:

И Клюев, ладожский дьячок,
Его стихи как телогрейка,
Но я их вслух вчера прочел —
И в клетке сохла канарейка.

«Нутро мое хочет выплеснуться из тела и прокусить чрево небу» — в таких метафорических выражениях Есенина сказались его бунтарские настроения и богоборческие порывы 1917—1918 годов.

¹ Черновой автограф письма хранится в архиве Института русской литературы Академии наук СССР.

При всей сложности и религиозной «замутненности» и затемненности образов ряда его стихов той поры, поэзия Есенина уже являлась поэзией, шедшей демонстративно на разрыв со старым миром, поэзией протеста и обличения. Высокая патетика, заставляющая вспомнить о стилевой манере неистового протопопы Аввакума или о письмах грозного царя Ивана к Андрею Курбскому, ораторский пафос таких стихотворений, как «Инония», были для Есенина ковым явлением на пути его творческого развития, явлением плодотворным, обогатившим стиль будущего автора «Пугачова», «Песни о великом походе» и гражданской лирики последних лет жизни Есенина.

Однако бунтарский и проповеднический пафос первых произведений Есенина революционной эпохи в значительной степени умерялся и снижался вследствие того, что их образная система и лексика оказывались засоренными разного рода условными символами и религиозными понятиями, почерпнутыми из Библии, а отчасти и из обветшалого арсенала декадентской поэзии. «Новый Назарет» и «град Инония», мужицкий спас и «древняя тень Маврикий», «луговой Иордань» и «благие селения» (как символ цветущей ландышами «загробной жизни») — все это приходило в кричащее противоречие со стремлением поэта отразить разрушительный размах революции, передать ее мощь и героизму. Лучше всего удавались Есенину такие стихи, в которых он почти не прибегал к усложненным образам — метафорам и сравнениям, чуждым духу и социальному содержанию нашей революции. А такие стихи у Есенина были; он создал их на заре победившей революции. Это величественная и вместе с тем глубоко лиричная «Кантата», посвященная памяти павших в боях за Октябрь. Это «Небесный барабанщик», одно из значительных произведений ранней советской политической лирики.

«Небесный барабанщик» — важное явление в идейно-художественном развитии Есенина на этапе 1917—1918 годов. Здесь движение поэта к гражданской лирике выразилось с наибольшей силой. Поэт подходит вплотную к пониманию революционного интернационализма. Он славит героизм революционного воинства и с ненавистью отзываясь о «белом стаде горилл», о белых армиях, брошенных империалистами против молодой республики Советов. В художественной форме этого произведения многое соответствует его идейной сущности, его содержанию: и его космические, планетарные образы, отвечающие теме революционной романтики:

Да здравствует революция
На земле и на небесах!

и его интонационные особенности, близкие интонациям торжественного марша или гимна:

Солдаты, солдаты, солдаты —
Сверкающий бич над смерчем. . .

Но и в это стихотворение Есенина вторгаются чуждые его духу, но свойственные в ту пору поэту религиозные образы и сравнения: вселенский «чаемый град», «сердце — свечка за обедней пасхе массы и коммун».

Наиболее программные, декларативные стихи Есенина, написанные в первом и втором годах нового века, в 1917 и 1918 годах, как уже сказано, были далеки от действительной жизни деревни и от настроений революционных, бедняцких масс крестьянства. Это не значит, однако, что Есенин того времени совершенно оборвал свои связи с деревней, с традициями крестьянской лирики, и в частности народной поэзии любви и природы. Мир крестьянской жизни, мир родной русской деревни никогда не исчезал из души Есенина. В первые два года революции этот мир рисовался поэту по прошлым воспоминаниям и мало походил на потревоженную великими переменами деревню той поры. Лирика Есенина обращается к темам родной природы, которые выступают в тончайших поэтических образах и переживаниях, запечатленных в таких мастерских стихотворениях, как «Я по первому снегу бреду» или «Зеленая причоска». Воспоминания детства и отрочества извлекают из памяти поэта лирические темы и образы, представляющие собой как бы наброски к будущим полотнам. Так появляется в стихотворении «Вот оно, глупое счастье» тема первой любви сельского парня к «нежной девушке в белом» — тема, которая много лет спустя разовьется в сюжетную основу поэмы «Анна Снегина». Так в стихотворении «Разбуди меня завтра рано» возникает образ «терпеливой матери» поэта, женщины-крестьянки, — образ, который широко предстанет впоследствии в лирической сюите, посвященной старушке матери. В своем отношении к деревне новой эпохи — эпохи военного коммунизма — такие стихи глубоко ретроспективны, уходит в мир прошлых впечатлений и переживаний. Но вместе с тем в этих стихотворениях Есенин — по самой природе своих образов и лирических чувств, по напевности стиха, по словарю — чрезвычайно близок к традициям устного народного творчества, к крестьянской лирической поэзии. В его лирике первых революционных лет, навеянной воспоминаниями о деревне, природа живет живой жизнью, как в народной сказке или песне. Поэт хочет слиться с этой «очеловеченной» природой. Он, как верно заметил Д. Фурманов, «все сравнивает. . . с миром

живых существ: небо, луну...». ¹ Яркие, картинные и живописные штрихи и детали, столь характерные для есенинского искусства изображения, также сближают его лирические стихи с фольклором. Зачины его стихов звучат как заповки. Красочные эпитеты обретают устойчивость и повторяемость, как в поэзии самого народа, как в песнях Алексея Кольцова. В этих стихах — и любовное творческое обращение к традициям народной устной поэзии, и тончайшее лирическое проникновение в мир природы, в живые краски среднерусского пейзажа.

В стихах на деревенские темы, написанных в начале советской эпохи, Есенин накапливал много поэтических богатств, которые он использовал впоследствии, достигнув высшего этапа в развитии своей лирики. Но в годы, когда эти стихи писались, они были незаметными по сравнению с его декларативными стихотворениями, проникнутыми пафосом бунтарства, протеста, вселенского, космического мятежа.

4

10 февраля 1919 года возникла одна из последних декадентских литературных групп, присвоившая себе имя — имажинизм. Сергей Есенин принял участие в деятельности имажинистов, выступал на их литературных вечерах, посещал их кафе с эксцентрическим названием «Стойло Пегаса», печатался в их сборниках, выходивших под крикливыми заглавиями.

Имажинизм представлял собой искусственную попытку продолжить в новых, революционных условиях традиции дореволюционного буржуазно-эстетского искусства. Он составил из осколков разбитых революцией литературных течений — символизма и эгофутуризма. Его организаторами (В. Шершеневич, А. Мариенгоф и др.) он мыслился как литературная школа со своими программными установками и требованиями. На смену формалистическому лозунгу футуристов: *слово — самоцель* имажинисты выдвинули новый лозунг: *образ — самоцель*. Этот лозунг они трактовали на совершенно формалистский лад, утверждая, что образ представляет собой явление чистой формы, «поедающей» содержание искусства.

Большинство имажинистов были типичными буржуазными эстетами, душевно опустошенными снобами. Именно такую характеристику и дал им Д. А. Фурманов, случайно посетивший их «Стойло Пегаса». В своем дневнике он записал: «Стойло Пегаса» является, в сущно-

¹ Из цитированных выше рукописных записей о Есенине, 1925. Архив Д. А. Фурманова.

сти, стойлом буржуазных сынков — и не больше... Пустота. Совершенная пустота».

Свое формалистическое и эстетское отношение к искусству имажинисты демонстрировали самым откровенным и вызывающим образом. Издавая тонкий журнал, они назвали его «Гостиница для путешественников в прекрасном». В книжке «Буян-остров» Анатолий Мариенгоф безапелляционно заявлял: «Искусство есть форма. Содержание — одна из частей формы». Другой «теоретик» имажинизма Вадим Шершеневич, автор брошюры « $2 \times 2 = 5$ », утверждал, что поэзию надо превратить в каталог образов, что «соединение отдельных образов в стихотворении есть механическая работа». Совершенно очевидно, что такие эстетические «принципы» не могли быть органически близкими Есенину, что Есенин ни творчески, ни по своим взглядам на искусство не мог сочувствовать холодному и бездушному эстетству. И тем не менее он оказался на время в рядах имажинистов в качестве одного из поэтов нового «течения».

Что же могло привести Есенина к имажинизму? На этот вопрос неоднократно давались различные ответы.

Полагают, что Есенина привела к имажинистам погоня за живописным, рельефным поэтическим образом. Возможно, что так. Но ведь несомненно, с другой стороны, что поиски такого образа у Есенина носили совершенно иной характер, чем у имажинистов, что для него это была задача творческая, далекая от механического составления каталогов экстравагантных, но пустопорожных образов, именовавшихся «поэзией» имажинистов.

Полагают, что Есенин пришел к имажинизму, стремясь найти себе литературное окружение, добиться шумной популярности, хотя бы и ценой скандальных эффектов. Возможно, что так. Больше того, этот мотив сыграл несомненную побудительную роль для Есенина при вступлении в группу имажинистов. Но и его нельзя считать единственным и решающим.

Не следует упускать из виду третьего момента, не менее, если не более важного. Сближаясь с имажинистами, Есенин не мог не заметить общности некоторых позаимствованных им у символистов мыслей о природе искусства со сходными мыслями, развивавшимися А. Мариенгофом и другими постояльцами «Гостиницы для путешественников в прекрасном». Не мог Есенин не приметить прямой переклички между его собственными словами о постижении «мира тайн» через «земную предметность» («Ключи Марин») со словами Мариенгофа, утверждавшего, что «прорывание земляных пластов реализма обещает на известной глубине серебряные струи мистического начала» («Буян-остров»). Эти мысли, свойственные тогда Есенину и

Мариенгофу, имели общий источник — реакционную, мистико-идеалистическую философию и эстетику символизма. У Есенина с этим глубоким заблуждением был связан особый, обостренный интерес к поискам предметного образа, у Мариенгофа же и прочих имажинистов их рассуждения о «мистике и реализме» оставались в пределах словесной игры позаимствованными понятиями, и «каталог образов» носил характер пустой эксцентриады.

Есенин не сразу разгадал истинную сущность своих новых «друзей» — имажинистов. Но, даже и постигнув ее, он еще некоторое время оставался с ними. Пребывание в их содружестве позволяло «завоевывать» скандальную и нездоровую, но шумную известность, которой пользовались тогда эти представители литературной богемы.

Тем временем Есенин решительно освобождался от предрассудков и иллюзий, привитых ему еще до революции символистами. Избавлялся он и от наносных влияний мистических теорий искусства, почерпнутых в той же символистской среде. Все это помогало ему разобраться в подлинной сути имажинизма, помогало понять, что «теории» имажинистов представляют проповедь эстетства в его самой отвратительной, эксцентрической, шутовской форме. В 1921 году Есенин отошел от имажинистов и выступил в печати с критикой своих бывших собратьев. В статье «Быт и искусство» («Знамя», 1921, № 9) он писал: «Собратьям моим кажется, что искусство существует только как искусство... У собратьев моих нет чувства родины во всем широком смысле этого слова, поэтому у них так и несогласованно все. Поэтому они так и любят тот диссонанс, который впитали в себя с удушливыми парами шутовского кривляния ради самого кривляния».

Написать так о своих недавних соратниках можно было, только глубоко осознав всю порочность их мировоззрения и творческую их ничтожность, серьезно переоценив собственный двухлетний путь. Этот путь изобиловал ошибками и заблуждениями. Общение с имажинистами пагубно сказалось на творчестве Есенина, на его нравственной личности, всегда с большой искренностью чувства выражавшейся в его лирике. Чрезмерное увлечение «предметными» образами также нанесло известный вред ряду его произведений, сделалось помехой для развития реалистических тенденций в его поэзии, для естественного, непосредственного раскрытия ее лирических тем. Но революционная действительность и патриотические и демократические традиции, никогда не угасавшие в его творчестве, помогли Есенину проложить резкую грань между его поэтическими исканиями и эстетским кривлянием имажинистов.

Период связей с имажинистами был для Есенина трудным време-

нем. Сближение с ними отрицательно сказалось на темах, образах, на самом направлении его поэзии.

Образ бунтаря, протестанта, одаренного буслаевской силой и ушкуйным размахом, появившийся в стихах Есенина в начале революционной эпохи, теперь отступает перед другим образом — хулигана, скандалиста, который в часы раскаяния «казнит» себя горькими, обидными словами — «похабник», «шарлатан». Стихотворения «Хулиган», «Исповедь хулигана» становятся для поэта как бы декларативными. Между тем в них наряду с известной поэтизацией богемы выражена и трагическая тема человека, примкнувшего к богеме и в то же время сознающего свою внутреннюю, духовную отчужденность от этой среды.

Я люблю родину.
Я очень люблю родину! —

воскликает Есенин в «Исповеди хулигана», — и это характерное признание. В стихотворении «Мне осталась одна забава» трагические противоречия в сознании художника, горячо любящего отчизну, родной народ и его высокую поэтическую душу, но сблизившегося с чуждой патриотизму и подлинному искусству средой, выражены с исключительной афористической четкостью:

Розу белую с черною жабой
Я хотел на земле повенчать.

Трагическая тема душевного разлада и кризиса, вызванного борьбой непримиримых начал — тяги к здоровым патриотическим чувствам, к народным нравственным принципам, к благородному гуманизму и срастания со средой деклассированной богемы, ее пьяным, угарным бытием, ее цинически-аморальными повадками, — развивается и в последующие годы в циклах «Москва кабацкая», «Любовь хулигана».

Поэзия Есенина, его лирика, уже в предреволюционные годы предстала как искусство большой искренности, как поэтическое зеркало его души. В стихах, через которые проходит тема хулигана, скандалиста, того поэта богемы, что «читает стихи проституткам и с бандитами жарит спирт», в этих стихах, где так много ст. поэзы и наигрыша, так много изломанных и болезненных движений души, мы встречаем и глубокие лирические признания и эмоциональные порывы, поражающие своей нравственной чистотой и прямотой, откровенностью мыслей и чувств. В них с большой трагической силой выражены, в частности, переживания поэта, влюбленного в отчизну и в то же время не находящего путей к познанию ее новой, современной

жизни, — поэта, горячо любящего свой народ, но не понимающего ни его сегодня, ни его завтрашних перспектив. Трагедия Есенина — это трагедия индивидуалистического сознания, столкнувшегося с новыми, коллективистическими формами жизни, остающегося еще чуждым новому, социалистическому жизненному началу и метнувшегося в лагерь анархистствующей богемы. Есенин этого времени — анархистствующий индивидуалист, который не случайно заявил в автобиографии, дагированной маем 1922 года: «в РКП я никогда не состоял, потому что чувствую себя гораздо левее». Это «ультралевизна» толкала Есенина к имажинистам, к литературной богеме, к стихам, в которых он пытался поэтизировать мотивы аморализма и индивидуализма. Но в то же время против «ультралевой» и «архилевой» позиции поэта восставали проникшие в самое существо его творческой природы патриотические и нравственные традиции, корнящиеся в трудовом народе, в демократических массах. Они-то и приводили поэта-«скандалиста» к покаянным мотивам, к нравственной самокритике. Они-то открыли впоследствии Есенину пути к советской современности, помогли преодолению проникших в его поэзию декадентских мотивов.

Плодотворное развитие патриотических и народно-нравственных традиций, которые никогда не затухали в сердце поэта, которые не угасали в его сознании даже в самые сумрачные годы — в пору его связей с имажинизмом, могло быть достигнуто только на путях сближения Есенина с новой жизнью. В период общения с имажинистами Есенин был очень далек от современной жизни народа, не чувствовал логики ее развития, не понимал преобразующей роли партии коммунистов. Все это мешало Есенину постигнуть новый облик деревни, все это приводило к тому, что в стихах о деревне поэт не мог запечатлеть картины ее революционного преобразования. А между тем деревня всегда — и даже в эту трудную для него пору — влекла к себе поэтический талант Есенина, судьбы крестьянства живо его волновали.

Тема деревни проходит через поэзию Есенина и в пору его дружбы с имажинистами. «Ветры, ветры, о снежные ветры», «Я последний поэт деревни», «Сорокоуст», «Песнь о хлебе», «Мир таинственный, мир мой древний» и другие — это характернейшие произведения его лирики, посвященной деревне и судьбам крестьянства. В названных произведениях Есенин в большей или меньшей степени, в формах элегических или обостренно трагических, вновь выступает как певец старого, патриархального деревенского уклада. Еще недавно поэт мечтал о торжестве общинной утопии, выражал веру в установление «мужицкого рая» на земле, надеялся, что деревня поглотит город, жизненный уклад которого воспринимался им в «Ключах Марии» в

виде антипода сельского уклада жизни. Теперь у Есенина наступило разочарование во всех этих иллюзиях. Поэт ощущал, что старая патриархальная деревня навсегда уходит в прошлое.

Гибель патриархального деревенского уклада, отступающего перед союзом города и деревни, рабочего класса и трудящегося крестьянства, перед перспективой широкого внедрения передовой техники в отсталую экономику деревенской Руси, — становилась все более очевидной. Оторвавшийся в то время от деревни, не связанный со слоями беднейшего крестьянства, поэт не понимал великих планов новых руководителей страны и не улавливал настроений основной крестьянской массы. Но, всей душой тоскуя по дедовской старине, он болезненно переживал крушение своих утопических иллюзий и неизбежную гибель старых деревенских «устоев». Отсюда такие произведения, как «Сорокоуст», как «Я последний поэт деревни», где Есенин пропел лирическую отходную умирающей деревенской старине. Отсюда и трагическое начало, столь остро выступающее в ряде есенинских стихов о деревне, связанное с тем, что поэт еще не понимал общности задач, стоявших перед трудящимися города и села, что он страшился «наступления» города на деревню. Эмоциональный тон большинства этих произведений — грустный, порою трагический. Но при этом даже самые надрывные стихи Есенина лишены (в отличие от кулацкой поэзии Клюева, Клычкова и т. п.) мотивов активной ненависти к революционной нови, наступающей на старое в деревне. Осознание Есениным краха его утопических иллюзий, еще так недавно владевших им в пору, когда писалась «Инония», выразилось в медленном созревании чувства неизбежности и закономерности тех путей, на которые выходила советская деревня. Это чувство выливалось в стихи, появлялось в них рядом с чувствами взволнованно грустными и окрашивало нежным лиризмом такие образы, как образ длинноногого, красногривого жеребенка (из «Сорокуста»), путившегося в безнадежное соревнование с поездом. Уже в это трудное для поэта время начали зарождаться в его поэзии первые мотивы того признания великих перемен, которое пришло к нему несколькими годами позднее.

В 1922 году выходит в свет драматическая поэма Есенина «Пугачов», представляющая собой первую попытку поэта выйти в творчестве на эпические просторы. Создавая свою поэму, Есенин много работал над историческими источниками, изучал по книгам историю пугачевского движения. Но широкой эпичности он так и не достиг, ярких картин крестьянской войны под руководством Пугачева он не написал. Сила Есенина — автора «Пугачова» проявилась не в сфере эпической, а в глубоком лиризме поэмы, в том, что каждая ее сцена представляет собой неповторимо яркую по эмоциональной насыщенности лирическую

миниатюру. В самом образе Пугачева Есенин также более всего стремился не к показу дел и изображению характера героя, а к его лирическому самораскрытию. В этом направлении ему удалось достигнуть больших успехов, показывая Пугачева как преданного народу защитника его интересов, как пламенного, непримиримого врага угнетателей. В работе над лирической темой Пугачева Есенин не сумел избежать и серьезных недостатков: он приписал своему герою несвойственные ему мотивы рефлексии, безотчетной грусти, предощущения неизбежной гибели. Все эти мотивы, решительно не вяжущиеся с образом реального, исторического Пугачева, безусловно помешали трактовке его как великого революционного героя. И все же Есенин глубоко и сильно выразил в поэме лирические переживания героя, ярко окрасил всю поэму собственным лирическим чувством,¹ — недаром его «Пугачов» заслужил горячее одобрение М. Горького.

Глубоко противоречивое, проникнутое резким столкновением различных устремлений, страстей и поисков, творчество Сергея Есенина периода гражданской войны было противоречивым и в художественном отношении. В работе поэта над образами его стихов и «Пугачова» — в работе, которой он отдавал преимущественное внимание, — в поисках предметного образа, выраженного в метафорах, аллегориях, сравнениях, сказывались искания и противоречия, характерные для поэта, то сближавшегося с имажинистами, то внутренне отталкивавшегося от них. Нарочитая образность, проповедовавшаяся имажинизмом, приводила порой Есенина к надуманным, вычурным образам, построенным искусственно и служившим не столько отражению, сколько мистифицированию действительности. Особенно насыщено такого рода образотворчеством стихотворение «Кобыльи корабли», но и в других произведениях Есенина имажинистского периода мы часто сталкиваемся с надуманными, усложненными, запутанными образами. Они встречаются и в «Сорокоусте», в «Пантократоре», в «Исповеди хулигана», в «Пугачове». Но есть у Есенина этих лет и прекрасные достижения в работе над образами. Есть образы, с ярчайшей живописностью передающие картину действительную, жизненную, как, например, в 3-й главке «Сорокуста». Есть и образы, с огромной эмоциональной яркостью и силой выражающие авторские лирические состояния и чувства увядания:

¹ «В «Пугачове» сказался Есенин: Есенинский Пугачев — сентиментальный романтик». — замечательно точно подметил Д. Фурманов в уже цитированных черновых записях о поэте (Архив Д. А. Фурманова).

Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым...

и порывистый романтический экстаз:

Дай с нашей овсяною волей
Засовы чугунные сбить,
С разбега по ровному полю
Заре на закорки вскочить.

Расставаясь с имажинистами, Есенин уходил и от искусственного сочинения метафор, становился на путь создания образов реалистических, лирически окрашенных авторскими чувствами, передающих характерные, существенные черты жизненных явлений и обстоятельств.

5

В 1921 году Есенин уехал в заграничную поездку, посетил Германию, Францию, Италию, побывал в Соединенных Штатах Америки. Пребывание за границей, довольно длительное, сильно содействовало росту симпатий Есенина к революционной, советской действительности. Весь контраст двух миров — мира капиталистического хищничества, угнетения и ограбления миллионов трудящихся и мира свободной жизни и небывалого в истории творческого подъема народных масс — был остро пережит и осознан поэтом.

В очерках о США, иронически озаглавленных «Железный Миргород» («Известия», 1923, № 192), Есенин сравнивал «царство скуки», господствующей в среде американского буржуазного мещанства, с атмосферой гоголевского «Миргорода», с нравами его «героев» — Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича, повествование о которых любимый писатель Есенина, Гоголь, закончил словами, полными презрения, гнева и тоски: «Скучно на этом свете, господа!». В Америке Есенин остро почувствовал благородную ненависть свободного советского гражданина, представителя литературы революционной России, к воротилам буржуазного общества и государства, «продажным и беспринципным журналистам», бизнесменам — служителям доллара, полицейским — слугам насилия. Политика расовой дискриминации возмущала его как убежденного гуманиста; он резко высказался о ней, коснувшись судьбы индейского народа: «Политика хищников разложила его окончательно. Гайавату заразили сифилисом и загнали частью на болота Флориды, частью в снега Канады».

С Запада Есенин следил за развитием жизни в молодой Советской республике, радовался достижениям родного народа. Находясь за

рубежом, он писал не много, но то немногое, что было им написано, свидетельствовало о поисках нового пути. Преодолеть полностью анархо-индивидуалистические настроения Есенин еще не мог, в стихах его все еще значительное место занимали тема и образы хулиганствующей богемы, но вместе с тем все больше и острее нарастали и расширялись мотивы патриотизма, гордости родной страной, ее народом, природой, искусством. Большое место в поэзии Есенина начинает занимать любовная лирика, отмеченная неподдельной искренностью чувств.

Пристально всматриваясь в советскую жизнь, раздумывая над судьбами отчизны, прошедшей через горнило революции и гражданской войны, над великими переменами в жизни народа, деревни, Есенин приходит к пониманию огромной силы Коммунистической партии. Он начинает сознавать руководящую и направляющую роль партии коммунистов в строительстве новой, свободной жизни родины. «...я, — пишет он в газете «Известия» (1923, 22 августа), — еще больше влюбился в коммунистическое строительство. Пусть я не близок коммунистам, как романтик, в своих поэмах, — я близок им умом и надеюсь, что буду, быть может, близок и в своем творчестве». Так вместе с признанием великой роли партии появляется у Есенина и стремление приблизить свою поэзию к запросам и требованиям коммунистического строительства.

Весьма нелегким путем, с многочисленными шатаниями, колебаниями, срывами, Сергей Есенин начинает осуществлять свою новую задачу — стать близким коммунистам.

С конца 1923 года намечается новый, высший этап его поэтического развития. Вступление в этот этап определялось только что процитированными мыслями поэта о партии.

6

1924—1925 годы — время наивысших творческих достижений Есенина. В эту пору существенно расширяется круг его лирических тем, создаются великолепные стихи, которыми поэт приветствует новую жизнь деревни, возникают превосходные эпические произведения, появляются стихотворения, проникнутые горячей любовью к Коммунистической партии, к В. И. Ленину.

В январе 1924 года поэт глубоко и остро пережил общее горе всех трудящихся — кончину В. И. Ленина. Под влиянием боли, вызванной этой утратой, Есенин пишет и публикует стихотворение «Ленин» — стрывок из задуманной им поэмы «Гуляй-Поле». В нем он пытается обрисовать черты любимого ленинского облика, говорят

о неразрывной связи Ленина с народом, о бессмертии великого дела Ленина. Стихотворение это кончалось строками, выразившими уверенность в том, что созданная Лениным партия осуществит его гениальные планы. Образ и имя В. И. Ленина возникают впоследствии и в ряде других произведений Есенина — в поэме «Анна Снегина», в стихотворении «Капитан земли».

Тема Ленина, нераздельно слитого с народом, революцией, коммунизмом, упрочила интерес Есенина к работе над историко-революционной тематикой. В 1924 году он создает поэму «Песнь о великом походе», выступая в ней замечательным мастером эпической живописи словом и поэтического повествования. Яркие, живые образы рядовых борцов-коммунистов, героически сражающихся за революцию, овеяны в этой поэме взволнованным авторским лиризмом. Значительным достижением Есенина в работе над историко-революционной темой явилась и его «Баллада о двадцати шести», воспевающая славных бакинских комиссаров, павших в борьбе за революцию и социализм. Свою «Балладу» Есенин писал тогда же, когда Николай Асеев и Вл. Маяковский создавали произведения, посвященные памяти двадцати шести бакинских комиссаров; вместе с этими произведениями она принадлежит к ярким образцам героической поэзии нашей эпохи. Уважение и любовь к великой партии коммунистов были доказаны поэтом в этих произведениях с большой эмоциональной силой и глубиной.

Тема деревни, сопровождающая творчество Есенина на всем его пути, приобретает теперь революционную трактовку. Окончательно исчезает у Есенина его настороженность по отношению к социальным процессам, происходившим в жизни крестьянской массы, уходит из его поэзии и мотив противопоставления города деревне. В таких стихотворениях, как «Возвращение на родину», «Русь советская», «Русь уходящая» и другие, поэт приветствует рабоче-крестьянскую Россию и с восторгом пишет об изменениях в жизни советской деревни, столь разительно бросившихся ему в глаза после приезда из-за границы. Весной 1925 года, в период высшего подъема передовых тенденций в творчестве Есенина, возникает стихотворение «Неуютная жидкая лунность», в котором поэт решительно расстается с былой идеализацией патриархальной деревенской отсталости, в котором он выступает за индустриальное преобразование России, за «стальную», могучую Русь.

Новые идейно-художественные тенденции проявляются и в других лучших лирических стихотворениях Есенина. Отчетливее вырисовывается в них авторский образ — образ человека, пробужденного революцией к новой жизни, не без трудностей и внутренней ломки

стремящегося идти в ногу с эпохой. Если раньше, особенно в имажинистский период, в стихах Есенина рядом с авторским образом появлялся образ лирического героя, несколько условный, с элементами искусственного наигрыша, то теперь облик автора предельно искренен и непосредственно раскрывается перед читателем во многих стихах, созданных Есениным в 1924 и первой половине 1925 года. В таких стихотворениях, как «Неуютная жидкая лунность», между автором и читателем происходит разговор «от сердца к сердцу». Речь ведет здесь не «загримированный» под «скандалиста» и «шарлатана» лирический герой, а сам автор, противопоставляющий свое прежнее отношение к нищей, тележной Руси новому, вызванному к жизни новой действительностью. И это он, не скрывая своих внутренних колебаний, роняет как бы мимоходом горькое признание:

Я не знаю, что будет со мною...
Может, в новую жизнь не гожусь...

И это он тотчас же переключает движение темы в оптимистический план, ставя общественный пафос выше личных колебаний, общественные задачи выше личной судьбы:

Но и все же хочу я стальную
Видеть бедную, нищую Русь.

Благодаря предельной авторской искренности, благодаря прямоте авторских чувств тема идейного роста поэта получает в его стихах большую полноту и выразительность.

Если еще недавно в лирике Есенина, разрабатывавшей тему личных переживаний, господствовала узкая камерность, мир казался бесконечно малым, все сводилось к узко личной трагедии, то теперь лирическая тема резко расширяется. Поэзия любви и личных отношений оказывается в ряде стихотворений и поэзией любви к отчизне. Русская березка, скромная и нежная, этот символ любви к России в поэзии Есенина, встает как живая картина и живет как живое существо, как любимая сестра, в стихотворении «Ты запой мне ту песню, что прежде»:

Я навек за туманы и росы
Полюбил у березки стан
И ее золотистые косы
И холщовый ее сарафан.

Но и образ сестры — милого, близкого, любимого существа — объединяется в этом стихотворении с образом березки, словно сливается с ним в сознании поэта:

Потому так и сердцу не жестко —
Мне за песнею и за вином
Показалась ты той березкой,
Что стоит под родимым окном.

Расставание с рядом прошлых «исторических грехов» — с крестьянской патриархальностью, с религиозными воззрениями, с повадками, воспринятыми от литературной богемы, от декадентства, — все это отражается в созданном поэтом цикле стихотворений исповедального типа. Это такие стихотворения, как «Мой путь» и серия стихов-«писем» — стихов, для которых не случайно избран жанр «письма», послания-исповеди: «Письмо к матери», «Письмо к женщине», «Ответ» (на «Письмо от матери»), «Письмо деду», «Письмо к сестре». Широко представлен и освещен в них путь жизненных превращений, духовной борьбы и роста поэта. Они явились и свидетельствами роста реалистических тенденций в поэзии Есенина, усиления ее психологического реализма, мастерства поэтического проникновения в сферу анализа душевной жизни.

В конце 1924 и начале 1925 годов, находясь на Кавказе, Есенин создает лирические стихотворения, поистине непреходящей силы. Это цикл «Персидские мотивы». Здесь же он пишет произведение большой реалистической глубины — поэму «Анна Снегина». Пребывание на Кавказе оказалось для поэта целительным. Расставшись с лепившейся к нему в Москве и Ленинграде литературной богемой, с декадентствующими «друзьями»-собутельниками, поэт сближается в Баку и Батуми со средой рабочих, посещает фабрики, заводит дружбу с партийными работниками, журналистами. Исключительно важным оказалось для него общение с таким выдающимся деятелем партии, как С. М. Киров, работавший в ту пору в Баку. Кавказский период творчества Есенина свидетельствует о заметном обновлении эмоционального строя его поэзии, он отмечен торжеством чувств жизнерадостных, оптимистического взгляда на мир.

«Персидские мотивы» Есенина принадлежат к его лучшим поэтическим достижениям. Это драгоценнейшие строки новой русской поэзии — лирика, в которой глубина мысли гармонически сочетается с силой страсти, где веселая, задорная ирония идет рука об руку с ликующими жизнерадостными чувствами, где яркая пейзажная живопись нерасторжимо слита с поэтическими раздумьями, где радость новых поэтических открытий не оттесняет исконной лирической темы Есенина — его любви к родным рязанским раздольям. В «Персидских мотивах» Есенин удивительно живо и органично, с большой поэтической естественностью воспринял и передал особенности классической

таджикской и персидской поэзии, ее афористическую четкость, ее характерную систему рефренов, некоторые традиционные для нее образы. Национальный колорит незнакомой страны (Есенин никогда не был в Иране) поэт сумел тончайше почувствовать через национальную поэтическую традицию.

«Анна Снегина» — лучшее эпическое произведение Есенина. Как и все поэмы Есенина, это произведение лирико-эпическое. Но картины действительности, анализ социальных отношений в новой поэме оказались шире и глубже, чем во всех его предыдущих работах в этом жанре. Ярко показаны Есениным картины жизни и борьбы в деревне между Февралем и Октябрем исторического 1917 года, революционные настроения крестьянской бедноты, революционный подъем крестьянских масс, пошедших за правдивыми, народными лозунгами большевиков. Все в поэме окрашено авторским лирическим отношением, и как сквозное действующее лицо проходит через нее образ автора — одновременно участника событий (или их наблюдателя) и рассказчика о событиях. В «Анне Снегиной» Есенину удалось достигнуть и того, что не было в полной мере достигнуто в поэме «Пугачов», — создания драматических характеров (Анны Снегиной, Прона Оглоблина и др.). Все реалистично в этой поэме: и картины жизни, борьбы, и образы крестьян, и психологическая разработка лирико-романтической темы. Есенин по праву гордился этой поэмой, считал ее своей большой удачей.

Итак, Есенин 1924—1925 годов — это поэт, во многом новый, широко шагнувший вперед в своем творческом развитии. И в то же время это поэт, в творчестве которого продолжалась интенсивная борьба между новыми устремлениями и грузом не до конца преодоленных старых предрассудков.

«К старому возврата больше нет...» — это отлично понимал Есенин. И об этом он написал в «Письме к матери» и во множестве других стихотворений. Но вместе с тем он не переставал чувствовать (и болезненно переживал) давление пережитков прошлого.

Я человек не новый!
Что скрывать?
Остался в прошлом я одной ногою,
Стремясь догнать стальную рать,
Скольжу и падаю другою, —

так с горечью признавался поэт в стихотворении «Русь уходящая».

В литературном окружении Есенина все еще вращались разного рода мнимые друзья, сохранившиеся от имажинистских времен. В поисках новых общений поэт сблизился не с лучшими советскими литера-

торами этой поры, а с так называемыми «перевальцами», среди которых не было боевых критиков-марксистов, способных оказать ему идейную помощь и поддержать его в поисках органической связи со «стальной ратью». В группе «Перевал» Есенин не мог найти принципиальной критики ряда своих идейных заблуждений, ибо в ней самой господствовали пережиточные буржуазные взгляды. «Перевальцы» восторгались и «общечеловеческим» подходом к проблемам гуманизма, сохранявшимся в некоторых стихах Есенина, и претензией на обособление своего искусства от политики, которую он иногда заявлял.

Если Владимир Маяковский в 1924 году в посвященной партии поэме «Владимир Ильич Ленин» заявлял о нераздельном слиянии советского поэта с рабочим классом, то Есенин именно в это же время, стремясь сблизиться с коммунистическими идеями, пытался все же отстоять некую «автономию» искусства, как области особых, «нутряных» эмоций.

Я

всю свою

звонкую силу поэта

тебе отдаю,

атакующий класс, —

восклидал Маяковский.

Отдам всю душу октябрю и маю,

Но только лиры милой не отдам, —

упорствовал Есенин. И эти его строки резким диссонансом, как неверный звук вторгались в отличное стихотворение «Русь советская». Маяковский уже тогда видел одну из своих задач в действенном наступлении на все мерзости, оставшиеся новому в наследие от дореволюционного прошлого. Есенин же в стихотворении «Русь уходящая» призывал дожидаться, пока сами умрут, сами истлеют «люди» с кровью, заплесневелой, как пруд. В этом различии общественной позиции (у Есенина, разумеется, далеко не последовательной, как о том свидетельствуют «Анна Снегина», «Песнь о великом походе» и многие другие произведения) сказывалось различие между боевым социалистическим гуманизмом Маяковского и пережитками ложной сентиментальности, отразившимися у Есенина. Там, где Маяковский всегда, как и в самой жизни, находил поэзию познания и преображения действительности — в трудах основоположников марксизма. — Есенин усматривал лишь «премудрость скучных строк». Все эти неизжитые заблуждения и ошибки Есенина, отступавшие уже перед развитием новых, про-

грессивных тенденций в его взглядах и творчестве 1924—1925 годов, все же проявлялись и в его литературной позиции и в его стихах. Они оставались предпосылками для очередного воздействия на Есенина со стороны декадентствующей богемы, свидетельствовали о незащищенности его от тлетворных влияний.

Вскоре после возвращения Есенина с Кавказа вновь наступила для поэта, на этот раз гибельная, полоса дулового кризиса. «Друзья-враги» снова со всех сторон облепили его, втягивая в атмосферу беспобудного пьянства и разгула. Маяковский вспоминал впоследствии, что видел Есенина в эту финальную пору его жизни при случайных встречах в утрашающе растерзанном состоянии, с лицом распухшим, серым и испитым. Несудачными оказывались все попытки отвоевать Есенина, вырвать его из окружения тех, кого Борис Лавренев в статье, посвященной гибели Есенина, метко определил как «стервятников и паразитов... которым нужно было какое-нибудь большое и чистое имя, прикрываясь которым можно было удержаться лишний год на поверхности, лишний час поцарствовать на литературной сцене ценой скандала, грязи, похабства, ценой даже чужой жизни». Другой писатель, поделившийся своими воспоминаниями о Есенине сразу после его смерти, Николай Никитин, писал, что поэт был доведен до тяжелого психического недуга, что в последние дни жизни он находился в депрессивном состоянии, страшился оставаться один.

Стихи Есенина последних месяцев 1925 года с огромной силой чувства рассказывают о том, как погибал поэт, как яростно и отчаянно боролись в нем два начала — слабеющей воли к творчеству, достойному эпохи, и трагически воспринимаемого бессилия перед «чорной жабой», перед декадентским окружением, толкающим его навстречу смерти. До конца своей жизни Есенин сохранял сильнейший поэтический талант, его сердце было переполнено поэзией. Поэтические силы Есенина оставались нерастраченными (хотя и подточенными), — для подтверждения этого достаточно обратиться к его стихам, датированным сентябрем и октябрем 1925 года, к той поэтической сюите, которая вылилась у него на бумагу в ночь с 4 на 5 октября. В набросках, отрывках, этюдах, созданных в эту ночь, поражает четкость и яркость образов, острота видения мира и напряженность чувств, то резкое сознание безысходности своей трагедии, которое Есенин предельно ясно выразил в концовке написанного 4 декабря стихотворения «Ты меня не любишь, не жалешь»:

Кто сгорел, того не подожжешь.

В последних стихах Есенина лирическая тема снова сужается до узко интимной, «камерной»; тема исповеди, еще недавно решавшаяся

оптимистически, приобретает характер пессимистически-трагедийный. 14 ноября 1925 года Есенин завершает стихотворение «Черный человек», маленькую поэму, «исповедь горячего сердца». Это одно из самых страшных свидетельств душевной опустошенности, к которой пришел поэт накануне своей гибели. «Прескверный гость» — черный человек, читающий поэту, как отходную по мертвецу, книгу его жизни, — это образ, навеянный Есенину строками из пушкинского «Мопарта и Сальери», словами Моцарта:

Мне день и ночь покоя не дает
Мой черный человек. За мною всюду,
Как тень, он гонится.

Вместе с тем черный человек у Есенина — это как бы символ тех черных сил, которые обступили поэта, — сил, которые вызывали его ненависть и с которыми он уже не мог бороться. В «Черном человеке», произведении, проникнутом предчувствиями неизбежной гибели и страхом смерти, отразившем черты психической болезни, развивавшейся у Есенина, некоторые образы не случайно «возвращаются» по своему характеру ко временам есенинского имажинизма. Эти гротескные, далекие от реализма образы («Голова моя машет ушами, как крыльями птица. Ей на шею ноги маячить больше невмочь...») — свидетельства и тяжелого душевного состояния поэта и того, что кризис духовный неизбежно вызывал у него кризис художественный. Другое характерное и трагическое свидетельство того же — предсмертная записка Есенина, восемь стихотворных строк, собственной кровью написанных в ленинградской гостинице «Англетер» перед самоубийством. В этом прощальном стихотворении глубоко пессимистический взгляд на жизнь сочетается не случайно с интонациями «жесточкого романа».

В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей...

— с этими словами ушел Есенин из жизни. Именно эти строки иные современники поэта — и прежде всего его «друзья», эти враги всего нового, советского, новаторского, — постарались объявить его завещанием и поднять до уровня «общественной философии». «Сразу стало ясно, — писал в связи с этим Маяковский, — сколько колеблющихся этот сильный стих, именно стих подведет под петлю и револьвер... С этим стихом можно и нужно бороться стихом, и только стихом». Маяковский и явился тем поэтом, который стихом парализовал вреднейшую «философию» предсмертных стихов Есенина.

Надо
вырвать
радость
у грядущих дней.
В этой жизни
помереть не трудно —
Сделать жизнь
значительно трудней, —

этими словами стихотворения «Сергею Есенину», полными революционной мощи и правды, полными боевого, жизнетворческого оптимизма, Маяковский сразил действие ноющих, пессимистических строк Есенина.

7

Сергей Есенин был значительным, талантливым поэтом, лучшие достижения которого прочно вошли в советскую литературу. Не зная поэзии Есенина, нельзя многого понять в творчестве таких различных по индивидуальности русских советских поэтов, как Николай Полетаев, Василий Казин, Александр Твардовский, Михаил Исаковский, Александр Прокофьев, С. Щипачев и др. Для каждого из них оказались творчески близкими и дорогими разные черты и особенности поэтического наследия Есенина. Есенин стал явлением живой художественной традиции.

Творческий путь Есенина был, как мы могли убедиться, сложным, неровным, извилистым. Были на этом пути ослепительные взлеты, были и до боли обидные падения. Но при этом даже в самые трудные для него времена Есенин не порывал с народно-поэтической традицией, из которой он вырос как художник. Даже во времена его срывов и падений хоть в чем-то, а отражалась эта связь: хотя бы в неповторимо чистом и прекрасном образе, хотя бы в интонации — напевной и голосистой, в метком, сочном слове, веками шлифовавшемся народом и теперь прочно входящем в язык литературы. Вот почему даже в слабых произведениях Есенина (а таких у него было немало), в стихах неровных или испорченных ложными идеями, мы сталкиваемся с отдельными деталями, которые могли быть созданы только замечательным мастером, встречаемся с такими художественными находками, которые навсегда принадлежат поэзии и радуют сердце каждого, кому дорога поэзия. Все это могло произойти только потому, что Есенин, несмотря на его шатания, всегда оставался связанным (в большей или меньшей мере) с традициями родной литературы и устно-поэтического

творчества русского народа. Он любил историческое прошлое своего народа, верил в его прекрасное будущее и хотел быть близким его современной жизни. И хотя последнее не всегда Есенину удавалось, тем не менее он никогда не отворачивался от народа. Он мог многого не понимать в современности, мог искренне заблуждаться, но он всегда по-сыновнему любил отчизну.

Есенин чрезвычайно расточительно относился к богатствам своего природного таланта. Он далеко не развернул всех поэтических возможностей, меньше работал в процессе написания своих лирических стихотворений, чем того требовала культура поэтического труда. Иногда осознание этого приходило к поэту, и тогда он «каялся» в стихах, в следующих признаниях:

Какой скандал!
Какой большой скандал!
Я оказался в узком промежутке.
Ведь я мог дать
Не то, что дал,
Что мне давалось ради шутки.

Характерно, что эти стихи были написаны Есениным в начале его наивысшего и последнего творческого подъема.

Не следует, впрочем, считать, что поэзия Есенина — результат только «нутряного» переживания, что стихи его просто, без значительной предварительной работы «выплескивались» на бумагу. Поэт пристально всматривался в жизнь, в историю, изучал многообразный мир природы. Ко всему он вырабатывал свое отношение, и в его стихах момент «оценочный», момент художественной тенденциозности (в лучшем смысле этого слова) играл важнейшую роль. Создавая свои произведения, Есенин внимательнейшим образом осваивал художественный опыт классической русской литературы. С начала его пути ему был дорог и близок Гоголь, и живописные, красочные эпитеты создавались Есениным при творческой опоре на пестрые гоголевские эпитеты, на поэтические краски «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Песенный строй и образы природы у Есенина часто заставляют вспомнить о Кольцове и авторе «Рябины» — Сурикове. В зрелые годы своего творчества — в 1924—1925 годах — Есенин переживал подлинный культ Пушкина, который (как и использование повествовательной манеры Некрасова) благотворно отразился в «Анне Снегиной». Александр Блок был не только первым учителем Есенина — его лирика оставалась полной обаяния для «ученика» и в годы его творческого расцвета.

Общезвестно, что народное поэтическое искусство явилось одним из источников поэзии Есенина. Поэзия народа была еще в детстве

воспринята Есениным как одно из прекраснейших явлений самой жизни — жизни рязанского села. И ранние стихи поэта часто представляли собой творчески оригинальные переработки народных песен («Заиграй, сыграй, тальяночка», «Хороша была Танюша» и др.). В дальнейшем Есенин не переставал пользоваться напевным строем и песенными ритмами народной поэзии. Язык народа и его поэзии он изучал не только в живом общении, но и по книгам, «Толковый словарь» В. И. Даля был для него одно время настольной книгой. Брошюра Есенина «Ключи Марии», так же как и многие произведения поэта, говорит о том, что Есенин весьма внимательно работал и над трудами ученых-фольклористов, и над собраниями сказок, загадок, пословиц (сборники А. Н. Афанасьева, В. И. Даля, Д. Н. Садовникова). Исследование Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу», некоторые труды Ф. И. Буслаева, В. В. Стасова, А. А. Потебни были внимательно прочитаны поэтом.

Сам Есенин в «Ключах Марии» указал на то, что, создавая новые поэтические образы, он не раз прибегал к народным загадкам. И в самом деле, многие образы стихов Есенина (особенно периода связи с имажинистами, когда поэт усиленно работал над образами) представляют собой оригинальную метафоризацию загадок, почерпнутых из живого обихода или из книжных собраний. Народная загадка «Санки бежат, а оглобли лежат», обозначающая реку, помогла поэту создать образ — «Рыжий месяц жеребенком запрягался в наши сани...». Загадка о мельнице «Крыльями машет, а улететь не может» превратилась под пером Есенина в строки: «Так мельница, крылом маякая, с земли не может улететь...». Даже в более поздних стихотворениях поэта, где отсутствует столь густая насыщенность образами-метафорами, как в поэзии имажинистского периода, используются образы загадок. Так, строки из стихотворений «Метель» и «Весна»: «Луну, наверное, собаки съели...» и «А ночью выплывет луна — ее не слопали собаки...», как уже отмечалось в литературе, восходят также к народной загадке, зарегистрированной в известном сборнике Садовникова «Загадки русского народа»: «Над бабиной избушкой висит хлеба краюшка. Собаки лают, а достать не могут» (луна). С использованием загадки связываются и некоторые образы известной есенинской «Песни о хлебе», которые перекликаются и с загадкой «Режут меня, вяжут меня, бьют нещадно, колесуют меня; пройду огонь и воду, и конец мой — нож и зубы» и с цитатой из «Слова о полку Игореве», которую привел Есенин в брошюре «Ключи Марии»: «На Немиге снопы стелют головами, молотят цепами булатными, на току жизнь кладут, веют душу от тела».

В период высшего расцвета своего творчества Сергей Есенин уже

меньше пользовался книжными источниками в поисках фольклорных мотивов и образов. Для тем историко-революционных (для характеристики первых лет революции) он обращался к современному поэтическому творчеству народа — к солдатской и матросской частушке, к сказовой манере («новый вольный сказ»), к зачинам-запевкам и шуткам-прибауткам в «Песне о великом походе», к народному просторечью, помогавшему ему через языковую характеристику персонажей ярче представлять различные социальные типы, в той же поэме и в «Анне Снегиной». Народное поэтическое творчество предоставило Есенину — его отличнейшему знатоку — огромные лексические богатства. И поэт действительно черпал из этих богатств для своего поэтического языка. Зачастую в поэзии Есенина попадают народные выражения, редко встречающиеся в литературном обиходе, но представляющие удивительно точные народные определения. Константин Паустовский в своей книге «Золотая роза» хорошо рассказал о том, как Есенин владел языком народа, — на примере одного словечка — «свей», с которым он встретился в стихотворении «В том краю, где жолтая крапива». Слово это поразило писателя, оно было ему незнакомо, но он чувствовал, что в нем заключено большое поэтическое содержание. Только с годами узнал Паустовский, что «свей» — это волнистая рябь на песке, остающаяся после ветра. «Вот почему, — замечает К. Паустовский, — Есенин написал «ветряный свей» и упомянул про песок («по тому ль песку...»). Больше всего я был рад, что это слово выражало... простое и поэтическое явление природы». Так на отдельном примере видно, что давало Есенину его превосходное знание устной поэзии народа, его тончайшее чувство народного языка, точного и поэтичного.

Поэтическая натура Есенина отличалась неповторимой творческой индивидуальностью. Есенин был прежде всего лириком, и — как лирик — он обладал исключительным даром, о котором замечательно верно сказал Горький, — искусством глубокого поэтического самораскрытия. Творчество Есенина благодаря огромной искренности автора представляет как бы поэтический дневник его жизни и души.

Вершинные достижения Есенина — это лучшие произведения его лирики, стихи, вылившиеся из сердца поэта, раскрывающие мир его переживаний, передающие окрашенные сильным и взволнованным авторским чувством картины жизни. Благодаря тому что в лирической поэзии Есенина ведущая роль принадлежит образу ее автора, что героем этой поэзии часто выступает сам автор — она носит глубоко драматический характер. Сергей Есенин — один из выдающихся представителей русской драматической лирики, созданной такими гениальными поэтами, как Н. А. Некрасов, Ф. И. Тютчев (в его знаменитом цикле о трагедии поздней любви, обращенном к Е. А. Денисьевой),

Александр Блок. Каждому из названных поэтов, как мастеров драматической лирики, Сергей Есенин близок в большей или меньшей степени: ему родственна и некрасовская прямота чувства, и тютчевская напряженная и скорбная страсть, и блоковские — предельно искренние — эмоциональные порывы и искания. Близок он силой и прямотой лирического самораскрытия и крупнейшему из своих современников — Владимиру Маяковскому; только если у Маяковского поэтическое самораскрытие служило созданию образа человека-борца, воплощающего высокие социально-нравственные принципы коммунизма, то трагическое духовное самообнажение у Есенина открывало читателю мир страстей и исканий «переходника», рвущегося из старого мира в новый и не находящего верных путей в будущее. Вместе с тем Есенин-лирик обладал высоким искусством выражать в индивидуальной и часто неповторимой форме общепародные, коллективные чувства, родные и близкие всем простым и душевно чистым людям.

Лиричность Есенина не ограничивается, однако, только этими замечательными ее свойствами. Она сильна тем, что в основе ее лежит напряженная эмоция, глубокое чувство, переживание и страсть. Образы, которые создавал зрелый Есенин, картины, которые он рисовал, почти всегда лишены созерцательности.

Чем дальше развивался Есенин, тем все больше и больше уходили в прошлое мотивы пассивного восприятия действительности, тем все более и более отчетливо выходили в его лирике на первый план драматические темы — темы исканий и переживаний поэта. Каждая деталь в изображаемой действительности приобретает под пером Есенина дополнительную эмоциональную характеристику: образ простой бревенчатой избы сопровождается эпитетом — золотая («Все равно остаться мне поэтом золотой бревенчатой избы»), и «щмящее слово — милый» преобразует в сознании поэта окружающую его жизнь. Эпитеты приобретают все большее значение в поэзии Есенина; золотой, синий, голубой, нежный, тихий, светлый — это не только определения черт облика и состояния, но и выражения эмоционального видения поэта:

Эх ты, молодость, буйная молодость,
Золотая сорвиголова!

Несказанное, синее, нежное,
Тих мой край после бурь, после гроз...

Милая, добрая, старая, нежная,
С думами грустными ты не дружись...

Голубая кофта. Синие глаза.
Никакой я правды милой не сказал...

Его красочные эпитеты и цветастые определения как бы не существуют для поэта сами по себе, а живут в связи с его душевным состоянием, настроением и отношением к действительности. Эстетская созерцательность была чужда самой творческой сущности Есенина, те или иные краски природы, окружающей действительности волновали его прежде всего как элемент переживания. Отсюда и это обилие психологических сравнений, психологических параллелей в его лирике:

На душе лимонный свет заката...
Осенним холодом расцвечены надежды,
Бредет мой конь, как тихая судьба...

Отсюда и образное перевоплощение эмоций, превращение чувства, переживания, понятия в живой и пластический образ, созданный путем сравнения с явлениями природы, с миром окружающих существ:

Что ж так имя твое звенит,
Словно августовская прохлада...
Я утих. Годы сделали дело...
...Словно тройка коней оголтелая
Прокатилась во всю страну...
Этой грусти теперь не рассыпать
Звонким смехом далеких лет,
Отцвела моя белая липа,
Отзвенел соловьиный рассвет...

Как тонкий лирик и глубокий знаток народной поэтической мудрости Есенин не мог не передать в своей поэзии отдельных существенных черт народной жизни и истории. На своих подъемных этапах его лирика насыщалась эпическими чертами; стремление к эпичности было свойственно Есенину как создателю талантливых поэм. Правда, в его произведениях часто сказывалась сужающая их реалистические тенденции субъективность восприятий, проявлявшаяся особенно в годы, отмеченные его идейными падениями. И тем не менее Есенин показал себя в ряде лучших произведений как художник, сумевший чутко уловить социальное содержание и национальный колорит русской жизни в напряженнейшие моменты ее истории, воспев трагическую и героическую пору пугачевского движения, отобразив и в поэмах и в лирике славную пору революции и борьбы за советскую власть.

Процесс развития Есенина был процессом укрепления реализма в его творчестве. Реалистические тенденции были свойственны Есенину с самого начала его художественной деятельности, но в ранних произ-

ведениях поэта они проявлялись еще довольно робко. Мешало Есенину в известной степени и воздействие модного в предреволюционную пору поэтического декаданса. В творчестве раннего Есенина отчетливо выразилось стремление к реалистическому видению и отражению мира и вместе с тем проявлялись импрессионистские тенденции, столь характерные для субъективной лирики.

В годы революции и гражданской войны поэт выходит к широкой социальной тематике, к напряженным социально-нравственным исканиям. Он стремится к новаторскому решению своих тем, но надуманный и вычурный характер многих созданных им образов, искусственность и усложненность стилистического рисунка ряда его произведений не дают полного простора развитию реализма в его поэзии.

Торжество реализма относится в поэзии Сергея Есенина к двадцатым годам. В это время поэт достигает в своих лучших произведениях поистине классической простоты и ясности выразительных и изобразительных средств, творчество его обогащается подлинными удачами в таких жанрах, как поэма, послание, романс, резко расширяется диапазон его лирических тем и переживаний. Зрелое реалистическое мастерство Сергея Есенина проявляется не только в характере изображения действительности, но прежде всего в глубине и силе проникновения во внутреннюю, духовную жизнь человека. Душа самого поэта, мир его страстей и порывов, мир его эмоций (от трагедийного накала до мягкого юмора) — раскрыты в поэзии Есенина с беспощадной правдивостью.

В стихах и поэмах Есенина чувство, переживание, страсть выразились с той неподдельной и задушевной простотой, с какой они звучат в песнях, балладах, романсах, вылившихся из чистого и многозвучного народного сердца. Недаром поэтическая прелесть его стихов, их кровная народность были легко угаданы старым азербайджанским сказителем, даже не владевшим нашим языком. Однажды, когда Сергей Есенин читал в Баку небольшому кружку слушателей свои «Персидские мотивы», престарелый народный певец сказал ему: «Я — старик. Тридцать пять лет я собираю и пою песни моего народа. Я поклоняюсь пророку, но больше пророка я поклоняюсь поэту: он открывает всегда новое, неведомое и недоступное пока многим. Я не понимаю, что ты читал нам, но я почувствовал, что ты большой, очень большой поэт. Прими от старика поэта преклонение пред высоким даром твоим». Так поэт узнал поэта, певец — певца. Так открылась пред ним благородная душа поэта.

Характеризуя творчество Есенина, Алексей Толстой — горячий его поклонник — заметил однажды: «Его поэзия есть как бы разбрасывание обени пригоршнями соковищ его души».

В душе Сергея Есенина на протяжении недолгого его литературного пути шла острая борьба, и поэзия его отмечена поэгому острыми противоречиями. Советский читатель, к которому обращено творческое наследие Есенина, сумеет разобраться в этом наследии. Он обнаружит в нем немало исторически переходящего, навеянного предрассудками и заблуждениями. Но раньше всего, по самой своей природе советского человека — деятельного наследника богатств родной национальной культуры, он примет наследие Сергея Есенина как творчество большого поэта, который с любовью отдавал народу сокровища своей души и таланта.

Александр Дымшиц

СТІХОТВОРЕННЯ

* * *

Вот уж вечер. Роса
Блестит на крапиве.
Я стою у дороги,
Прислонившись к иве.

От луны свет большой
Прямо на нашу крышу.
Где-то песнь соловья
Вдалеке я слышу.

Хорошо и тепло,
Как зимой у печки.
И березы стоят,
Как большие свечки.

И вдали за рекой,
Видно за опушкой,
Сонный сторож стучит
Мертвой колотушкой.

1910

* * *

Там, где капустные грядки
Красной водой поливает восход,
Клененочек маленький матке
Зеленое вымя сосет.

1910

* * *

Поет зима — аукает,
Мохнатый лес баюкает
Стозвоном сосняка.
Кругом с тоской глубокою
Плывут в страну далекую
Седые облака.

А по двору метелица
Ковром шелковым стелется.
Но больно холодна.
Воробышки игривые,
Как детки сиротливые,
Прижались у окна.

Озябли пташки малые,
Голодные, усталые,
И жмутся поплотней.
А вьюга с ревом бешеным
Стучит по ставням свешенным
И злится все сильней.

И дремлют пташки нежные
Под эти вихри снежные
У мерзлого окна.
И снится им прекрасная,
В улыбках солнца, ясная
Красавица весна.

1910

* * *

Заиграй, сыграй, тальяночка, малиновы меха.
Выходи встречать к околице, красотка, жениха.

Васильками сердце светится, горит в нем бирюза.
Я играю на тальяночке про синие глаза.

Зацелую допьяна, изомну, как цвет,
Хмельному от радости пересуду нет.

Ты сама под ласками сбросишь шелк фаты,
Унесу я пьяную до утра в кусты.

И пускай со звонами плачут глухари,
Есть тоска веселая в аlostях зари.

1910

* * *

Сыплет черемуха снегом,
Зелень в цвету и росе.
В поле, склоняясь к побегам,
Ходят грачи в полосе.

Никнут шелковые травы,
Пахнет смолистой сосной.
Ой, вы, луга и дубравы, —
Я одурманен весной.

Радуют тайные вести,
Светятся в душу мою.
Думаю я о невесте,
Только о ней лишь пою.

Сыпь ты, черемуха, снегом,
Пойте вы, птахи, в лесу.
По полю зыбистым бегом
Пеной я цвет разнесу.

1910

КАЛКИ

Проходили калики деревнями,
Выпивали под окнами квасу,
У церковей пред затворами древними
Поклонялись Пречистому Спасу.

Пробиралися странники по полю,
Пели стих о сладчайшем Иусе.
Мимо клячи с поклажею топали,
Подпевали горластые гуси.

Ковыляли убогие по стаду,
Говорили страдальные речи:
«Все единому служим мы госпуду,
Возлагая вериги на плечи».

Вынимали калики поспешливо
Для коров сбереженные крохи.
И кричали пастушки насмешливо:
«Девки, в пляску. Идут скоморохи».

1910

* * *

Под венком лесной ромашки
Я строгал, чинил челны,
Уронил кольцо милашки
В струи пенистой волны.

Лиходейная разлука,
Как коварная свекровь,
Унесла колечко шука,
С ним милашкину любовь.

Не нашлось мое колечко,
Я пошел с тоски на луг,
Мне вдогон смеялась речка:
— У милашки новый друг.

Не пойду я к хороводу:
Там смеются надо мной,
Повенчаюсь в непогоду
С перезвонною волной.

1911

* * *

Хороша была Танюша, краше не было в селе,
Красной рюшкою по белу сарафан на подоле.
У оврага за плетнями ходит Таня ввечеру.
Месяц в облачном тумане водит с тучами игру.

Вышел парень, поклонился кучерявой головой:
«Ты прощай ли, моя радость, я женюсь на другой».
Побледнела, словно саван, схолодела, как роса,
Душегубкою змеею развилась ее коса.

«Ой ты, парень синеглазый, не в обиду я скажу,
Я пришла тебе сказаться: за другого выхожу».
Не заутренние звоны, а венчальный переклик,
Скачет свадьба на телегах, верховые прячут лик.

Не кукушки загрустили — плачет Танина родня,
На виске у Тани рана от лихого кистеня.
Алым венчиком кровинки запеклися на челе, —
Хороша была Танюша, краше не было в селе.

1911

* * *

Темна ноченька, не спится,
Выйду к речке на лужок.
Распоясала зарница
В пенных струях поясок.

На бугре береза-свечка
В лунных перьях серебра.
Выходи, мое сердечко,
Слушать песни гусяра.

Залюбуюсь, загляжусь ли
На девичью красоту,
А пойду плясать под гусли,
Так сорву твою фату.

В терем темный, в лес зеленый,
На шелковы купыри,
Уведу тебя под склоны
Вплоть до маковой зари.

1911

ЧТО ПРОШЛО — НЕ ВЕРНУТЬ

Не вернуть мне ту ночку прохладную,
Не видать мне подруги своей,
Не слышать мне ту песню отрадную,
Что в саду распевал соловей.

Унеслася та ночка весенняя,
Ей не скажешь: «Вернись, подожди».
Наступила погода осенняя,
Бесконечные льются дожди.

Крепким сном спит в могиле подруга,
Схороня в своем сердце любовь,
Не разбудит осенняя вьюга
Крепкий сон, не взволнует и кровь.

И замолкла та песнь соловьиная,
За моря соловей улетел,
Не звучит уже более, сильная,
Что он ночью прохладною пел.

Пролетели и радости милые,
Что испытывал в жизни тогда.
На душе уже чувства остывшие,
Что прошло — не вернуть никогда.

1911—1912

* * *

Матушка в Купальницу по лесу ходила,
Босая, с подтыками, по росе бродила.

Травы ворожбиные ноги ей кололи,
Плакала родимая в купырях от боли.

Не дознамо печени, судорга схватила,
Охнула кормилица, тут и породила.

Родился я с песнями в травном одеяле,
Зори меня вешние в радугу свивали.

Вырос я до зрелости, внук купальской ночи,
Сутемень колдовная счастье мне пророчит.

Только не по совести счастье наготове,
Выбираю удалью и глаза и брови.

Как снежинка белая, в просини я таю,
Да к судьбе-разлучнице след свой заметаю.

1912

ПЕСНЬ О ЕВПАТНИ КОЛОВРАТЕ

За поемами Улыбыша
Кружат облачные вентери.
Закурилася ковыльница
Подкопытною танагою.

Ой, не зымя лузга-заманница
Запоршила переточины —
Подымались злы татаровья
На Зарайскую сторонушку.

Не ждала Рязань, не чуяла
А и той разбойной допоти,
Под фатой варяжьей засынькой
Коротала ночку темную.

Не совиный ух защурился,
И не волчья пасть оскалилась, —
То Батый с холма Чурилкова
Показал орде на зарево.

Как взглянули звезды-ласточки,
Загадали думу-польмя:
Чтой-то Русь захолынулася,
Аль не слышит лязгу бранного?

Щебетнули звезды месяцу:
«Ой ты, желтое ягнятище!
Ты не мни траву небесную,
Перестань бодаться с тучами.

Подыми-ка глаза-уголья
На Рязанскую сторонушку
Да позарься в кутомарине,
Что там движется-колышется?»

Как взглянул тут месяц с привязи,
А ин жвачка зубы вытерпла,
Поперхнулся с перепужины
И на землю кровью кашлянул.

Ой, текут кровя сугорами,
Стонут пасшинные пажити,
Разыгрались злы татаровья,
Кровь половниками черпают.

Впереди сам хан на выпячи,
На коне сидит улыбисто
И жует, слюнявя бороду,
Кус подохлой кобылятины.

Говорит он псиным голосом:
«Ой ли, титники братанове,
Не пора ль с пира-пображни
Настремнить коней в Московию?»

От Ольшан до Швивой заводи
Знают песни про Евпатия.
Их поют от белой вызнати
До холопного сермяжника.

Хоть и много песен сложено,
Да не слову не уважено,
Не сочесть похвал той удали,
Не ославить смелой доблести.

Вились кудри у Евпатия,
В три ряда на плечи падали.
За гленищем ножик сеченый
Подпирал колено белое.

Как держал он кузню-крыницу,
Лошадей ковал да бражничал,
Да пищевые угорины
Двумя пальцами вытягивал.

Много лонешного смолота
В закромах его затулено.
Не один рукав молодушек,
Утираясь, продырявился.

Да не любви вишь удалому
Эти всхлипы серых журушек,
А мила ему зазнобушка,
Что ль Рязанская сторонушка.

Ой, не совы плачут полночью —
За Коломной бабы хныкают:
В хомутах и наколодниках
Повели мужей татаровья.

Свищут потные погонщики,
Подгоняют полонянных,
По пыжну путь-дороженьке
Ставят вехами головушки.

Соходилися боярове,
Суд ладили, споры ладили,
Как смутить им силу вражию,
Соблюсти им Русь кондовую.

Снаряжали побегушника,
Уручали светлой грамотой:
«Ты беги, зови детинушку
На усуду свет-Евпатия».

Ой, не колоб в поле катится
На позыв колдуньи с Шехмина —
Проскакал ездок на пилево,
Да назад опять ворочает.

На полях рязанских светится
Березняк при блеске месяца,
Освещая путь-дороженьку
От Ольшан до Швивой заводи.

Прискакал ездок к Евпатию,
Вынул вязевую грамоту:
«Ой ты, лазушный Баторе,
Выручай ты Русь от лихости!»

У Палаги-шинкачерихи
На меду вино развожено,
Кумачовые кумашницы
Душниками занавешены.

Сходилися товарищи
Свет хороброго Евпатия,
Над сивухой думы думали,
Запивали думы брагою.

Говорил Евпатий бражникам:
«Ой ли, други закадычные,
Вы не пейте зелена вина,
Не губите сметку русскую.

«Зелено вино — мыслям пагуба,
Телесам оно — что коса траве.
Налетят на вас злые вороги
И развеют вас по соломинке!»

Не заря течет за Коломною,
Не пожар стоит над путиною —
Бьются соколы-дружинники,
Налетая на татаровье.

Всколыхнулось сердце Батыя:
Что случилось там, приключилось?
Не рязанцы ль встали мертвые
На побоище кроволитное?

А рязанцам стать —
Только спьяну спать,
Не в бою бы быть,
А в снопах лежать.

Скачет хан на бела батыря,
С губ бежит слюна капучая.
И не меч Евпатий вытянул,
А свеча в руках затеплилась.

Не березки-белолнчушки
Из-под гоноби подрублены —
Полегли соколя-дружники
Под татарскими насечками.

Возговорит лютый ханище:
«Ой ли, черти, куралесники,
Отешите череп батыря
Что ль на чашу на сивушную».

Уж он пьет, не пьет, курвяжится,
Оглянется да понюхает:
«А всего ты, сила русская,
На тыновье загодилась».

1912

БЕРЕЗА

Белая береза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.

На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой.

И стоит береза
В сонной тишине,
И горят снежинки
В золотом огне.

А заря, лениво
Обходя кругом,
Обсыпает ветки
Новым серебром.

1913

ПОРОША

Еду. Тихо. Слышны звоны
Под копытом на снегу.
Только серые вороны
Расшумелись на лугу.

Заколдован невидимкой,
Дремлет лес под сказку сна.
Словно белою косынкой
Подвязалася сосна.

Понагнулась, как старушка,
Оперлася на клюку,
А над самою макушкой
Долбит дятел на суку.

Скачет конь, простору много,
Валит снег и стелет шаль.
Бесконечная дорога
Убегает лентой вдаль.

1914

СЕЛО

(Из Тараса Шевченко)

Село! В душе моей покой.
Село в Украине дорогой,
И, полный сказок и чудес,
Кругом села зеленый лес.

Цветут сады, белеют хаты,
А на горе стоят палаты,
И перед крашеным окном
В шелковых листьях тополя,
А там всё лес, и всё поля,
И степь, и горы за Днепром. . .
И в небе темноглубом
Сам бог витает над селом.

1914

С ДОБРЫМ УТРОМ!

Задремали звезды золотые,
Задрожало зеркало затона,
Брезжит свет на заводи речные
И румянит сетку небосклона.

Улыбнулись сонные березки,
Растрепали шелковые косы.
Шелестят зеленые сережки,
И горят серебряные росы.

У плетня заросшая крапива
Обрядилась ярким перламутром
И, качаясь, шепчет шаловливо:
«С добрым утром!».

1914

УЗОРЫ

Девушка в светлице вышивает ткани,
На канве в узорах копья и кресты.
Девушка рисует мертвых на поляне,
На груди у мертвых — красные цветы.

Нежный шелк выводит храброго героя,
Тот герой отважный — принц ее души.
Он лежит, сраженный в жаркой схватке боя,
И в узорах крови смяты камыши.

Кончены рисунки. Лампа догорает.
Девушка склонилась. Помутился взор.
Девушка тоскует. Девушка рыдает.
За окошком полночь чертит свой узор.

Траурные косы тучи разметали,
В пряди тонких локонов впуталась луна.
В трепетном мерцаньи, в белом покрывале
Девушка, как призрак, плачет у окна.

1914

* * *

Край любимый! Сердцу снятся
Скирды солнца в водах лонных.
Я хотел бы затеряться
В зеленях твоих стозвонных.

По меже на переметке
Резеда и риза кашки.
И вызванивают в четки
Ивы, кроткие монашки.

Курит облаком болото,
Гарь в небесном коромысле.
С тихой тайной для кого-то
Затаил я в сердце мысли.

Все встречаю, все приемлю,
Рад и счастлив душу вынуть.
Я пришел на эту землю,
Чтоб скорей ее покинуть.

1914

* * *

Пойду в скуфье смиренным иноком
Иль белобрысым босяком
Туда, где льется по равнинам
Березовое молоко.

Хочу концы земли измерить,
Доверясь призрачной звезде,
И в счастье ближнего поверить
В звенящей рожью борозде.

Рассвет рукой прохлады росной
Сшибает яблоки зари.
Сгребая сено на покосах,
Поют мне песни косари.

Глядя за кольца лычных прясел,
Я говорю с самим собой:
Счастлив, кто жизнь свою украсил
Бродяжной палкой и сумой.

Счастлив, кто в радости убогой,
Живя без друга и врага,
Пройдет проселочной дорогой,
Молясь на копны и стога.

1914

* * *

Сторона ль моя, сторонка,
Горевая полоса.
Только лес да посолонка,
Да заречная коса...

Чахнет старая церквушка,
В облака закинув крест.
И забольная кукушка
Не летит с печальных мест.

По тебе ль, моей сторонке,
В половодье каждый год
С подожочка и котомки
Богомольный льется пот.

Лица пыльны, загорелы,
Веки выглодала даль,
И впиалась в худое тело
Спаса кроткого печаль.

1914

* * *

По дороге идут богомолки,
Под ногами полынь да комли.
Раздвигая щипульные колки,
На канавах звенят костыли.

Топчут лапти по полю кукольной,
Где-то ржанье и храп табуна,
И зовет их с большой колокольни
Гулкий звон, словно зык чугуна.

Отряхают старухи дулсыки,
Вяжут девки косницы до пят.
Из подворья с высокой келейки
На платки их монахи глядят.

На вратах монастырские знаки:
«Упокою грядущих ко мне»,
А в саду разбрехались собаки,
Словно чуя воров на гумне.

Лижут сумерки золото солнца,
В дальних рощах аукает звон...
По тени от ветлы веретенца —
Богомолки идут на канон.

1914

ЯМЦЯК

За ухабины степные
Мчусь я лентой пустырей.
Эй вы, соколы родные,
Выносите поскорей!

Низкорослая слободка
В поверешнем дыму.
Заждалась меня красotka
В чародейном терему.

Светит в темень позолотой
Размалевана дуга.
Ой вы, санки-самолеты,
Пуховитые снега!

Звоны резки, звоны гулки,
Бубенцам в шлее не счет.
А как гаркну на прогулке,
Выбегает весь народ.

Выйдут парни, выйдут девки
Славить зимни вечера,
Голосатые запевки
Не смолкают до утра.

1914

* * *

Шел господь пытаться людей в любви,
Выходил он нищим на кулижку.
Старый дед на пне сухом в дуброве
Жамкал деснами зачерствелую пышку.

Увидал дед нищего дорогой,
На тропинке, с клюшкою железной,
И подумал: «Вишь какой убогой, —
Знать, от голода качается, болезный».

Подошел господь, скрывая скорбь и муку:
Видно, мол, сердца их не разбудишь...
И сказал старик, протягивая руку:
«На, пожуй... маленько крепче будешь».

1914

Зашумели над затоном тростники.
Плачет девушка-царевна у реки.

Погадала красна девица в семик,
Распела волна венки из повилки.

Ах, не выйти в жены девушке весной,
Запугал ее приметам лесной.

На березке пообъедена кора, —
Выживают мыши девушку с двора.

Бьются кони, грозно машут головой, —
Ой, не любит черны косы домовой.

Запах ладана от роши ели льют,
Звонки ветры панихидную поют.

Ходит девушка по бережку грустна,
Ткет ей саван нежнопенная волна.

1914

В ХАТЕ

Пахнет рыхлыми драконами,
У порога в дежке квас,
Над печурками точеными
Тараканы лезут в паз.

Вьется сажа над заслонкою,
В печке нитки попелиц,
А на лавке за солонкою —
Шелуха сырых яиц.

Мать с ухватами не сладится,
Нагибается низко,
Старый кот к махотке крадется
На парное молоко.

Квохчут куры беспокойные
Над оглоблями сохи,
На дворе обедню стройную
Запевают петухи.

А в окне на сени скатые,
От пугливой шумоты,
Из углов щенки кудлатые
Заползают в хомуты.

1914

* * *

Я — пастух; мои палаты —
Межи зыбистых полей,
По горам зеленым — скаты
С гарком гулких дупелей.

Вяжут кружево над лесом
В желтой пене облака.
В тихой дреме под навесом
Слышу шепот сосняка.

Светят зелено в сутемы
Под рососою тополя.
Я — пастух; мои хоромы —
В мягкой зелени поля.

Говорят со мной коровы
На кивливом языке.
Духовитые дубровы
Кличут ветками к реке.

Позабыв людское горе,
Сплю на вырублях сучья.
Я молюсь на алы зори,
Причащаюсь у ручья.

1914

* * *

Край ты мой заброшенный,
Край ты мой, пустырь,
Сенокос некошенный,
Лес да монастырь.

Избы забоченились,
А и всех-то пять.
Крыши их запенились
В заревую гать.

Под соломой-ризою
Выструги стропил,
Ветер плесень сизую
Солнцем окропил.

В окна бьют без промаха
Вороны крылом.
Как метель, черемуха
Машет рукавом.

Уж не сказ ли в прутнике
Жисть твоя и былъ,
Что под вечер путнику
Нашептал ковыль?

1914

* * *

Черная, потом пропахшая выть,
Как мне тебя не ласкать, не любить.

Выйду на озеро в синюю гать,
К сердцу вечерняя льет благодать.

Серым веретем стоят шалаши,
Глухо баюкают хлюпъ камыши.

Красный костер окровил таганы,
В хворосте белые веки луны.

Тихо, на корточках, в пятнах зари
Слушают сказ старика косари.

Где-то вдали, на кукане реки
Дремную песню поют рыбаки.

Оловом светится лужная голь...
Грустная песня, ты — русская боль.

1914

* * *

Топи да болота,
Синий плат небес.
Хвойной позолотой
Взвенивает лес.

Тенькает синица
Меж лесных кудрей.
Темным елям снится
Гомон косарей.

По лугу со скрипом
Тянется обоз —
Суховатой липой
Пахнет от колес.

Слушают ракиты
Посвист ветряной...
Край ты мой забытый,
Край ты мой родной.

1914

* * *

Гой ты, Русь моя родная,
Хаты — в ризах образа...
Не видать конца и края —
Только синь сосет глаза.

Как захожий богомолец,
Я смотрю твои поля.
А у низеньких околиц
Звонко чахнут тополя.

Пахнет яблоком и медом
По церквам твой кроткий Спас
И гудит за корогодом
На лугах веселый пляс.

Побегу по мягкой стежке
На приволь зеленых лех,
Мне навстречу, как сережки,
Прозвенит девичий смех.

Если крикнет рать святая:
— Кинь ты Русь, живи в раю! —
Я скажу: не надо рая,
Дайте родину мою.

1914

ЕГОРИЙ

В синих далях плоскогорий,
В лентах облаков
Собирал святой Егорий
Белых волков.

«Ой ли, светы, ратовой уж
Слушайте мой сказ.
У меня в лихой изгой уж
Есть поклон до вас.

Все волчицы строят гнезда
В муромских лесах,
В их глазах застыли звезды
На ребячий страх.

И от тех ли серолобых
Ваш могучий род,
Как и вы, сгорает в злобах
Чужевой оплот.

Но недавно помирились
С русским мужиком.
Долго злились, долго бились
В пуще вы тайком.

Там с закатных поднебесий
Скачет враг — силен,
Как на эти ли полесья
Затаил полон.

Чую, выйдет лохманида —
Не ужиться вам,
Но уж черная планида
Машет по горам».

Громовень подняли волки —
«Мы ль трусовики!
Когти остры, зубы колки —
Разорвем в клоки!»

Собирались все огулом
Вырядить сей суд.
Грозным криком, дальним гулом
Замирал их гуд.

Как почуяли облаву,
Вышли на бугор.
«Ты ведешь нас на расправу,
Храбрый наш Егор!»

«Ладно, — молвил им Егорий, —
Я вас поведу
Меж далеких плоскогорий,
Укрошу беду».

Скачет всадник с длинной пикой,
Распугал всех сов.
И дрожит земля от крика
Волчьих голосов.

1914

МАРФА ПОСАДНИЦА

1

Не сестра месяца из темного болота
В жемчуге кокошник в небо запрокинула, —
Ой, как выходила Марфа за ворота,
Письменище черное из дулейки вынула.

Раскололся зыками колокол на вече,
Замахали кружевом полотнища зорние;
Услыхали ангелы голос человечесий,
Отворили наскоро окна-ставни горние.

Возговорит Марфа голосом серебряно:
— Ой ли, внуки Васькины, правнуки Микулы!
Грамотой московскою извольню повелено
Выгомонить вольницы бражные загулы!

Заходила буйница выхвали старинной,
Бороды, как молнии, выпячили грозно:
— Что нам Московия, — как поставник блинный!
Там бояр-те жены хлыстают загозно!

Марфа на крылечко праву ножку кинула,
Левой помахала каблучком сафьяновым:
— Быть так, — кротко молвила, черны брови
сдвинула —
Не ручьи-брызгатели выцветням росяновым. . .

2

Не чернец беседует с господом в затворе —
Царь московский Антихриста вызывает:
— Ой, Виельзевуле, горе мое, горе,
Новгород мне вольный ног не лобызает!

Вылез из запечья сатана гадюкой,
В пучеглазых бельмах исчаведье ада:
— Побожися душу выдать мне порукой,
Иначе не будет с Новгородом слада!

Вынул он бумаги — облака клок,
Дал ему перо — от молнии стрелу.
Чиркнул царь кинжалом локоток,
Расчеркнулся и зажал руку в полу.

Зарычит Антихрист земным гудом:
— А и сроку тебе, царь, даю четыреста лет!
Как пойдет на Москву заморский Иуда,
Тут тебе с Новгородом и сладу нет!

— А откуль гроза, когда ветер шумит? —
Задаст ему царь хитрой спрос.
Говорит сатана зыком черных згит:
— Этот ответ с собой ветер унес...

3

На соборах Кремля колокола заплакали,
Собирались стрельцы из дальних слобод;
Кони ржали, сабли звякали,
Глас приказный чинно слухал народ.

Закраснели хоругви, образа засверкали,
Царь пожаловал бочку с вином.
Бабы подолами слезы утирали, —
Кто-то воротится невредим в дом?

Пошли стрельцы, запылили по полю:
— Берегись ты теперь, гордый Новоград!
Пики тенькали, кони топали, —
Никто не пожалел и не сбернулся назад.

Возговорит царь жене своей:
— А и будет пир на красной бrage!
Послал я сватать неучтивых семей,
Всем подушки голов расстелю в овраге.

— Государь ты мой, — шомонит жена, —
Моему ль уму судить суд тебе!..
Тебе власть дана, тебе воля дана,
Ты челом лишь бьешь одной судьбе!..

В зарукавнике Марфа богу молилась,
 Рукавом горячи слезы утирала;
 За окошко она наклонилась,
 Голубей к себе на колени сзывала.

— Уж вы, голуби, слуги боковы,
 Солетайте-ко в райский терем;
 Вертайтесь в земное логово,
 Стучитесь к новоградским дверям!

Приносили голуби от бога письмо,
 Золотыми письменами рубленое;
 Села Марфа за расшитою тесьмой:
 — Уж ты, счастье ль мое загубленное!

И писал господь своей верной рабе:
 — Не гони метлой тучу вихристу;
 Как московский царь на кровавой гульбе
 Продал душу свою Антихристу. . .

А и минуло теперь четыреста лет.
 Не пора ли нам, ребята, взяться за ум,
 Исполнить святой Марфин завет:
 Заглушить удалью московский шум?

А пойдете, бойцы, ловить кречетов,
 Отошлем дикомытя с потребою царю:
 Чтобы дал нам царь ответ в сечи той,
 Чтоб не застил он Новоградскую зарю.

Ты шуми, певунный Волохов, шуми,
 Разбуди Садко с Буслаем на-торгаш!
 Выше, выше, вихорь, тучи подыми!
 Ой ты, Новгород, родимый наш!

Как по быльнице тропинка пролегла:
 А пойдете стольный Киев звать!

Ой ли вы, с Кремля колокола,
А пора, небось, и честь вам знать!

Пропоем мы богу с ветрами тропарь,
Вспеним белую попончу.
Загудит наш с веча колокол, как встарь,
Тут я, ребята, и покончу.

1914

РУСЬ

1

Потонула деревня в ухабинах,
Заслонили избенки леса,
Только видно, на кочках и впадинах,
Как синеют кругом небеса.

Воют в сумерки долгие зимние
Волки грозные с тощих полей.
По дворам в догорающем инее
Над застрехами хран лошадей.

Как совиные глазки, за ветками
Смотрят в шали пурги огоньки.
И стоят за дубровными сетками,
Словно нечисть лесная, пеньки.

Запугала нас сила нечистая,
Что ни прорубь — везде колдуны.
В злую заморозь в сумерки мгlistые
На березках висят галуны.

2

Но люблю тебя, родина кроткая!
А за что — разгадать не могу.
Весела твоя радость короткая
С громкой песней весной на лугу.

Я люблю над покосной стоянкою
Слушать вечером гуд комаров.
А как гаркнут ребята тальянкою,
Выйдут девки плясать у костров, —

Загорятся, как черна смородина,
Угли-очи в подковах бровей.
Ой ты, Русь моя, милая родина,
Сладкий отдых в шелку купырей.

3

Понакаркали черные вороны:
Грозным бедам широкий простор.
Крутит вихорь леса во все стороны,
Машет саваном пена с озер.

Грянул гром, чашка неба расколота,
Тучи рваные кутают лес.
На подвесках из легкого золота
Закачались лампадки небес.

Повестили под окнами сотские
Ополченцам идти на войну.
Загыгыкали бабы слободские,
Плач прорезал кругом тишину.

Собирались мирные пахари
Без печали, без жалоб и слез,
Клали в сумочки пышки на сахаре
И пихали на кряжистый воз.

По селу до высокой околицы
Провожал их огулом народ.
Вот где, Русь, твои добрые молодцы,
Вся опора в годину невзгод.

4

Затомилась деревня невесточкой —
Как-то милые в дальнем краю?
Отчего не уведомят весточкой, —
Не погибли ли в жарком бою?

В роше чудились запахи ладана,
В ветре бластились стуки костей.
И пришли к ним неожиданно-негаданно
С дальней волости груды вестей.

Сберегли по ним пахари памятку,
С потом вывели всем по письму.
Подхватили тут родные грамотку,
За ветловую сели тесьму.

Собрались над четницей Лушею
Допытаться любимых речей.
И на короточках плакали, слушая,
На успехи родных силачей.

5

Ах, поля мои, борозды милые,
Хороши вы в печали своей!
Я люблю эти хижины хилые
С поджиданьем седых матерей.

Припаду к лапоточкам берестяным,
Мир вам, грабли, коса и соха!
Я гадаю по взорам невестиным
На войне о судьбе жениха.

Помирлся я с мыслями слабыми,
Хоть бы стать мне кустом у воды.
Я хочу верить в лучшее с бабами,
Тепля свечку вечерней звезды.

Разгадал я их думы несметные,
Не спугнет их ни гром и ни тьма.
За сохою под песни заветные
Не причудится смерть и тюрьма.

Они верили в эти каракули,
Выводимые с тяжким трудом,
И от счастья и радости плакали,
Как в засуху над первым дождем.

А за думой разлуки с родимыми
В мягких травах, под бусами рос,
Им мерещился в даях за дымами
Над лугами веселый покос.

Ой ты, Русь, моя родина кроткая,
Лишь к тебе я любовь берегу.
Весела твоя радость короткая
С громкой песней весной на лугу.

1914

* * *

По селу тропинкой кривенькой
В летний вечер голубой
Рекрута ходили с ливенкой
Разухабистой гурьбой.

Распевали про любимые
Да последние деньки:
«Ты прощай, село родимое,
Темна роща и пеньки».

Зори пенились и таяли.
Все кричали, пяча грудь:
«До рекрутства горе маяли,
А теперь пора гульнуть».

Размахнув кудрями русыми,
В пляс пускались весело.
Девки брякали им бусами,
Зазывали за село.

Выходили парни brave
За гуменные плетни,
А девчоночки лукавые
Убегали, — догони!

Над зелеными пригорками
Развевались платки.
По полям, бредя с кошолками,
Улыбались старики.

По кустам, в траве над лыками,
Под пугливый возглас сов,
Им смеялась ро́ща зыками
С переливом голосов.

По селу тропинкой кривенькой,
Ободравшись о пеньки,
Рекрута играли в ливенку
Про остальные деньки.

1914

* * *

Прячет месяц за овинами
Желтый лик от солнца ярого.
Высоко над луговинами
По востоку пышет зарево.

Пеной рос заря туманится,
Словно глубь очей невестиных.
Прибрела весна, как странница,
С посошком, в лаптях берестяных.

На березки в ро́ще теневой
Серьги звонкие повесила
И с рассветом в сад сиреневый
Мотыльком порхнула весело.

1914—1915

* * *

Вечер как сажа,
Льется в окно.
Белая пряжа
Ткет полотно.

Пляшет гасница,
Прыгает тень.
В окна стучится
Старый плетень.

Липнет к окошку
Черная гать.
Девочку-крошку
Байкает мать.

Взрыкает зыбка
Сонный тропарь:
«Спи, моя рыбка,
Спи, не гутарь».

1914—1915

* * *

По лесу леший кричит на сову.
Прячутся мошки от птичек в траву.
Ау!

Спит Медведиха, и чудится ей:
Колет охотник острой детей.
Ау!

Плачет она и трясет головой:
— Детушки-дети, идите домой.
Ау!

Звонкое эхо кричит в синеву:
— Эй ты, откликнись, кого я зову!
Ау!

1914—1915

ЧЕРЕМУХА

Черемуха душистая
С весною расцвела
И ветки золотистые,
Что кудри, завила.

Кругом роса медвяная
Сползает по коре,
Под нею зелень пряная
Сияет в серебре.

И кисточки атласные
Под жемчугом росы
Горят, как серьги ясные
У девицы-красы.

А рядом у проталинки,
В траве между корней
Бежит, струится маленький
Серебряный ручей.

Черемуха душистая
Развесившись стоит,
А зелень золотистая
На солнышке горит.

Ручей волной гремячу
Все ветки обдает
И вкрадчиво под кручею
Ей песенки поет.

1915

БАБУШКИНЫ СКАЗКИ

В зимний вечер по задворкам
Разухабистой гурьбой
По сугробам, по пригоркам
Мы идем, бредем домой.

Опостылеют салазки,
И садимся в два рядка
Слушать бабушкины сказки
Про Ивана-дурака.

И сидим мы, еле дышим,
Время к полночи идет.
Притворимся, что не слышим,
Если мама спать зовет.

Сказки все. Пора в постели.
Ну, а как теперь уж спать?
И опять мы загалдели,
Начинаем приставать.

Скажет бабушка несмело:
«Что ж сидеть-то до зари?»
Ну, а нам какое дело, —
Говори да говори.

1915

ПОБИРУШКА

Плачет девочка-малютка у окна больших хором,
А в хоромех смех веселый так и льется серебром.
Плачет девочка и стынет на ветру осенних гроз
И ручонкою изящней вытирает капли слез.

Со слезами она просит хлеба черствого кусок,
От обиды и волненья замирает голосок.
Но в хоромех этот голос заглушает шум утех,
И стоит малютка, плачет под веселый, резвый смех.

1915

ДЕВИЧНИК

Я надену красное монисто,
Сарафан запетлю синей рюшкой.
Позовите, девки, гармониста,
Прощайтесь с ласковой подружкой.

Мой жених, угрюмый и ревнивый,
Не велит заглядывать на парней.
Буду петь я птахой сиротливой,
Вы ж пляшите дробней и угарней.

Как печальны девичьи потери,
Грустно жить оплаканной невесте.
Уведет жених меня за двери,
Будет спрашивать о девической чести.

Ах, подружки, стыдно и неловко:
Сердце робкое охватывает стужа.
Тяжело беседовать с золовкой,
Лучше жить несчастной, да без мужа.

1915

ВЕЧЕР

На лазоревые ткани
Пролил пальцы багрянец.
В темной роще, по поляне,
Плачет смехом бубенец.

Затуманились лошины,
Серебром покрылся мох,
Через прясла и овины
Кажет месяц белый рог.

По дороге лихо, бойко,
Развевая пенный пот,
Скачет бешеная тройка
На поселок в хоровод.

Смотрят девушки лукаво
На красавца сквозь плетень.
Парень бравый, кучерявый,
Ломит шапку набекрень.

Ярче розовой рубахи
Зори вешние горят.
Позолоченные бляхи
С бубенцами говорят.

1915

* * *

В том краю, где желтая крапива
И сухой плетень,
Приютились к вербам сиротливо
Избы деревень.

Там в полях, за синей гущей лога,
В зелени озер,
Пролегла песчаная дорога
До сибирских гор.

Затерялась Русь в Мордве и Чуди,
Нипочем ей страх.
И идут по той дороге люди,
Люди в кандалах.

Все они убийцы или воры,
Как судил им рок.
Полюбил я грустные их взоры
С впадинами щек.

Много зла от радости в убийцах,
Их сердца просты,
Но кривятся в почернелых лицах
Голубые рты.

Я одну мечту, скрывая, нежу —
Что я сердцем чист.
Но и я кого-нибудь зарежу
Под осенний свист.

И меня по ветряному свею,
По тому ль песку,
Поведут с веревкою на шее
Полюбить тоску.

И когда с улыбкой мимоходом
Распрямяю я грудь,
Языком залижет непогода
Прожитой мой путь.

1915

* * *

Туча кружево в роще связала,
Закурился пахучий туман.
Еду грязной дорогой с вокзала
Вдалеке от родимых полян.

Лес застыл без печали и шума,
Виснет темь, как платок, за сосной.

Сердце гложет плакучая дума. . .
Ой, невесел ты, край мой родной.

Пригорюнились девушки-ели,
И поет мой ямщик на-умяк:
«Я умру на тюремной постели,
Похоронят меня кое-как».

1915

* * *

Заглушила засуха засевки,
Сохнет рожь и не всходят овсы.
На молебен с хоругвями девки
Потащились в комлях полосы.

Собрались прихожане у чащи,
Лихоманную грусть затая.
Загузынил дьячишко ледащий:
«Спаси, господи, люди твоя».

Открывались небесные двери,
Дьякон бавкнул из кряжистых сил:
«Еще молимся, братья, о версе,
Чтобы бог нам поля оросил».

Заливались веселые птахи,
Крапал брызгами поп из горстей,
Стрекотуньи сороки, как свахи,
Накликали дождливых гостей.

Зыбко пенились зори за рощей,
Как холстины ползли облака.
И туманно по больнице тощей
Меж кустов ворковала река.

Скинув шапки, молясь и вздыхая,
Говорили промеж мужики:
«Колосилась-то ярь неплохая,
Да сгубили сухие деньки».

На коне — черной тучице в санках
Билось пламя-шлея... Синь и дрожь...
И кричали парнишки в еланках:
«Дождик, дождик, полей нашу рожь!»

1915

* * *

На небесном синем блюде
Желтых туч медовый дым.
Грезит ночь. Уснули люди,
Только я тоской томим.

Облаками перекрещен,
Сладкий дым вдыхает бор.
За кольцо небесных трещин
Тянет пальцы косогор.

На болоте кричат цапля,
Четко хлюпает вода,
А из туч глядит, как капля,
Одинокая звезда.

Я хотел бы в мутном дыме
Той звездой поджечь леса
И погнуть вместе с ними,
Как зарница — в небеса.

1915

* * *

На плетнях висят баранки,
Хлебной брагой льет теплынь.
Солнца струганые драмки
Загораживают синь.

Балаганы, пни и колья,
Карусельный пересвист.
От вихлистого приволья
Гнутя травы, мнетя лист.

Дробь копыт и хрип торговок,
Пьяный пах медовых сот.
Берегись, коли не ловок:
Вихорь пылью разметет.

За лещужною сурьюю —
Бабий крик, как поутру.
Не твоя ли шаль с каймою
Зеленеет на ветру?

Ой, удал и многосказен
Лад веселый на пыжну.
Запевай, как Стенька Разин
Утопил свою княжну.

Ты ли, Русь, тропой-дорогой
Разметала ал наряд?
Не суди молитвой строгой
Напоенный сердцем взгляд.

1915

* * *

Я снова здесь, в семье родной,
Мой край, задумчивый и нежный!
Кудрявый сумрак за горой
Рукою машет белоснежной.

Седины пасмурного дня
Плывут всклокоченные мимо,
И грусть вечерняя меня
Волнует непреодолимо.

Над куполом церковных глав
Тень от зари упала ниже.
О други игрищ и забав,
Уж я вас больше не увижу!

В забвенье канули года,
Вослед и вы ушли куда-то,

И лишь попережнему вода
Шумит за мельницей крылатой.

И часто я в вечерней мгле,
Под звон надломленной осоки,
Молюсь дымящейся земле
О невозвратных и далеких.

1915

* * *

Устал я жить в родном краю
В тоске по гречневым просторам,
Покину хижину мою,
Уйду бродягою и воров.

Пойду по белым кудрям дня
Искать убогое жилище.
И друг любимый на меня
Наточит нож за голенище.

Весной и солнцем на лугу
Обвита жолтая дорога.
И та, чье имя берегу,
Меня прогонит от порога.

И вновь вернусь я в отчий дом,
Чужою радостью утешусь,
В зеленый вечер под окном
На рукаве своем повешусь.

Седые вербы у плетня
Нежнее головы наклонят.
И необмытого меня
Под лай собачий похоронят.

А месяц будет плыть и плыть,
Роняя весла по озерам,
И Русь все так же будет жить,
Плясать и плакать у забора.

1915

Не бродить, не мять в кустах багряных
Лебеды и не искать следа.
Со снопом волос твоих овсяных
Отоснилась ты мне навсегда.

С алым соком ягоды на коже,
Нежная, красивая, была
На закат ты розовый похожа
И, как снег, лучиста и светла.

Зерна глаз твоих осыпались, завяли,
Имя тонкое растаяло, как звук,
Но остался в складках смятой шали
Запах меда от невинных рук.

В тихий час, когда заря на крыше,
Как котенок, моет лапкой рот,
Говор кроткий о тебе я слышу
Водяных, поющих с ветром сот.

Пусть порой мне шепчет синий вечер,
Что была ты песня и мечта,
Всё ж, кто выдумал твой гибкий стан и плечи,
К светлой тайне приложил уста.

Не бродить, не мять в кустах багряных
Лебеды и не искать следа.
Со снопом волос твоих овсяных
Отоснилась ты мне навсегда.

1915, 1916

КОРОВА

Дряхлая, выпали зубы,
Свиток годов на рогах.
Бил ее выгонщик грубый
На перегонных полях.

Сердце неласково к шуму,
Мыши скрбуют в уголке.
Думает грустную думу
О белоногом телке.

Не дали матери сына,
Первая радость не впрок.
И на колу под осиной
Шкуру трепал ветерок.

Скоро на гречневом сее,
С той же сыновней судьбой,
Свяжут ей петлю на шею
И поведут на убой.

Жалобно, грустно и тоще
В землю вопьются рога...
Снится ей белая роща
И травяные луга.

1915

ПЕСНЬ О СОБАКЕ

Утром в ржаном закуте,
Где златятся рогожи в ряд,
Семерых ошенила сука,
Рыжих семерых щенят.

До вечера она их ласкала,
Причесывая языком,
И струился снежок подталый
Под теплым ее животом.

А вечером, когда куры
Обсиживают шесток,
Вышел хозяин хмурый,
Семерых всех поклат в мешок.

По сугробам она бежала,
Поспевая за ним бежать.

И так долго, долго дрожала
Воды незамерзшей гладь.

А когда чуть плелась обратно,
Слизывая пот с боков,
Показался ей месяц над хатой
Одним из ее щенков.

В синюю высь звонко
Глядела она, скуля,
А месяц скользил тонкий
И скрылся за холм в полях.

И глухо, как от подачи,
Когда бросят ей камень в смех,
Покатились глаза собачьи
Золотыми звездами в снег.

1915

ТАБУН

В холмах зеленых табуны коней
Сдувают ноздрями золотой налет со дней.

С бугра высокого в синеющий залив
Упала смоль качающихся грив.

Дрожат их головы над тихой водой,
И ловит месяц их серебряной уздой.

Храпя в испуге на свою же тень,
Зазастить гривами они ждут новый день.

Весенний день звенит над конским ухом
С приветливым желаньем к первым мухам.

Но к вечеру уж кони над лугами
Брыкаются и хлопают ушами.

Все резче звон, прилипший на копытах,
То тонет в воздухе, то виснет на ракигах.

И лишь волна потянется к звезде,
Мелькают мухи пеплом по воде.

Погасло солнце. Тихо на лужке.
Пастух играет песню на рожке.

Уставясь лбами, слушает табун,
Что им поет вихрастый гамаюн.

А эхо резвое, скользнув по их губам,
Уносит думы их к неведомым лугам.

Любя твой день и ночи темноту,
Тебе, о родина, сложил я песню ту.

1915

ГОЛУБЕНЬ

В прозрачном холоде заголубели доли,
Отчетлив стук подкованных копыт.
Трава поблекшая в расстеленные полы
Сбирает медь с обветренных ракит.

С пустых лощин ползет дугою тощей
Сырой туман, курчаво свившись в мох,
И вечер, свесившись над речкою, полощет
Водою белой пальцы синих ног.

Осенним холодом расцвечены надежды,
Бредет мой конь, как тихая судьба,
И ловит край махающей одежды
Его чуть мокрая буланая губа.

В дорогу дальнюю, ни к битве, ни к покою,
Влекут меня незримые следы, —
Погаснет день, мелькнув пятой златою,
И в короб лет улягутся труды.

Сыпучей ржавчиной краснеют по дороге
Холмы плешивые и слегшийся песок,
И пляшет сумрак в галочьей тревоге,
Согнув луну в пастушеский рожок.

Молочный дым качает ветром села,
Но ветра нет, есть только легкий звон.
И дремлет Русь в тоске своей веселой,
Вцепивши руки в желтый крутосклон.

Манит ночлег, недалеко до хаты,
Укропом вялым пахнет огород,
На грядки серые капусты волноватой
Рожок луны по капле масло льет.

Тянусь к теплу, вдыхаю мягкость хлеба
И с хрустом мысленно кусаю огурцы.
За ровной гладью вздрогнувшее небо
Выводит облако из стойла под уздцы.

Ночлег, ночлег, мне издавна знакома
Твоя попутная разымчивость в крови;
Хозяйка спит, а свежая солома
Примята ляжками вдовеющей любви.

Уже светает, краской тараканьей
Обведена божница по углу,
Но мелкий дождь своей молитвой ранней
Еще стучит по мутному стеклу.

Опять передо мною голубое поле,
Качают лужи солнца рдяный лик.
Иные в сердце радости и боли,
И новый говор липнет на язык.

Водою зыбкой стынет синь во взорах,
Бредет мой конь, откинув удила,
И горстью смуглою листвы последний ворох
Кидает ветер вслед из подола.

1915

ПОМНИТЕ

Заслонили ветлы сиротливо
Косниками мертвые жилища.
Словно снег, белеется коливо —
На помин небесным птахам пища.

Тянут галки рис с могилоч постный,
Вяжут нищие над сумками бечевки.
Причитают матери и крестны,
Голосят невесты и золовки.

По камням, над толстым слоем пыли,
Вьется хмель, запутанный и клейкий.
Длинный поп в худой епитрахили
Подбирает черные копейки.

Под черед за скромным подаяньем
Ищут странницы отпетую могилу,
И поет дьячок за поминаньем:
«Раб усопших, господи, помилуй».

1915—1916

ТЕПЛЫЙ ВЕЧЕР

Теплый вечер грызет воровато
Луговые посмы и пни.
Не тоскуй, моя белая хата,
Что опять мы одни и одни.

Чистит месяц в соломенной крыше
Обойменные синью рога.
Не пошел я за ней и не вышел
Провожать за глухие стога.

Не беда, что и я видел зыбку;
Эта скорбь ее сердце не жжет;
Только девичью честь и улыбку
Для другого она бережет.

Не силен тот, кто радости просит:
Только гордые в силе живут;

А другой изомнет и забросит,
Как изъеденный сырью хомут.

Не с тоски я судьбы поджидаю;
Будет злобно крутить пороша,
И придет она к нашему краю
Обогреть своего малыша.

Снимет шубу и шали развяжет,
Примостится со мной у огня...
И спокойно и ласково скажет,
Что ребенок похож на меня.

1916(?)

* * *

За горами, за желтыми долами
Протянулась тропа деревень.
Вижу лес и вечернее польмя
И обвитый крапивой плетень.

Там с утра над церковными главами
Голубеет небесный песок,
И звенит придорожными травами
От озер водяной ветерок.

Не за песни весны над равниною
Дорога мне зеленая ширь,
Полюбил я тоской журавлиною
На высокой горе монастырь.

Каждый вечер, как синь затуманится,
Как повиснет заря на мосту,
Ты идешь, моя бедная странница,
Поклониться любви и кресту.

Кроток дух монастырского жителя,
Жадно слушаешь ты ектенью.
Помолись перед ликом Спасителя
За погибшую душу мою.

1916

* * *

Белая свитка и алый кушак,
Рву я по грядкам зардевшийся мак.

Громко звенит за селом корогод,
Там она, там она песни поет.

Помню, как крикнула, шигая в сруб:
«Что же, красив ты, да сердцу нелюб:

Кольца кудрей твоих ветрами жжет,
Гребень мой вострый другой бережет».

Знаю, чем чужд ей и чем я немил:
Меньше плясал я и меньше всех пил.

Кротко я с грустью стоял у стены:
Все они пели и были пьяны.

Счастье его, что в нем меньше стыда,
В шею ей лезла его борода.

Свившись с ним в жгучее пляски кольцо,
Брызнула смехом она мне в лицо.

Белая свитка и алый кушак,
Рву я по грядкам зардевшийся мак.

Маком влюбленное сердце цветет...
Эх, да не мне она песни поет.

1916

* * *

Запели тесаные дроги,
Бегут равнины и кусты.
Опять часовни на дороге
И поминальные кресты.

Опять я теплой грустью болен
От овсяного ветерка.
И на известку колоколен
Невольно крестится рука.

О Русь, малиновое поле
И синь, упавшая в реку,
Люблю до радости и боли
Твою озерную тоску.

Холодной скорби не измерить,
Ты на туманном берегу.
Но не любить тебя, не верить —
Я научиться не могу.

И не отдам я эти цепи
И не расстанусь с долгим сном,
Когда звенят родные степи
Молитвословным ковылем.

1916

* * *

Опять раскинулся узорно
Над белым полем багрянец,
И заливается задорно
Нижегородский бубенец.

Под затуманенною дымкой
Ты кажешь девичью красу,
И треплет ветер под косынской
Рыжеволосую косу.

Дуга, раскалываясь, пляшет,
То выныряя, то пропав.
Не заморозит, не обманет
Твой разукрашенный рукав.

Уже давно мне стала сниться
Полей малиновая ширь,
Тебе — высокая светлица,
А мне — далекий монастырь.

Там синь и полымя воздушней
И легкодымней пелена.
Я буду ласковый послушник,
А ты — разгульная жсна.

И знаю я, мы оба станем
Грустить в упругой тишине —
Я по тебе в глухом тумане,
А ты заплачешь обо мне.

Но и поняв, я не приемлю
Ни тихих ласк, ни глубины.
Глаза, увидевшие землю,
В иную землю влюблены.

1916

* * *

За рекой горят огни,
Погорают мох и пни.
Ой, купало, ой, купало,
Погорают мох и пни.

Плачет леший у сосны —
Жалко летошней весны.
Ой, купало, ой, купало,
Жалко летошней весны.

А у наших у ворот
Пляшет девок корогод.
Ой, купало, ой, купало,
Пляшет девок корогод.

Кому горе, кому грех,
А нам радость, а нам смех.
Ой, купало, ой, купало.
А нам радость, а нам смех.

1916(?)

МОЛОТЬБА

Вышел з́раня дед
На гумно молотить:
— Выходи-ка, сосед,
Старику подсобить.

Положили гурьбой
Золотые снопы.
На гумне вперебой
Зазвенели цепи.

И ворочает дед
Немолочный край:
— Постучи-ка, сосед,
Выбирай каравай.

И под сильной рукой
Вылетает зерно.
Тут и солод с мукой
И на свадьбу вино.

За тяжелой сохой
Эта доля дана.
Тучен колос сухой —
Будет брага хмельна.

1916

ДЕД

Сухлым войлоком по стежкам
Разрыхлел в траве помет.
У гумен к репейным брошкам
Липнет муший хоровод.

Старый дед, согнувши спину,
Чистит выстпанный ток
И подонную мякину
Загребает в уголок.



Щурясь к облачному глазу,
Подсекает он лопух,
Роет скрябкою по пазу
От дождей обходный круг.

Черепки в огне червонца.
Дед — как в жамковой слюде,
И играет зайчик солнца
В рыжеватой бороде.

1916

* * *

В глазах пески зеленые
И облака.
По кружеву крапленому
Скользит рука.
То близкая, то дальняя,
И так всегда.
Судьба ее печальная —
Моя беда.

1916

* * *

За темной прядью перелесиц,
В неколебимой синеве,
Ягненок кудрявый — месяц
Гуляет в голубой траве.

В затихшем озере с осокой
Бодаются его рога, —
И кажется с тропы далекой —
Вода качает берега.

А степь под пологом зеленым
Кадит черемуховый дым,
И за долинами по склонам
Свивает полымя над ним.

О сторона ковыльной пуши,
Ты сердцу ровностью близка,
Но и в твоей таится гуще
Солончаковая тоска.

И ты, как я, в печальной требе,
Забыв, кто друг тебе и враг,
О розовом тоскуешь небе
И голубиных облаках.

Но и тебе из синей шири
Пугливо кажет темнота
И кандалы твоей Сибири
И горб Уральского хребта.

1916

* * *

В зеленой церкви за горой,
Где вербы четки уронили,
Я поминаю просфорой
Младой весны младые были.

А ты, склонившаяся ниц,
Передо мной стоишь незримо,
Шелка опущенных ресниц
Кольшут крылья херувима.

Не омрачен твой белый рок
Твоей застывшею порою,
Все тот же розовый платок
Застегнут смуглою рукою.

Все тот же вздох упруго жмет
Твои надломленные плечи
О том, кто за морем живет
И кто от родины далече.

И все тягуче память дня
Перед пристойным ликом жизни.
О, помолись и за меня,
За бесприютного в отчизне.

1916

* * *

Даль подернулась туманом,
Чешет тучи лунный гребень.
Красный вечер над куканом
Расстелил кудрявый бредень.

Под окном от скользких ветел
Перепелки звоны ветра.
Тихий сумрак, ангел теплый,
Напоен нездешним светом.

Сон избы легко и ровно
Хлебным духом сеет притчи.
На сухой соломе в дровнях
Слаще меда пот мужичий.

Чей-то мягкий лих за лесом,
Пахнет вишнями и мохом...
Друг, товарищ и ровесник,
Помолись коровьим вздохом.

1916

* * *

О красном вечере задумалась дорога,
Кусты рябин туманней глубины.
Изба-старуха челюстью порога
Жует пахучий мякиш тишины.

Осенний холод ласково и кротко
Крадется мглой к овсяному двору.

Сквозь синь стекла желтоволосый отрок
Лучит глаза на галочью игру.

Обняв трубу, сверкает по повети
Зола зеленая из розовой печи.
Кого-то нет, и тонкогубый ветер
О ком-то шепчет, сгинувшем в ночи.

Кому-то пятками уже не мять по рощам
Щербленный лист и золото травы.
Тягучий вздох, ныряя звоном тощим,
Целует клюв нахохленной совы.

Все гуще хмарь, в хлеву покой и дрема.
Дорога белая узорит скользкий ров. . .
И нежно охает ячменная солома,
Свисая с губ кивающих коров.

1916

* * *

О товарищах веселых —
О полях посеребренных
Загрустила, словно голубь,
Радость лет уединенных.

Ловит память тонким клювом
Первый снег и первопуток.
В санках озера над лугом
Запоздалый окрик уток.

Под окном от скользких елей
Тень протягивает руки.
Тихих вод парагуш квелый
Курит люльку на излуке.

Легким дымом к дальним пожням
Шлет поклон день ласк и вишен.
Запах трав от бабьей кожи
На губах моих я слышу.

Мир вам, рощи, луг и липы,
Литии медовой ладан.
Все принявшему с улыбкой
Ничего от вас не надо.

1916

* * *

Там, где вечно дремлет тайна,
Есть нездешние поля.
Только гость я, гость случайный
На горах твоих, земля.

Широки леса и воды,
Крепок взмах воздушных крыл.
Но века твои и годы
Затуманил бег светил.

Не тобой я поцелован,
Не с тобой мой связан рок.
Новый путь мне уготован
От захода на восток.

Суждено мне изначально
Возлететь в немую тьму.
Ничего я в час прощальный
Не оставляю никому.

Но за мир твой, с выси звездной,
В тот покой, где спит гроза,
В две луны зажгу над бездной
Незакатные глаза.

1916

* * *

Весна на радость не похожа,
И не от солнца жолт песок.
Твоя обветренная кожа
Лучила гречневый пушок.

У голубого водооя
На шишкоперой лебеде
Мы поклялись, что будем двое
И не расстанемся нигде.

Кадила темь, и вечер тощий
Свивался в огненной резьбе.
Я проводил тебя до роши,
К твоей родительской избе.

И долго-долго в дреме зыбкой
Я оторвать не мог лица,
Когда ты с ласковой улыбкой
Махал мне шапкою с крыльца.

1916

* * *

День ушел, убавилась черта,
Я опять подвинулся к уходу.
Легким взмахом белого перста
Тайны лет я разрезаю воду.

В голубой струе моей судьбы
Накипи холодной бьется пена,
И кладет печать немого плена
Складку новую у сморщенной губы.

С каждым днем я становлюсь чужим
И себе и жизнь кому велела.
Где-то в поле чистом, у межи,
Оторвал я тень свою от тела.

Неодетая она ушла,
Взяв мои изогнутые плечи.
Где-нибудь она теперь далече
И другого нежно обняла.

Может быть, склоняясь к нему,
Про меня она совсем забыла
И, вперившись в призрачную тьму,
Складки губ и рта переменила.

Но живет по звуку прежних лет,
Что, как эхо, бродит за горами.
Я целую синими губами
Черной тенью тиснутый портрет.

1916

* * *

Прощай, родная пуща,
Прости, золотой родник.
Плывут и рвутся тучи
О солнечный сошник.

Сияй ты, день погожий,
А я хочу грустить.
За голенищем ножик
Мне больше не носить.

Под брюхом жеребенка
В глухую ночь не спать
И радостно звонкой
Лесов не оглашать.

И не избегнуть бури,
Не миновать утрат,
Чтоб прозвенеть в лазури
Кольцом незримых врат.

1916

* * *

Гляну в поле, гляну в небо —
И в полях и в небе рай.
Снова тонет в копнах хлеба
Незапаханный мой край.

Снова в рощах непасеных
Неизбывные стада,
И струится с гор зеленых
Златоструйная вода.

О, я верю — знать, за муки
Над пропащим мужиком
Кто-то ласковые руки
Проливает молоком.

1916

* * *

Покраснела рябина,
Посинела вода.
Месяц, всадник унылый,
Уронил повод.

Снова выплыл из рощи
Синим лебедем мрак.
Чудотворные мощи
Он принес на крылах.

Край ты, край мой родимый,
Вечный пахарь и вой,
Словно Волга под ивой,
Ты поник головой.

Встань, пришло исцеленье,
Навестил тебя Спас.
Лебединое пенье
Нежит радугу глаз.

Дня закатного жертва
Искупила весь грех.
Новой свежестью ветра
Пахнет зреющий снег.

Но незримые дрожжи
Все теплей и теплей...
Помяну тебя в дождик
Я, Есенин Сергей.

1916

* * *

Тучи с ожереба
Ржут, как сто кобыл.
Плещет надо мною
Пламя красных крыл.

Небо — словно вымя,
Звезды — как сосцы.
Пухнет божье имя
В животе овцы.

Верю: завтра рано,
Чуть забрезжит свет,
Новый под туманом
Вспыхнет Назарет.

Новое восславит
Рождество поля,
И, как пес, пролает
За горой заря.

Только знаю: будет
Страшный вопль и крик,
Отрекутся люди
Славить новый лик.

Скрежетом булата
Вздыбят пасть земли...
И со щек заката
Спрыгнут скулы-дни.

Побегут, как лани,
В степь иных сторон,
Где вздымает длани
Новый Симеон.

1916

ОСЕНЬ

Р. В. Иванову

Тихо в чаще можжевеля по обрыву,
Осень — рыжая кобыла — чешет гриву.

Над речным покровом берегов
Слышен синий лязг ее подков.

Схимник ветер шагом осторожным
Мнет листву по выступам дорожным

И целует на рябиновом кусту
Язвы красные незримо Христу.

1916

ЛИСЦА

А. М. Ремизову

На раздробленной ноге приковыляла,
У норы свернулася в кольцо.
Тонкой прошвой кровь отмежевала
На снегу дремучее лицо.

Ей все бластился в колючем дыме выстрел,
Колыхалась в глазах лесная топь.
Из кустов косматый ветер взбыстрил
И рассыпал звонистую дробь.

Как желна, над нею мгла металась,
Мокрый вечер липок был и ал.
Голова тревожно подымалась,
И язык на ране застывал.

Жолтый хвост упал в метель пожаром,
На губах — как прелая морковь...
Пахло инеем и глиняным угаром,
А в ошурь сочилась тихо кровь.

1916

* * *

Ночь и поле, и крик петухов. . .
С златной тучки глядит Саваоф.
Хлесткий ветер в равнинную синь
Катит яблоки с тощих осин.

Вот она, невеселая рябь
С журавлиной тоской сентября!
Смолкшим колоколом над прудом
Опрокинулся отчий дом.

Здесь все так же, как было тогда,
Те же реки и те же стада.
Только ивы над красным бугром
Обветшалым трясут подолом.

Кто-то сгиб, кто-то канул во тьму,
Уж кому-то не петь на холму.
Мирно грезит родимый очаг
О погибших во мраке плечах.

Тихо-тихо в божничном углу,
Месяц месит кутью на полу. . .
Но тревожит лишь помином тишь
Из запечья пугливая мышь.

1916, 1917

* * *

Небо ли такое белое,
Или солью выцвела вода?
Ты поешь, и песня оголтелая
Бреговые вяжет повода.

Синим жерновом развеяны и смолоты
Водяные зерна на муку.
Голубой простор и золото
Опоясали твою тоску.

Не встревожен ласкою угрюмою
Загорелый взмах твоей руки.
Все равно — Архангельском иль Умбою
Проплывать тебе на Соловки.

Все равно под стоптанною палубой
Видишь ты погорбившийся скит,
Подпевает тебе жалоба
Об изгибах тамошних раки.

Так и хочется под песню свеситься
Над водою, спихивая день...
Но спокойно светит вместо месяца
Отразившийся на облаке тюлень.

1917

ПРОПАВШИЙ МЕСЯЦ

Облак, как мышь, подбежал и взмахнул
В небо огромным хвостом.
Словно яйцо, расколовшись, скользнул
Месяц за дальним холмом.

Солнышко утром в колодезь озер
Глянуло — месяца нет...
Свесило ноги оно на бугор,
Кликнуло — месяца нет.

Клич тот услышал с реки рыболов,
Вздумал старик подшутить.
Отражение от солнышка с утренних вод
Стал он руками ловить.

Выловил. Крепко скрутил бечевой,
Уши коленом примял.
Вылез и тихо на луч золотой
Солнечных век привязал.

Солнышко к небу глаза подняло
И сказало: «Тяжек мой труд!».
И вдруг солнышку что-то веки свело,
Оглянулося — месяц как тут.

Как белка на ветке, у солнца в глазах
Запрыгала радость...
Но вдруг...
Луч оборвался, и по скользким холмам
Отраженье скатилось в луг.

Солнышко испугалось... А старый дед,
Смеется, грохотал, как гром.
И голубем синим вечерний свет
Махал ему в рот крылом.

1917

* * *

Не напрасно дули ветры,
Не напрасно шла гроза.
Кто-то тайный тихим светом
Напоил мои глаза.

С чьей-то ласковости вешней
Отгрустил я в синей мгле
О прекрасной, но нездешней,
Неразгаданной земле.

Не гнетет немая млечность,
Не тревожит звездный страх.
Полюбил я мир и вечность,
Как родительский очаг.

Все в них благостно и свято,
Все тревожное светло.
Плещет рдяный мак заката
На озерное стекло.

И невольно в море хлеба
Рвется образ с языка:
Отелившееся небо
Лижет красного телка.

1917

* * *

О край дождей и непогоды,
Кочующая тишина,
Ковригой хлебною под сводом
Надломлена твоя луна.

За перепаханною нивой
Малиновая лебеда.
На ветке облака, как слива,
Златится спелая звезда.

Опять дорогой верстовою,
Наперекор твоей беде,
Бреду и чую яровое
По голубеющей воде.

Клубит и пляшет дым болотный...
Но и в кошме певучей тьмы
Неизреченностью животной
Напоены твои холмы.

1917

* * *

О Русь, взмахни крылами,
Поставь иную крепь!
С иными именами
Встает иная степь.

По голубой долине,
Меж телок и коров,
Идет в золотой ряднине
Твой Алексей Кольцов.

В руках — краюха хлеба,
Уста — вишневый сок.
И вызвездило небо
Пастушеский рожок.

За ним, с снегов и ветра,
Из монастырских врат,
Идет, одетый светом,
Его середний брат.

От Вытегры до Шуи
Он избраздил весь край
И выбрал кличку — Клюев,
Смиранный Миколай.

Монашья мудр и ласков,
Он весь в резьбе молвы,
И тихо сходит пасха
С бескудрой головы.

А там, за взгорьем смолым,
Иду, тропу тая,
Кудрявый и веселый,
Такой разбойный я.

Долга, крута дорога,
Несчетны склоны гор;
Но даже с тайной бога
Веду я тайно спор.

Сшибаю камнем месяц
И на немую дрожь
Бросаю, в небо свесясь,
Из голенища нож.

За мной незримым роем
Идет кольцо других,
И далеко по селам
Звенит их бойкий стих.

Из трав мы вяжем книги,
Слова трясем с двух пол.
И сродник наш, Чапыгин,
Певуч, как снег и дол.

Сокройся, сгинь, ты, племя
Смердящих снов и дум!

На каменное темя
Несем мы звездный шум.

Довольно гнить и ноешь,
И славить взлетом гнусь —
Уж смыла, стерла деготь
Воспрянувшая Русь.

Уж повела крылами
Ее немая крепь!
С иными именами
Встает иная степь.

1917

* * *

Разбуди меня завтра рано,
О моя терпеливая мать!
Я пойду за дорожным курганом
Дорогого гостя встречать.

Я сегодня увидел в пуще
След широких колес на лугу.
Треплет ветер под облачной кущею
Золотую его дугу.

На рассвете он завтра промчится,
Шапку-месяц пригнув под кустом,
И игриво взмахнет кобылица
Над равниною красным хвостом.

Разбуди меня завтра рано,
Засвети в нашей горнице свет.
Говорят, что я скоро стану
Знаменитый русский поэт.

Воспою я тебя и гостя,
Нашу печь, петуха и кров...
И на песни мои прольется
Молоко твоих рыжих коров.

1917

* * *

Где ты, где ты, отчий дом,
Гревший спину под бугром?
Синий, синий мой цветок,
Неприхоженный песок.
Где ты, где ты, отчий дом?

За рекой поет петух —
Там стада стерег пастух,
И светились из воды
Три далекие звезды.
За рекой поет петух.

Время — мельница с крылом
Опускает за селом
Месяц маятником в рожь
Лить часов незримый дождь.
Время — мельница с крылом.

Этот дождик с сонмом стрел
В тучах дом мой завертел,
Синий подкосил цветок,
Золотой примял песок.
Этот дождик с сонмом стрел.

1917

* * *

Нивы сжаты, рощи голы,
От воды туман и сырость.
Колесом за сини горы
Солнце тихое скатилось.

Дремлет взрытая дорога.
Ей сегодня примечталось,
Что совсем-совсем немного
Ждать зимы седой осталось.

Ах, и сам я в чаше звонкой
Увидал вчера в тумане:
Рыжий месяц жеребенком
Запрягался в наши сани.

1917

* * *

Отвори мне, страж заоблачный,
Голубые двери дня.
Белый ангел этой полночью
Моего увел коня.

Богу лишнего не надобно,
Конь мой — мощь моя и крепь.
Слышу я, как ржет он жалобно,
Закусив золотую цепь.

Вижу, как он бьется, мечется,
Теребя тугой аркан,
И летит с него, как с месяца,
Шерсть буланая в туман.

1917

* * *

О, пашни, пашни, пашни,
Коломенская грусть,
На сердце день вчерашний,
А в сердце светит Русь.

Как птицы, свищут версты
Из-под копыт коня.
И брызжет солнце горстью
Свой дождик на меня.

О, край разливов грозных
И тихих вешних сил,

Здесь по заре и звездам
Я школу проходил.

И мыслил и читал я
По библии ветров,
И пас со мной Исая
Моих золотых коров.

1917

* * *

Проплясал, проплакал дождь весенний,
Замерла гроза.
Скучно мне с тобой, Сергей Есенин,
Поднимать глаза...

Скучно слушать под небесным дровом
Взмах незримых крыл:
Не разбудишь ты своим напевом
Дедовских могил.

Привязало, осаднило слово
Даль твоих времен.
Не в ветрах, а, знать, в томах тяжелых
Прозвенит твой сон.

Кто-то сядет, кто-то выгнет плечи,
Вытянет персты.
Близок твой кому-то красный вечер,
Да не нужен ты.

Всколыхнет он Брюсова и Блока,
Встормошит других.
Но все так же день взойдет с востока,
Так же вспыхнет миг.

Не изменят лик земли напевы,
Не стряхнут листа.
Навсегда твои пригвождены ко древу
Красные уста.

Навсегда простер глухие длани
Звездный твой Пилат...
Или, Или, Лима Савахани,
Отпусти в закат.

1917

* * *

О, верю, верю, счастье есть!
Еще и солнце не погасло.
Заря молитвенником красным
Пророчит благостную весть.
О, верю, верю, счастье есть.

Звени, звени, золотая Русь,
Волнуйся, неумный ветер!
Блажен, кто радостью отметил
Твою пастушескую грусть.
Звени, звени, золотая Русь.

Люблю я ропот буйных вод
И на волне звезды сиянье,
Благословенное страданье,
Благословляющий народ.
Люблю я ропот буйных вод.

1917

* * *

Я по первому снегу бреду,
В сердце ландыши вспыхнувших сил.
Вечер синей свечкой звезду
Над дорогой моей засветил.

Я не знаю, то свет или мрак?
В чаще ветер поет иль петух?
Может, вместо зимы на полях
Это лебеди сели на луг.

Хороша ты, о белая гладь!
Греет кровь мою легкий мороз!
Так и хочется к телу прижать
Обнаженные груди берез.

О, лесная, дремучая муть!
О, веселье оснеженных нив! . .
Так и хочется руки сомкнуть
Над древесными бедрами ив.

1917

* * *

Вот оно, глупое счастье
С белыми окнами в сад!
По пруду лебедем красным
Плавает тихий закат.

Здравствуй, золотое затишье,
С тенью березы в воде!
Галочья стая на крыше
Служит вечерню звезде.

Где-то за садом несмело,
Там, где калина цветет,
Нежная девушка в белом
Нежную песню поет.

Стелется синею рясой
С поля ночной холодок. . .
Глупое, милое счастье,
Свежая розовость щек!

1917

* * *

Песни, песни, о чем вы кричите?
Иль вам нечего больше дать?
Голубого покоя нити
Я учусь в мои кудри вплетать.

Я хочу быть тихим и строгим.
Я молчанью у звезд учусь.
Хорошо ивняком при дороге
Сторожить задремавшую Русь.

Хорошо в эту лунную осень
Бродить по траве одному
И собирать на дороге колосья
В обнищалую душу-суму.

Но равнинная синь не лечит.
Песни, песни, иль вас не стряхнуть? ..
Золотистой метелкой вечер
Расчищает мой ровный путь.

И так радостен мне над пущей
Замирающий в ветре крик:
«Будь же холоден ты, живущий,
Как осеннее золото лип».

1917

* * *

О муза, друг мой гибкий,
Ревнивица моя.
Опять под дождик сыпкий
Мы вышли на поля.

Опять весенним гулом
Приветствует нас дол.
Младенцем завернула
Заря луну в подол.

Теперь бы песню ветра
И нежное баю —
За то, что ты окрепла,
За то, что праздник светлый
Влила ты в грудь мою.

Теперь бы брызнуть в небо
Вишневым соком стих
За отческую щедрость
Наставников твоих.

О, мед воспоминаний!
О, звон далеких лип!
Звездой нам пел в тумане
Разумниковский лик.

Тогда в веселом шуме
Игривых дум и сил
Апостол нежный Клюев
Нас на руках носил.

Теперь мы стали зрелей
И весом тяжелей...
Но не заглушит трелью
Тот праздник соловей.

И этот дождик шальный
Его не смоем в нас,
Чтоб звон троей лампы
Под ветром не погас.

1917

ТОВАРИЩ

Он был сын простого рабочего,
И повесть о нем очень короткая,
Только и было в нем, что волосы как ночь,
Да глаза голубые, кроткие.

Отец его с утра до вечера
Гнул спину, чтоб прокормить крошку;
Но ему делать было нечего,
И были у него товарищи: Христос да кошка.

Кошка была старая, глухая,
Ни мышей, ни мух не слышала,

А Христос сидел на руках у матери
И смотрел с иконы на голубей под крышею.

Жил Мартин, и никто о нем не ведал.
Грустно стучали дни, словно дождь по железу.
И только иногда за скудным сбедом
Учил его отец распевать Марсельезу.

«Вырастешь, — говорил он, — поймешь...
Рсзгадаешь, отчего мы так нищи!»
И глухо дрожал его щербатый нож
Над черствой горбушкой засушенной пищи.

Но вот под тесовым
Окном —
Два ветра взмахнули
Крылом;

То с вешнею полымью
Вод
Взметнулся российский
Народ...

Ревут валы,
Поет гроза!
Из синей мглы
Горят глаза.

За взмахом взмах,
Над трупом труп;
Ломает страх
Свой крепкий зуб.

Все взлет и взлет,
Все крик и крик!
В бездонный рот
Бежит родник...

И вот кому-то пробил
Последний, грустный час...
Но верьте, он не сробел
Пред силой вражьих глаз!

Душа его, как прежде,
Бесстрашна и крепка,
И тянется к надежде
Бескровная рука.

Он незадаром прожил,
Недаром мям цветы;
Но не на вас похожи
Угасшие мечты. . .

Нечаянно, негаданно
С родимого крыльца
Донесся до Мартина
Последний крик отца.

С потухшими глазами,
С пугливой синью губ,
Упал он на колени,
Обняв холодный труп.

Но вот приподнял брови,
Протер рукой глаза,
Вбежал обратно в хату.
И стал под образа.

«Исус, Исус, ты слышишь?
Ты видишь? Я один.
Тебя зовет и кличет
Товарищ твой Мартин!

Отец лежит убитый,
Но он не пал как трус.
Я слышу — он зовет нас,
О верный мой Исус.

Зовет он нас на помощь,
Где бьется русский люд,
Велит стоять за волю,
За равенство и труд! . . .»

И, ласково приемля
Речей невинных звук,
Сошел Иисус на землю
С неколебимых рук.

Идут рука с рукою,
А ночь черна, черна!..
И пыжится бедою
Седая тишина.

Мечты цветут надеждой
Про вечный вольный рок.
Обоим нежит вежды
Февральский ветерок.

Но вдруг огни сверкнули...
Залая медный груз.
И пал, сраженный пулей,
Младенец Иисус.

Слушайте:
Больше нет воскресенья!
Тело его предали погребенью:
Он лежит
На Марсовом
Поле.

А там, где осталась мать,
Где ему не бывать
Боле,
Сидит у окошка
Старая кошка,
Ловит лапой луну...

Ползает Мартин по полу:
«Соколы вы мои, соколы,
В плену вы,
В плену!»
Голос его все глуше, глуше,
Кто-то давит его, кто-то душит,
Палит огнем.

Но спокойно звенит
 За окном,
То погаснув, то вспыхнув
 Снова,
Железное
 Слово:
«Ре-эс-пу-у-ублика!»
1917

ПЕВУЩИЙ ЗОВ

 Радуйтесь!
Земля предстала
Новой купели!
 Догорели
Синие метели.
И змея потеряла
 Жало.

 О родина,
Мое русское поле,
И вы, сыновья ее,
 Остановившие
На частоколе
Луну и солнце, —
 Хвалите бога!

В мужичьих яслях
 Родилось пламя
К миру всего мира!
Новый Назарет
 Перед вами.
Уже славят пастыри
 Его утро.
Свет за горами...

Сгинь ты, английское юдо,
Расплещися по морям!
Наше северное чудо
Не постичь твоим сынам!

Не познать тебе Фавора,
Не расслышать тайный зов!
Отуманенного взора
На устах твоих покров.

Все упрямей, все напрасней
Ловит рот твой темноту.
Нет, не дашь ты правды в яслях
Твоему сказать Христу!

Но знайте,
Спящие глубоко:
Она загорелась,
Звезда Востока!
Не погасить ее Ироду
Кровью младенцев...

Пляши, Саломея, пляши!
Твои ноги легки и крылаты.
Целуй ты уста без души, —
Но близок твой час расплаты!
Уже встал Иоанн,
Изможденный от ран,
Поднял с земли
Отрубленную голову,
И снова гремят
Его уста,
Снова грозят
Содому:
— Опомнитесь!

Люди, братья мои люди,
Где вы? Отзовитесь!
Ты не нужен мне, бесстрашный,
Кровожадный витязь.

Не хочу твоей победы,
Дани мне не надо!
Все мы — яблони и вишни
Голубого сада.

Все мы — гроздья винограда,
Золотого лета,
До кончины всем нам хватит
И тепла и света!

Кто-то мудрый, несказанный,
Все себе подобя,
Всех живущих греет песней,
Мертвых — сном во гробе.

Кто-то учит нас и просит
Постигать и мерить.
Не губить пришли мы в мире,
А любить и верить!

1917

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Разумнику Иванову

1

Облаки лают,
Ревет златозубая высь...
Пою и взываю:
Господи, отелись!

Перед воротами в рай
Я стучусь:
Звездами спеленай
Телицу-Русь.

За тучи тянется моя рука,
Бурею шумит песнь.
Небесного молока
Даждь мне днесь.

Грозно гремит твой гром,
Чудится плеск крыл.
Новый Содом
Сжигает Егудил.

Но твердо, не глядя назад,
По ниве вод
Новый из красных врат
Выходит Лот.

2

Не потому ль в березовых
Кустах поет сверчок
О том, как ликом розовым
Окапал рожь восток;

О том, как богородица,
Накинув синий плат,
У облачной околицы
Скликает в рай телят.

С утра над осенницею
Я слышу зов трубы.
Теленькает синницею
Он про глагол судьбы.

«О, веруй, небо вспенится,
Как лай, сверкнет волна.
Над роцею ощенится
Златым щенком луна.

Иной травой и чащею
Отенит мир вода.
Малиновкой журчащею
Слетит в кусты звезда.

И выползет из колоса,
Как рой, пшеничный злак,
Чтобы пчелиным голосом
Озлатонивить мрак»...

8

Ей, россияне!
Ловцы вселенной,
Неводом зари зачерпнувшие небо, —
Трубите в трубы.

Под плугом бури
Ревет земля.
Рушит скалы златоклыкий
Омеж.

Новый сеятель
Бредет по полям,
Новые зерна
Бросает в борозды.

Светлый гость в колымаге к вам
Едет.
По тучам бежит
Кобылица.
Шлея на кобыле —
Синь.
Бубенцы на шлее —
Звезды.

4

Стихни, ветер,
Не лай, водяное стекло.
С небес через красные сети
Дождит молоко.

Мудростью пухнет слово,
Вязью колося поля.
Над тучами, как корова,
Хвост задрала заря.

Вижу тебя из окошка,
Зиждитель щедрый,
Ризою над землею
Свесивший небеса.

Ныне
Солнце, как кошка,
С небесной вербы
Лапкою золотою
Трогает мои волосы.

Зреет час преображенья,
Он сойдет, наш светлый гость,
Из распятого терпенья
Вынуть выржавленный гвоздь.

От утра и от полудня
Под поющий в небе гром,
Словно ведра, наши будни
Он наполнит молоком.

И от вечера до ночи,
Незакатный славя край,
Будет звездами пророчить
Среброзлачный урожай.

А когда над Волгой месяц
Склонит лик испить воды, —
Он, в ладью золотую свесясь,
Уплывет в свои сады.

И из лона голубого,
Широко взмахнув веслом,
Как яйцо, нам сбросит слово
С проклевавшимся птенцом.

1918

ИЮНИЯ

Пророку Иеремии

1

Не утрашуся гибели,
Ни копий, ни стрел дождей, —
Так говорит по Библии
Пророк Есенин Сергей.
Время мое пришло,
Не страшен мне лязг кнута.

Тело, Христово тело
Выплюываю изо рта.
Не хочу воспринять спасения
Через муки его и крест.
Я иное постиг учение
Прободающих вечность звезд.
Я иное узрел пришествие —
Где не пляшет над правдой смерть.
Как овцу от поганой шерсти, я
Остригу голубую твердь,
Подыму свои руки к месяцу,
Раскушу его, как орех.
Не хочу я небес без лестницы,
Не хочу, чтобы падал снег.
Не хочу, чтоб умело хмуриться
На озерах зари лицо.
Я сегодня снесся, как курица,
Золотым словесным яйцом.
Я сегодня рукой упругою
Готов повернуть весь мир...
Грозовой расплескались вьюгою
От плечей моих восемь крыл.

2

Лай колоколов над Русью грозный —
Это плачут стены Кремля.
Ныне на пики звездные
Вздыбливаю тебя, земля!
Протянусь до незримого города,
Млечный прокушу покров.
Даже богу я выщиплю бороду
Оскалсм моих зубов.
Ухвачу его за гриву белую
И скажу ему голосом вьюг:
Я иным тебя, господи, сделаю,
Чтобы зрел мой словесный луг!

Проклинаю я дыхание Китежа
И все лоцины его дорог.
Я хочу, чтобы на бездонном вытяже
Мы воздвигли себе чертог.

Языком вылижу на иконах я
Лики мучеников и святых.
Обещаю вам град Инонию,
Где живет божество живых!
Плачь и рыдай, Московия!
Новый пришел Индикоплов.
Все молитвы в твоём часослове я
Прокляю моим клювом слов.
Уведу твой народ от упования,
Дам ему веру и мощь,
Чтобы плугом он в зори ранние
Распахивал с солнцем ночь.
Чтобы поле его словесное
Выращало ульями злак,
Чтобы зерна под крышей небесною
Озлащали, как пчелы, мрак.

Проклинаю тебя я, Радонеж.
Твои пятки и все следы!
Ты огня золотого залежи
Разрыхлял киркою воды.
Стая туч твоих, по-волчьи лающих,
Словно стая злющих волков,
Всех зовущих и всех дерзающих
Прободала копьем клыков.
Твое солнце когтистыми лапами
Прокогтялось в душу, как нож.
На реках вавилонских мы плакали,
И кровавый мочил нас дождь.
Ныне ж бури воловьим голосом
Я кричу сняв с Христа штаны:
Мойте руки свои и волосы
Из лоханки второй луны.
Говорю вам — вы все погибнете,
Всех задушит вас веры мох.
По-иному над нашей выгибью
Вспух незримой коровой бог.
И напрасно в пещеры селятся
Те, кому ненавистен рев, —
Все равно — он иным отелится
Солнцем в наш русский кров.

Все равно он спалит телением,
Что ковало реке берега.
Разгвоздят мировое кипение
Золотые его рога.
Новый сойдет Олимпий
Начертать его новый лик.
Говорю вам — весь воздух выпью
И кометой вытяну язык.
До Египта раскорячу ноги,
Раскую с вас подковы мук. . .
В оба полюса снежнорогие
Вопьюся клещами рук.
Коленом придавлю экватор
И, под бури и вихря плач,
Пополам нашу землю-матерь
Разломлю, как золотой калач.
И в провал, отененный бездною,
Чтобы мир весь слышал тот треск,
Я главу свою власозвездную
Просуну, как солнечный блеск.
И четыре солнца из облачья,
Как четыре бочки с горы,
Золотые рассыпав обручи,
Скатысь, всколыхнут миры.

3

И тебе говорю, Америка,
Отколотая половина земли, —
Страшись по морям безверия
Железные пускать корабли!
Не отягивай чугунной радугой
Нив и гранитом — рек.
Только водью свободной Ладоги
Просверлит бытие человек!
Не вбивай руками синими
В пустошь потолок небес:
Не построить шляпками гвоздинами
Сияние далеких звезд.
Не залить огневого брожения
Лавой стальной руды.

Нового вознесения
Я оставлю на земле следы.
Пятками с облаков свесюсь,
Прокопытлю тучи, как лось;
Колесами солнце и месяц
Надену на земную ось.
Говорю тебе — не пой молебствия
Проволочным твоим лучам.
Не осветят они пришествия
Бегущего овцой по горам!
Сыщется в тебе стрелок еще
Пустить в его грудь стрелу.
Словно полымя, с белой шерсти его
Брызнет теплая кровь во мглу.
Звездами золотые копытца
Скатятся, взбороздив ночь.
И опять замелькает спицами
Над чулком ее черным дождь.
Возгремлю я тогда колесами
Солнца и луны, как гром;
Как пожар, размечу волосья
И лицо заколю крылом.
За уши встряхну я горы,
Копьями вытяну ковыль.
Все тыны твои, все заборы
Горстью смету, как пыль.

И вспашу я черные щеки
Нив твоих новой сохой;
Золотой пролетит сорокой
Урожай над твоей страной.
Новый он сбросит жителям
Крыл колосистых звон.
И, как жерди золотые, вытянет
Солнце лучи на дол.
Новые вырастут сосны
На ладонях твоих полей.
И, как белки, желтые весны
Будут прыгать по сучьям дней.
Синие забрезжут реки,
Просверлив все преграды глыб.

И заря, опуская веки,
Будет звездных ловить в них рыб.
Говорю тебе — будет время,
Отплещут уста громов;
Прободят голубое темя
Колосья твоих хлебов.
И над миром с незримой лестницы,
Оглашая поля и луг,
Проклевавшись из сердца месяца,
Кукарекнув, взлетит петух.

4

По тучам иду, как по ниве, я,
Свесясь головою вниз.
Слышу плеск голубого ливня
И светил тонкоклювых свист.
В синих отражаюсь затонах
Далеких моих озер.
Вижу тебя, Инония,
С золотыми шапками гор.
Вижу нивы твои и хаты,
На крылечке старушку мать,
Пальцами луч заката
Старается она поймать.
Прищемит его у окошка,
Схватит на своем горбе, —
А солнышко, словно кошка,
Тянет клубок к себе.
И тихо под шепот речки,
Прибрежному эху в подол,
Каплями незримой свечки
Капает песня с гор:

«Слава в вышних богу
И на земле мир!
Месяц синим рогом
Тучи прободил.
Кто-то вывел гуся
Из яйца звезды,
Светлого Иисуса
Проклевать следы.

Кто-то с новой верой,
Без креста и мук,
Натянул на небе
Радугу, как лук.
Радуйся, Сионе,
Проливай свой свет.
Новый в небосклоне
Вызрел Назарет.
Новый на кобыле
Едет к миру Спас.
Наша вера — в силе.
Наша правда — в нас!»

1918

СЕЛЬСКИЙ ЧАСОСЛОВ

1

О солнце, солнце
Золотое,
Опущенное в мир
Ведро,
Зачерпни мою душу!
Вынь из кладезя мук
Страны моей.

Каждый день, ухватившись
За цепь лучей твоих,
Карабкаюсь я
В небо.
Каждый вечер срываюсь
И падаю
В пасть заката.

Тяжко и горько мне...
Кровью поют уста...
Снеги, белые снеги —
Покров моей родины —
Рвут на части.

На кресте висит
Ее тело,
Голени дорог и холмов
Перебиты. . .

Волком воет от запада
Ветер. . .
Ночь, как ворон,
Точит клюв
На глаза-озера.

И доскою надкрестною
Прибита к горе
Заря:

ИСУС НАЗАРЯНИН
ЦАРЬ
ИУДЕЙСКИЙ.

2

О месяц, месяц, —
Рыжая
Шапка моего деда,
Закинутая озорным внуком
На сук облака,
Спади на землю. . .
Прикрой глаза мои!

Где ты. . .
Где моя родина?
Лыками содрала
Твои дороги
Буря,
Синим языком вылизал
Снег твой —
Твою белую шерсть —
Ветер. . .
И лежишь ты,
Как овца,
Дрыгая ногами в небо,

Путая небо
 С яслями,
Путая звезды
 С овсом золотистым.
О, путай, путай!
Путай все, что видишь. . .
Не отрекусь принять тебя
Даже
 С солнцем,
 Похожим
 На свинью.
Не испугаюсь проснутого
Пятачка его
 В частокол
 Души моей.

Тайна твоя
 Велика есть.
Гибель твоя —
 Миру купель
 Предвечная!

8

О красная вечерняя заря!
 Прости мне крик мой,
Прости, что спутал я
 Твою медведицу
 С черпаком водовоза.

Пастухи пустыни —
Что мы знаем?

Только ведь приходское
Училище
 Я кончил,
Только знаю Библию да сказки,
Только знаю, что поет
Овес при ветре. . .
 Да еще
По праздникам
 Играть в гармошку.

Не постиг я.
Верю,
Что погибнуть лучше,
Чем остаться
С содранною
Кожей.

Гибни, край мой!
Гибни, Русь моя,
Начертательница
Третьего
Завета.

4

О звезды, звезды,
Восковые
Тонкие свечи,
Капающие красным воском
На молитвенник зари,
Склонитесь ниже!
Нагните пламя свое,
Чтобы мог я,
Привстав на цыпочки,
Погасить его.
Он не понял, кто зажег вас,
О какой я пропел вам
Смерти.
Радуйся,
Земля!

Деве твоей Руси
Новое возвестил я
Рождение.

Сына тебе
Родит она.
Имя ему —
Израмистил.

Пой и шуми, Волга!
В синие ясли твои
Опрокинет она
Младенца.

Не говорите мне,
Что это
 В полном круге
Будет восходить
 Луна.
Это он!
 Это он
Из чрева неба
Будет высовывать
 Голову.

1918

* * *

Тучи — как озера,
Месяц — рыжий гусь.
Пляшет перед взором
Буйственная Русь.

Дрогнул лес зеленый,
Закипел родник.
Здравствуй, обновленный
Отчарь мой, мужик!

Голубые воды —
Твой покой и свет,
Гибельной свободы
В этом мире нет.

Пой, зови и требуй
Скрытые брега;
Не сорвется с неба
Звездная дуга.

Не обронит вечер
Красного ведра;
Могутные плечи —
Что гранит-гора.

1918

ИОРДАНСКАЯ ГОЛУБИЦА

1

Земля моя золотая!
Осенний светлый храм!
Гусей крикливых стая
Несется к облакам.

То душ преображенных .
Несчислимая рать,
С озер поднявшись сонных,
Летит в небесный сад.

А впереди их лебедь.
В глазах, как роцца, грусть.
Не ты ль так плачешь в небе,
Отчалившая Русь?

Лети, лети, не бойся,
Всему есть час и брег.
Ветра стекают в песню,
А песня канет в век.

2

Небо — как колокол,
Месяц — язык,
Мать моя — родина,
Я — большевик.

Ради вселенского
Братства людей
Радуюсь песней я
Смерти твоей.

Крепкий и сильный,
На гибель твою
В колокол синий
Я месяцем бью.

Братья миряне,
Вам моя песнь.
Слышу в тумане я
Светлую весть.

3

Вот она, вот голубица,
Севшая ветру на длань.
Снова зарею клубится
Мой луговой Иордань.

Слаблю тебя, голубая,
Звездами вбитая высь.
Снова до отчего рая
Руки мои поднялись.

Вижу вас, злачные пивы,
С стадом буланных коней.
С дудкой пастушеской в ивах
Бродит апостол Андрей.

И, полная боли и гнева,
Там, на окраине села,
Мати Пречистая Дева
Розгой стегает осла.

4

Братья мои, люди, люди!
Все мы, все когда-нибудь
В тех благих селеньях будем,
Где протоптан млечный путь.

Не жалейте же ушедших,
Уходящих каждый час, —
Там на ландышах расцветших
Лучше, чем в полях у нас.

Страж любви — судьба-мздоимец
Счастье пестует не век.
Кто сегодня был любимец —
Завтра нищий человек.

О новый, новый, новый,
Прорезавший тучи день!
Отроком солнцеголовым
Сядь ты ко мне под плетень.

Дай мне твои волосья
Гребнем луны расчесать.
Этим обычаем гостя
Мы научились встречать.

Древняя тень Маврикии
Родственна нашим холмам,
Дождиком в нивы златые
Нас посетил Авраам.

Сядь ты ко мне на крылечко,
Тихо склонись ко плечу.
Синюю звездочку свечкой
Я пред тобой засвечу.

Буду тебе я молиться,
Славить твою Иордань...
Вот она, вот голубица,
Севшая ветру на длань.

1918

КАНТАТА

Спите, любимые братья.
Снова родная земля
Неколебимые рати
Движет под стены Кремля.

Новые в мире зачатья,
Зарево красных зарниц...
Спите, любимые братья,
В свете нетленных гробниц.

Солнце златою печатью
Стражем стоит у ворот...
Спите, любимые братья,
Мимо вас движется ратью
К зорям вселенским народ.

1918

НЕБЕСНЫЙ БАРАБАНЩИК

Л. Н. Старку

1

Гей вы, рабы, рабы!
Брюхом к земле прилипли вы.
Нынче луну с воды
Лошади выпили.

Листьями звезды льются
В реки на наших полях.
Да здравствует революция
На земле и на небесах!

Души бросаем бомбами,
Сеem пурговый свист.
Что нам слюна иконная
В наши ворота в высь?

Нам ли страшны полководцы
Белого стада горилл?
Взвихренной конницей рвется
К новому берегу мир.

2

Если это солнце
В заговоре с ними, —
Мы его всей ратью
На штыках подыдем.

Если этот месяц
Друг их черной силы, —

Мы его с лазури
Камнями в затылок.

Разметем все тучи,
Все дороги взмесим,
Бубенцом мы землю
К радуге привесим.

Ты звени, звени нам,
Мать-земля сырая,
О полях и рощах
Голубого края.

3

Солдаты, солдаты, солдаты —
Сверкающий бич над смерчком,
Кто хочет свободы и братства,
Тому умирать нипочем.

Смыкайтесь же тесной стеною!
Кому ненавистен туман,
Тот солнце корявой рукою
Сорвет на золотой барабан.

Сорвет и пойдет по дорогам
Лить зов над озерами сил —
На тени церквей и острогов,
На белое стадо горилл.

В этом зове калмык и татарин
Почуют свой чаемый град.
И черное небо хвостами,
Хвостами коров вспламят.

4

Верьте, победа за нами!
Новый берег недалек.
Волны белыми когтями
Золотой скребут песок.

Скоро, скоро вал последний
Миллионом брызнет лун.
Сердце — свечка за обедней
Пасхе массы и коммун.

Ратью смуглой, ратью дружной
Мы идем сплотить весь мир.
Мы идем, и пылью выюжной
Таёт облако горилл.

Мы идем, а там, за чашей,
Сквозь белесость и туман
Наш небесный барабанщик
Лупит в солнце-барабан.

1918

* * *

Клюеву

Теперь любовь моя не та.
Ах, знаю я, ты тужишь, тужишь
О том, что лунная метла
Стихов не расплескала лужи.

Грустя и радуясь звезде,
Спадающей тебе на брови,
Ты сердце выпеснил избе,
Но в сердце дома не построил.

И тот, кого ты ждал в ночи,
Прошел, как прежде, мимо крова.
О друг, кому ж твои ключи
Ты золотил поющим словом?

Тебе о солнце не пропеть,
В окошко не увидеть рая,
Так мельница, крылом махая,
С земли не может улететь.

1918

КОРОЛЕВА

Пряный вечер. Гаснут зори.
По траве ползет туман.
У плетня на косогоре
Забелел твой сарафан.

В чарах звездного напева
Обомлели тополя.
Знаю, ждешь ты, королева,
Молодого короля.

Коромыслом серп двурогий
Плавно по небу скользит.
Там, за рощей, по дороге
Раздается звон копыт.

Скачет всадник загорелый,
Крепко держит поводя.
Увезет тебя он смело
В чужедальни города.

Пряный вечер. Гаснут зори.
Слышен четкий храп коня.
Ах, постой на косогоре
Королевой у плетня.

1918

* * *

Замечает пурга
Белый путь.
Хочет в мягких снегах
Потонуть.
Ветер резвый уснул
На пути, —
Ни проехать в лесу,
Ни пройти.

Забегала коляда
На село,
В руки белые взяла
Помело.
Гей, вы, нелюди-люди,
Народ,
Выходите с дороги
Вперед!
Испугалась пурга
На снегах,
Побежала скорей
На луга.
Ветер тоже спросонок
Вскочил
Да и шапку с кудрей
Уронил.
Утром ворон к березыньке —
Стук. . .
И повесил ту шапку
На сук.

1918

* * *

Л. И. Кашиной

Зеленая прическа,
Девическая грудь,
О тонкая березка,
Что загляделась в пруд?

Что шепчет тебе ветер?
О чем звенит песок?
Иль хочешь в косы-ветви
Ты лунный гребешок?

Открой, открой мне тайну,
Твоих древесных дум,
Я полюбил — печальный
Твой предосенний шум.

И мне в ответ березка:
«О любопытный друг,
Сегодня ночью звездной
Здесь слезы лил пастух.

Луна стелила тени,
Сияли зеленыя.
За голые колени
Он обнимал меня.

И так, вздохнувши глубоко,
Сказал под звон ветвей:
— Прощай, моя голубка,
До новых журавлей».

1918

* * *

Я покинул родимый дом,
Голубую оставил Русь.
В три звезды березняк над прудом
Теплит матери старой грусть.

Золотою лягушкой луна
Распласталась на тихой воде.
Словно яблонный цвет, седина
У отца пролилась в бороде.

Я не скоро, не скоро вернусь!
Долго петь и звенеть пурге.
Стережет голубую Русь
Старый клен на одной ноге.

И я знаю, есть радость в нем
Тем, кто листьев целует дождь,
Оттого, что тот старый клен
Головой на меня похож.

1918

* * *

Хорошо под осеннюю свежесть
Душу-яблоню ветром стряхать
И смотреть, как над речкою режет
Воду синюю солнца соха.

Хорошо выбивать из тела
Накаляющий песни гвоздь
И в одежде празднично белой
Ждать, когда постучится гость.

Я учусь, я учусь моим сердцем
Цвет черемух в глазах беречь.
Только в скупости чувства греются,
Когда ребра ломает течь.

Молча ухает звездная звонница,
Что ни лист, то свеча заре.
Никого не впущу я в горницу,
Никому не открою дверь.

1918

* * *

Закружилась листва золотая
В розовой воде на пруду,
Словно бабочек легкая стая
С замираньем летит на звезду.

Я сегодня влюблен в этот вечер,
Близок сердцу желтеющий дол.
Отрок-ветер по самые плечи
Заголил на березке подол.

И в душе и в долине прохлада,
Синий сумрак как стадо овец.
За калиткою смолкшего сада
Прозвенит и замрет бубенец.

Я еще никогда бережливо
Так не слушал разумную плоть.
Хорошо бы, как ветками ива,
Опрокинуться в розовость вод.

Хорошо бы, на стог улыбаясь,
Мордой месяца сено жевать. . .
Где ты, где, моя тихая радость —
Все любя, ничего не желать?

1918

* * *

И небо и земля все те же,
Все в те же воды я гляжусь,
Но вздох твой ледовитый реже,
Ложноклассическая Русь.

Не огражу мой тихий кров
От радости над умираньем,
Но жаль мне, жаль отдать страданью
Езекиильский глас ветров.

Шуми, шуми, реви сильнее,
Свирепствуй, океан мятежный,
И в солнца золотые мрежи
Сгоняй серебристых окуней.

1919

* * *

В час, когда ночь воткнет
Луну на черный палец, —
Ах, о ком, ах, кому поет
Про любовь соловей-мерзавец?
Разве можно теперь любить,
Когда в сердце стирают зверя?
Мы идем, мы идем продолбить
Новые двери.

К черту чувства, слова в навоз,
Только образ и мощь порыва!
Что нам солнце? Весь звездный обоз —
Золотая струя коллектива.
Что нам Индия? Что Толстой?
Этот ветер что был, что не был.
Нынче мужик простой
Пялится ширше неба.

1919

* * *

Вот такой, какой есть,
Никому ни в чем не уважу,
Золотую плету я песнь,
А лицо иногда в сажу.

Говорят, что я большевик.
Да, я рад зауздать землю.
О, какой богомаз мой лик
Начертил, грозовице внемля?

Пусть Америка, Лондон пусть...
Разве воды текут обратно?
Это пляшет российская грусть,
На солнце смывая пятна.

1919

ЦАНТОКРАТОР

1

Славь, мой стих, кто ревет и бесится,
Кто хоронит тоску в плече
Лошадиную морду месяца
Схватить за узду лучей.

Тысячи лет те же звезды славятся,
Тем же медом струится плоть.

Не молиться тебе, а лаяться
Научил ты меня, господь.

За седины твои кудрявые,
За копейки с золотых осин
Я кричу тебе: «К черту старое!»,
Непокорный, разбойный сын.

И за эти щедроты теплые,
Что сочишь ты дождями в мать,
О, какими, какими метлами
Это солнце с небес стряхнуть?

2

Там, за млечными холмами,
Средь небесных тополей,
Опрокинулся над нами
Среброструйный Водолей.

Он Медведицей с лазури —
Как из бочки черпаком.
В небо вспрыгнувшая буря
Села месяцу верхом.

В вихре снится сонм умерших,
Молоко дымящий сад.
Вижу, дед мой тянет вершей
Солнце с полдня на закат.

Отче, отче, ты ли внука
Услыхал в сей скорбный срок?
Знать, недаром в сердце мукал
Издыхающий телок.

8

Кружися, кружися, кружися,
Чекань твоих дней серебро!
Я понял, что солнце из выси —
В колодезь золотое ведро.

С земли на незримую сушу
Отчалить и мне суждено.
Я сам положу мою душу
На это горящее дно.

Но знаю — другими очами
Умершие чувят живых.
О, дай нам с земными ключами
Предстать у ворот золотых.

Дай с нашей овсяною волей
Засовы чугунные сбить,
С разбега по ровному полю
Заре на закорки вскочить.

4

Сойди, явись нам, красный конь!
Впрягись в земли оглобли.
Нам горьким стало молоко
Под этой ветхой кровлей.

Пролей, пролей нам над водой
Твое глухое ржанье,
И колокольчиком-звездой
Холодное сиянье.

Мы радугу тебе — дугой,
Полярный круг — на сбрую.
О, вывези наш шар земной
На колею иную.

Хвостом к земле ты прицепись,
С зари отчалься гривой.
За эти тучи, эту высь
Скачи к стране счастливой.

И пусть они, те, кто во мгле
Нас пьют дампадой в небе,
Увидят со своих полей,
Что мы к ним в гости едем.

1919

* * *

Ветры, ветры, о снежные ветры,
Заметите мою прошлую жизнь.
Я хочу быть отроком светлым
Иль цветком с луговой межи.

Я хочу под гудок пастуший
Умереть для себя и для всех.
Колокольчики звездные в уши
Насыпает вечерний снег.

Хороша бестуманная трель его,
Когда топит он боль в пурге.
Я хотел бы стоять, как дерево,
При дороге на одной ноге.

Я хотел бы под конские храпы
Обниматься с соседним кустом.
Подымайте ж вы, лунные лапы,
Мою грусть в небеса ведром.

1919

* * *

Душа грустит о небесах,
Она нездешних нив жилища.
Люблю, когда на деревьях
Огонь зеленый шевелится.

То сучья золотых стволов,
Как свечи, теплятся пред тайной,
И расцветают звезды слов
На их листве первоначальной.

Понятен мне земли глагол,
Но не стряхну я муку эту,
Как отразивший в водах дол
Вдруг в небе ставшую комету.

Так кони не стряхнут хвостами
В хребты их пьющую луну...
О, если б прорости глазами,
Как эти листья, в глубину.

1919

* * *

Мариенгофэ

Я последний поэт деревни,
Скромен в песнях дощатый мост.
За прощальной стою обедней
Кадящих листвою берез.

Догорит золотистым пламенем
Из телесного воска свеча,
И луны часы деревянные
Прохрипят мой двенадцатый час.

На тропу голубого поля
Скоро выйдет железный гость.
Злак овсяный, зарею пролитый,
Соберет его черная горсть.

Неживые, чужие ладони,
Этим песням при вас не жить!
Только будут колосья-кони
О хозяине старом тужить.

Будет ветер сосать их ржанье,
Панихидный справляя пляс.
Скоро, скоро часы деревянные
Прохрипят мой двенадцатый час!

1919

ХУЛИГАН

Дождик мокрыми метлами чистит
Ивняковый помет по лугам.
Плюйся, ветер, охапками листьев,
Я такой же, как ты, хулиган.

Я люблю, когда синие чащи,
Как с тяжелой походкой воны,
Животами, листвою хрипящими,
По коленкам марают стволы.

Вот оно мое стадо рыжее!
Кто ж воспеть его лучше мог?
Вижу, вижу, как сумерки лизут
Следы человеческих ког.

Русь моя, деревянная Русь!
Я один твой певец и глашатай.
Звериных стихов моих грусть
Я кормил резедой и мятой.

Взбрезжи, полночь, луны кувшин
Зачерпнуть молока берез!
Словно хочет кого придушить
Руками крестов погост!

Бродит черная жуть по холмам,
Злобу вора струит в наш сад,
Только сам я разбойник и хам
И по крови — степной конокрад.

Кто видал, как в ночи кипит
Кипяченных черемух рать?
Мне бы в ночь в голубой степи
Где-нибудь с кистенем стоять.

Ах, увял головы моей куст,
Засосал меня песенный плен.
Осужден я на каторге чувств
Вертеть жернова поэм.

Но не бойся, безумный ветер,
Плюй спокойно листвою по лугам.
Не сотрет меня клычка «поэт»,
Я и в песнях, как ты, хулиган.

1919

ИСПОВЕДЬ ХУЛИГАНА

Не каждый умеет петь.
Не каждому дано яблоком
Падать к чужим ногам.

Сие есть самая великая исповедь,
Которой исповедуется хулиган.

Я нарочно иду нечесаным,
С головой, как керосиновая лампа, на плечах.
Ваших душ безлиственную осень
Мне нравится в потемках освещать.
Мне нравится, когда каменья брани
Летят в меня, как град рыгающей грозы,
Я только крепче жму тогда руками
Моих волос качнувшийся пузырь.

Так хорошо тогда мне вспоминать
Заросший пруд и хриплый звон ольхи,
Что где-то у меня живут отец и мать,
Которым наплевать на все мои стихи,
Которым дорог д., как поле и как плоть,
Как дождик, что весной взрыхляет зелень.
Они бы вилами пришли вас заколоть
За каждый крик ваш, брошенный в меня.

Бедные, бедные крестьяне!
Вы, наверно, стали некрасивыми,
Так же боитесь бога и болотных недр.
О, если б вы понимали,
Что сын ваш в России
Самый лучший поэт!
Вы ль за жизнь его сердцем не индевели,
Когда босые ноги он в лужах осенних мокал?
А теперь он ходит в цилиндре
И лакированных башмаках.

Но живет в нем задор прежней вправки
Деревенского озорника.

Каждой корове с вывески мясной лавки
Он кланяется издалека.
И, встречаясь с извозчиками на площади,
Вспоминая запах навоза с родных полей,
Он готов нести хвост каждой лошади,
Как венчального платья шлейф.

Я люблю родину.
Я очень люблю родину!
Хоть есть в ней грусти ивовая ржавь.
Приятны мне свиной испачканные морды
И в тишине ночной звенящий голос жаб.
Я нежно болен вспоминаям детства,
Апрельских вечеров мне снится хмарь и сыр.
Как будто бы на корточки погреться
Присел наш клен перед костром зари.
О, сколько я на нем яиц из гнезд вороньих,
Карабкаясь по сучьям, воровал!
Все тот же ль он теперь, с верхушкою зеленой?
Попрежнему ль крепка его кора?

А ты, любимый,
Верный пегий пес?!
От старости ты стал визглив и слеп
И бродишь по двору, влача обвисший хвост,
Забыв чутьем, где двери и где хлев.
О, как мне дороги все те проказы,
Когда, у матери стянув краюху хлеба,
Кусали мы с тобой ее по разу,
Ни капельки друг другом не погребав.

Я все такой же.
Сердцем я все такой же.
Как васильки во ржи, цветут в лице глаза.
Стеля стихов злаченные рогожи,
Мне хочется вам нежное сказать
Спокойной ночи!
Всем вам спокойной ночи!
Отзвенела по траве сумерок зари коса.
Мне сегодня хочется очень
Из окошка луну обоссать.

Синий свет, свет такой синий!
В эту синь даже умереть не жаль.
Ну так что ж, что кажусь я циником,
Прицепившим к заднице фонарь!
Старый, добрый, заезженный Пегас,
Мне ль нужна твоя мягкая рысь?
Я пришел, как суровый мастер,
Воспеть и прославить крыс.
Башка моя, словно август,
Льется бурливых волос вином.

Я хочу быть желтым парусом
В ту страну, куда мы плывем.

1920

КОБЫЛЬИ КОРАБЛИ

1

Если волк на звезду завыл,
Значит небо тучами изглодано.
Рваные животы кобыл,
Черные паруса воронов.

Не просунет когтей лазурь
Из пургового кашля-смрада;
Облетает под ржанье бурь
Черепов златохвойный сад.

Слышите ль? Слышите звонкий стук?
Это грабли зари по пущам.
Веслами отрубленных рук
Вы гребетесь в страну грядущего.

Плывите, плывите в высь!
Лейте с радуги крик вороний!
Скоро белое дерево сронит
Головы моей желтый лист.

Поле, поле, кого ты зовешь?
 Или снится мне сон веселый —
 Синей конницей скачет рожь,
 Обгоняя леса и села?

Нет, не рожь! скачет по полю стужа,
 Окна выбиты, настезь двери.
 Даже солнце мерзнет, как лужа,
 Которую напрудил мерин.

Кто это? Русь моя, кто ты? кто?
 Чей черпак в снегов твоих накипь?
 На дорогах голодным ртом
 Сосут край зари собаки.

Им не нужно бежать в «туда» —
 Здесь, с людьми бы теплей ужитья.
 Бог ребенка волчице дал,
 Человек съел дитя волчицы.

О, кого же, кого же петь
 В этом бешеном зареве трупов?
 Посмотрите: у женщин третий
 Вылупляется глаз из пупа.

Вон он! Вылез, глядит луной,
 Не увидит ли помясистей кости.
 Видно, в смех над самим собой
 Пел я песнь о чудесной гостье.

Где же те? где еще одиннадцать,
 Что светильники сисек жгут?
 Если хочешь, поэт, жениться,
 Так женись на овце в хлеву.

Причащайся соломой и шерстью,
 Тепли песней словесный воск.
 Злой октябрь осыпает перстни
 С коричневых рук берез.

Звери, звери, приходите ко мне,
 В чашки рук моих злобу выплакать!
 Не пора ль перестать луне
 В небесах облака лакать?

Сестры-суки и братья-кобели,
 Я, как вы, у людей в загоне.
 Не нужны мне кобыл корабли
 И паруса вороньи.

Если голод с разрушенных стен
 Вцепится в мои волоса, —
 Половину ноги моей сам съем,
 Половину отдам вам высасывать.

Никуда не пойду с людьми,
 Лучше вместе издохнуть с вами,
 Чем с любимой поднять земли
 В сумасшедшего ближнего камень.

Буду петь, буду петь, буду петь!
 Не обижу ни козы, ни зайца.
 Если можно о чем скорбеть,
 Значит можно чему улыбаться.

Все мы яблоко радости носим,
 И разбойный нам близок свист.
 Срежет мудрый садовник осень
 Головы мой желтый лист.

В сад зари лишь одна стезя,
 Сгложет рощи октябрьский ветр.
 Все познать, ничего не взять
 Пришел в этот мир поэт.

Он пришел целовать коров,
 Слушать сердцем овсяный хруст.
 Глубже, глубже, серпы стихов!
 Сыпь черемухой, солнца куст!

1920

СОРОКОУСТ

А. Мариенгофу

1

Трубит, трубит погибельный рог!
Как же быть, как же быть теперь нам
На измызганных ляжках дорог?

Вы, любители песенных блох,
Не хотите ль пососать у мерина?

Полно кротостью мордищ праздниться,
Любо ль, не любо ль — знай бери.
Хорошо, когда сумерки дразнятся
И всыпают нам в толстые задницы
Окровененный веник зари.

Скоро заморозь известью выбелит
Тот поселок и эти луга.
Никуда вам не скрыться от гибели,
Никуда не уйти от врага.
Вот он, вот он с железным брюхом,
Тянет к глоткам равнин пятерню.

Водит старая мельница ухом,
Навострив мукомольный нюх.
И дворовый молчальник бык,
Что весь мозг свой на телок пролил,
Вытирая о прясло язык,
Почуял беду над полем.

2

Ах, не с того ли за селом
Так плачет жалостно гармоника:
Таля-ля-ля, тили-ли-гом
Висит над белым подоконником.
И жолтый ветер осенницы
Не потому ль, синь рябью тронув,
Как будто бы с коней скребницей,
Очесывает листья с кленов.

Идет, идет он, страшный вестник,
Пятой громоздкой чащи ломит,
И все сильнее тоскуют песни
Под лягушиный писк в соломе.
О, электрический восход,
Ремней и труб глухая хватка,
Се изб древенчатый живот
Трясет стальная лихорадка.

3

Видели ли вы,
Как бежит по степям,
В туманах озерных кроясь,
Железной ноздрей храпя,
На лапах чугунных поездов?

А за ним
По большой траве,
Как на празднике отчаянных гонок,
Тонкие ноги закидывая к голове,
Скачет красногривый жеребенок?

Милый, милый, смешной дуралей,
Ну куда он, куда он гонится?
Неужель он не знает, что живых коней
Победила стальная конница?
Неужель он не знает, что в полях бессиянных
Той поры не вернет его бег,
Когда пару красивых степных россиянок
Отдавал за коня печенег?
По-иному судьба на торгах перекрасила
Наш разбуженный скрежетом плес,
И за тысячи пудов конской кожи и мяса
Покупают теперь паровоз.

4

Черт бы взял тебя, скверный гость!
Наша песня с тобой не сживется.
Жаль, что в детстве тебя не пришлось
Утопить, как ведро в колодце.

Хорошо им стоять и смотреть,
Красить рты в жестяных поцелуях, —
Только мне, как псаломщику, петь
Над родимой страной аллилуйя.
Оттого-то в сентябрьскую склень
На сухой и холодный суглинок,
Головой разможжась о плетень,
Облилась кровью ягод рябина.
Оттого-то вросла тужиль
В переборы тальянки звонкой,
И соломой пропахший мужик
Захлебнулся лихой самогонкой.

1920

* * *

По-осеннему кычет сова
Над раздольем дорожной рани.
Облетает моя голова,
Куст волос золотистый вянет.

Полевое, степное «ку-гу»,
Здравствуй, мать голубая осина!
Скоро месяц, купаясь в снегу,
Сядет в редкие кудри сына.

Скоро мне без листвы холодеть,
Звоном звезд насыпая уши.
Без меня будут юноши петь,
Не меня будут старцы слушать.

Новый с поля придет поэт,
В новом лес огласится свисте.
По-осеннему сыплет ветер,
По-осеннему шепчут листья.

1920

ПЕСНЬ О ХЛЕБЕ

Вот она, суровая жестокость,
Где весь смысл — страдания людей!
Режет серп тяжолые колосья,
Как под горло режут лебедей.

Наше поле издавна знакомо
С августовской дрожью поутру.
Перевязана в снопы солома,
Каждый сноп лежит, как желтый труп.

На телегах, как на катафалках,
Их везут в могильный склеп — овин.
Словно дьякон, на кобылу гаркнув,
Чтит возница погребальный чин.

А потом их бережно, без злости,
Головами стелют по земле,
И цепями маленькие кости
Выбивают из худых телес.

Никому и в голову не встанет,
Что солома — это тоже плоть!..
Людоедке-мельнице — зубами
В рот суют те кости обмолоть.

И, из мелева заквашивая тесто,
Выпекают груды вкусных яств...
Вот тогда-то входит яд белесый
В жбан желудка яйца злобы класть.

Все побои ржи в припек окрасив,
Грубость жнущих сжав в духмяный сок,
Он вкушающим соломенное мясо
Отравляет жернова кишок.

И свистят по всей стране, как осень,
Шарлатан, убийца и злодей...
Оттого, что режет серп колосья,
Как под горло режут лебедей.

1921

Мир таинственный, мир мой древний,
Ты, как ветер, затих и присл.
Вот сдавили за шею деревню
Каменные руки шоссе.

Так испуганно в снежную выбель
Заметалась звенящая жуть.
Здравствуй ты, моя черная гибель,
Я навстречу к тебе выхожу!

Город, город, ты в схватке жестокой
Окрестил нас как падаль и мразь.
Слышет поле в тоске волоокой,
Телеграфными столбами давясь.

Жилист мускул у дьявольской выи,
И легка ей чугунная гать.
Ну, да что же? ведь нам не впервые
И расшатываться и пропадать.

Пусть для сердца тягуче колка
Эта песня звериных прав!..
...Так охотники травят волка,
Зажимая в тиски облав.

Зверь припал... и из пасмурных недр
Кто-то спустит сейчас курки...
Вдруг прыжок... и двуногого недруга
Раздирают на части клыки.

О, привет тебе, зверь мой любимый!
Ты не даром даешься ножу.
Как и ты — я, отсюда гонимый,
Средь железных врагов прохожу.

Как и ты — я всегда наготове,
И хоть слышу победный рожок,

Но отпробует вражеской крови
Мой последний, смертельный прыжок.

И пускай я на рыхлую выбель
Упаду и зареюсь в снегу...
Все же песню отмщенья за гибель
Пропоют мне на том берегу.

1921

* * *

Сторона ль ты моя, сторона!
Дождевое осеннее олово.
В черной луже продрогший фонарь
Отражает безгубую голову.

Нет, уж лучше мне не смотреть,
Чтобы вдруг не увидеть хужего.
Я на всю эту ржавую мреть
Буду щурить глаза и суживать.

Так немного теплей и безбольней,
Посмотри: меж скелетов домов,
Словно мельник, несет колоколья
Медные мешки колоколов.

Если голоден ты — будешь сытым,
Коль несчастен — то весел и рад.
Только лишь не гляди открыто,
Мой земной неизвестный брат.

Как подумал я — так и сделал,
Но — увы! Все одно и то ж!
Видно, слишком привыкло тело
Ощущать эту стужу и дрожь.

Ну, да что же? Ведь много прочих,
Не один я в миру живой!
А фонарь то мигнет, то захохочет
Безгубой своей головой.

Только сердце, под ветхой одеждой,
Шепчет мне, посетившему твердь:
— Друг мой, друг мой, прозревшие вежды
Закрывает одна лишь смерть.

1921

* * *

Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.

Ты теперь не так уж будешь биться,
Сердце, тронутое холодком,
И страна березового ситца
Не заманит шляться босиком.

Дух бродяжий! ты все реже, реже
Расшевеливаешь пламень уст.
О, моя утраченная свежесть,
Буйство глаз и половодье чувств.

Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя, иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.

Все мы, все мы в этом мире тленны,
Тихо льется с кленов листьев медь...
Будь же ты вовек благословенно,
Что пришло процвеств и умереть.

1921

* * *

Все живое особой метой
Отмечается с ранних пор.
Если не был бы я поэтом,
То, наверно, был мошенник и вор.

Худощавый и низкорослый,
Средь мальчишек всегда герой,
Часто, часто с разбитым носом
Приходил я к себе домой.

И навстречу испуганной маме
Я цедил сквозь кровавый рот:
«Ничего! я споткнулся о камень,
Это к завтраму все заживет».

И теперь вот, когда простыла
Этих дней кипятковая вязь,
Беспокойная, дерзкая сила
На поэмы мои пролилась.

Золотая словесная гряда,
И над каждой строкой без конца
Отражается прежняя удаль
Забияки и сорванца.

Как тогда, я отважный и гордый,
Только новью мой брызжет шаг...
Если раньше мне били в морду,
То теперь вся в крови душа.

И уже говорю я не маме,
А в чужой и хохочущий сброд:
«Ничего! я споткнулся о камень,
Это к завтраму все заживет!».

1922

ПРОЩАНИЕ С МАРЦЕНГОФМ

Есть в дружбе счастье оголтелое
И судорога буйных чувств, —
Огонь растапливает тело,
Как стеариновую свечу.

Возлюбленный мой! дай мне руки —
Я по-иному не привык, —
Хочу омыть их в час разлуки
Я жолтой пеной головы.

Ах, Толя, Толя, ты ли, ты ли,
В который миг, в который раз —
Опять, как молоко, застыли
Круги недвижущихся глаз.

Прощай, прощай! В пожарах лунных
Дождусь ли радостного дня?
Среди прославленных и юных
Ты был всех лучше для меня.

В такой-то срок, в таком-то годе
Мы встретимся, быть может, вновь...
Мне страшно, — ведь душа проходит,
Как молодость и как любовь.

Другой в тебе меня заглушит.
Не потому ли — в лад речам
Мои рыдающие уши,
Как весла, плещут по плечам?

Прощай, прощай! В пожарах лунных
Не зреть мне радостного дня,
Но все ж средь трепетных и юных
Ты был всех лучше для меня.

1922

* * *

Не ругайтесь. Такое дело!
Не торговец я на слова.
Запрокинулась и отяжелела
Золотая моя голова.

Нет любви ни к деревне, ни к городу,
Как же смог я ее донести?
Брошу все. Отпущу себе бороду
И бродягой пойду по Руси.

Позабуду поэмы и книги,
Перекину за плечи суму,
Оттого, что в полях забулдыге
Ветер больше поет, чем кому.

Провоняю я редькой и луком
И, тревожа вечернюю гладь,
Буду громко сморкаться в руку
И во всем дурака валять.

И не нужно мне лучшей удачи,
Лишь забыться и слушать пургу,
Оттого, что без этих чудачеств
Я прожить на земле не могу.

1922

* * *

Да! Теперь решено. Без возврата
Я покинул родные поля.
Уж не будут листвою крылатой
Надо мною звенеть тополя.

Низкий дом без меня ссутулится,
Старый пес мой давно издох.
На московских изогнутых улицах
Умереть, знать, судил мне бог.

Я люблю этот город вязевый,
Пусть обрюзг он и пусть одрях,
Золотая дремотная Азия
Опочила на куполах.

А когда ночью светит месяц,
Когда светит... черт знает как!
Я иду, головою свесясь,
Переулком в знакомый кабак.

Шум и гам в этом логове жутком,
Но всю ночь напролет, до зари,
Я читаю стихи проституткам
И с бандитами жарю спирт.

Сердце бьется все чаще и чаще,
И уж я говорю невпопад:

— Я такой же, как вы, пропащий,
Мне теперь не уйти назад.

Низкий дом без меня ссутулится,
Старый пес мой давно издох.
На московских изогнутых улицах
Умереть, знать, судил мне бог.

1922

* * *

Мне осталась одна забава:
Пальцы в рот — и веселый свист.
Прокатилась дурная слава,
Что похабник я и скандалист.

Ах! какая смешная потеря!
Много в жизни смешных потерь.
Стыдно мне, что я в бога верил.
Горько мне, что не верю теперь.

Золотые далекие дали!
Все сжигает житейская мреть.
И похабничал я и скандалил
Для того, чтобы ярче гореть.

Дар поэта — ласкать и карябать,
Роковая на нем печать.
Розу белую с черною жабой
Я хотел на земле повенчать.

Пусть не сладились, пусть не сбылись
Эти помыслы розовых дней.
Но коль черти в душе гнездились —
Значит ангелы жили в ней.

Вот за это веселие мути,
Отправляясь с ней в край иной,
Я хочу при последней минуте
Попросить тех, кто будет со мной, —

Чтоб за все за грехи мои тяжкие,
За неверие в благодать
Положили меня в русской рубашке
Под иконами умирать.

1923

* * *

Я усталым таким еще не был.
В эту серую морозь и слизь
Мне приснилось рязанское небо
И моя непутевая жизнь.

Много женщин меня любило,
Да и сам я любил не одну, —
Не от этого ль темная сила
Приучила меня к вину?

Бесконечные пьяные ночи
И в разгуле тоска не впервые!
Не с того ли глаза мне точит,
Словно синие листья червь?

Не больна мне ничья измена,
И не радует легкость побед, —
Тех волос золотое сено
Превращается в серый цвет.

Превращается в пепел и воды,
Когда цедит осенняя муть.
Мне не жаль вас, прошедшие годы, —
Ничего не хочу вернуть.

Я устал себя мучить бесцельно
И с улыбкою странной лица
Полюбил я носить в легком теле
Тихий свет и покой мертвеца...

И теперь даже стало не тяжело
Ковылять из притона в притон, —
Как в смирительную рубашку,
Мы природу берем в бетон.

И во мне, вот по тем же законам,
Умиряется бешеный пыл.
Но и все ж отношусь я с поклоном
К тем полям, что когда-то любил.

В те края, где я рос под кленом,
Где резвился на жолтой траве, —
Шлю привет воробьям и воронам
И рыдающей в ночь сове.

Я кричу им в весенние дали:
«Птицы милые, в синюю дрожь
Передайте, что я отскандалил, —
Пусть хоть ветер теперь начинает
Под микитки дубасить рожь».

1923

* * *

Сыпь, гармоника. Скука... Скука...
Гармонист пальцы льет волной.
Пей со мной, паршивая сука,
Пей со мной.

Излюбили тебя, измызгали —
Невтерпеж.
Что ж ты смотришь так синими брызгами?
Иль в морду хошь?

В огород бы тебя на чучело,
Пугать ворон.
До печенок меня замучила
Со всех сторон.

Сыпь, гармоника, сыпь, моя частая.
Пей, выдра, пей.
Мне бы лучше вон ту, сисястую, —
Она глупей.

Я средь женщин тебя не первую...
Немало вас,

Но с такой вот, как ты, со стервою
Лишь в первый раз.

Чем больнее, тем звонче,
То здесь, то там.
Я с собой не покончу,
Иди к чертям.

К вашей своре собачьей
Пора простыть.
Дорогая, я плачу,
Прости. . . прости. . .

1922—1923

* * *

Я обманывать себя не стану,
Залегла забота в сердце мглистом.
Отчего прослыл я шарлатаном?
Отчего прослыл я скандалистом?

Не злодей я и не грабил лесом,
Не расстреливал несчастных по темницам.
Я всего лишь уличный повеса,
Улыбающийся встречным лицам.

Я московский озорной гуляка.
По всему тверскому околотку
В переулках каждая собака
Знает мою легкую походку.

Каждая задрипанная лошадь
Головой кивает мне навстречу.
Для зверей приятель я хороший,
Каждый стих мой душу зверя лечит.

Я хожу в цилиндре не для женщин —
В глупой страсти сердце жить не в силе, —
В нем удобней, грусть свою уменьшив,
Золото овса давать кобыле.

Средь людей я дружбы не имею,
Я иному покорился царству.
Каждому здесь кобелю на шею
Я готов отдать мой лучший галстук.

И теперь уж я болеть не стану.
Прояснилась омут в сердце мглистом.
Оттого прослыл я шарлатаном,
Оттого прослыл я скандалистом.

1923

* * *

Эта улица мне знакома,
И знаком этот низенький дом.
Проводов голубая солома
Опрокинулась над окном.

Были годы тяжелых бедствий,
Годы буйных, безумных сил.
Вспомнил я деревенское детство,
Вспомнил я деревенскую синь.

Не искал я ни славы, ни покоя,
Я с тщетой этой славы знаком.
А сейчас, как глаза закрою,
Вижу только родительский дом.

Вижу сад в голубых накрапах,
Тихо август прилег ко плетню.
Держат липы в зеленых лапах
Птичий гомон и щебетню.

Я любил этот дом деревянный,
В бревнах теплилась грозная морщь,
Наша печь как-то дико и странно
Завывала в дождливую ночь.

Голос громкий и всхлипень зычный,
Как о ком-то погибшем, живом.
Что он видел, верблюд кирпичный,
В завывании дождевом?

Видно, видел он дальние страны,
Сон другой и цветущей поры,
Золотые пески Афганистана
И стеклянную хмарь Бухары.

Ах, и я эти страны знаю —
Сам немалый прошел там путь, —
Только ближе к родимому краю
Мне б хотелось теперь повернуть.

Но угасла та нежная дрема,
Все истлело в дыму голубом.
Мир тебе, полевая солома,
Мир тебе, деревянный дом!

1923

* * *

Заметался пожар голубой,
Позабылись родимые дали.
В первый раз я зашел про любовь,
В первый раз отрекаюсь скандалить.

Был я весь — как запущенный сад,
Был на женщин и зелье падкий.
Разонравилось пить и плясать
И терять свою жизнь без оглядки.

Мне бы только смотреть на тебя,
Видеть глаз злато-карий омут,
И чтоб, прошлое не любя,
Ты уйти не смогла к другому.

Поступь нежная, легкий стан, —
Если б знала ты сердцем упорным,
Как умеет любить хулиган,
Как умеет он быть покорным.

Я б навеки забыл кабаки
И стихи бы писать забросил,



Только б тонкой касаться руки
И волос твоих цветом в осень.

Я б навеки пошел за тобой
Хоть в свои, хоть в чужие дали.
В первый раз я запел про любовь,
В первый раз отрекаюсь скандалить.

1923

* * *

Ты такая ж простая, как все,
Как сто тысяч других в России.
Знаешь ты одинокий рассвет,
Знаешь холод осени синий.

По-смешному я сердцем влип,
Я по-глупому мысли занял.
Твой иконный и строгий лик
По часовням висел в рязанях.

Я на эти иконы плевал,
Чтил я грубость и крик в повесе,
А теперь вдруг растут слова
Самых нежных и кротких песен.

Не хочу я лететь в зенит,
Слишком многое телу надо.
Что ж так имя твое звенит,
Словно августовская прохлада?

Я не нищий, ни жалок, ни мал,
И умею расслышать за пылом:
С детства нравиться я понимал
Кобелям да степным кобылам.

Потому и себя не сберег
Для тебя, для нее и для этой.
Невеселого счастья залог —
Сумасшедшее сердце поэта.

Потому и грущу, осев,
Словно в листья, в глаза косые...
Ты такая ж простая, как все,
Как сто тысяч других в России.
1923

* * *

Пускай ты выпита другим,
Но мне осталось, мне осталось
Твоих волос стеклянный дым
И глаз осенняя усталость.

О, возраст осени! Он мне
Дороже юности и лета.
Ты стала нравиться вдвойне
Воображению поэта.

Я сердцем никогда не лгу,
И потому на голос чванства
Бестрепетно сказать могу,
Что я прощаюсь с хулиганством.

Пора расстаться с озорной
И непокорною отвагой.
Уж сердце наполнилось иной,
Кровь отрезвляющею брагой.

И мне в окошко постучал
Сентябрь багряной веткой ивы,
Чтоб я готов был и встречал
Его приход непрехотливый.

Теперь со многим я мирюсь
Без принужденья, без утраты.
Иною кажется мне Русь,
Иными — кладбища и хаты.

Прозрачно я смотрю вокруг
И вижу — там ли, здесь ли, где-то ль, —
Что ты одна, сестра и друг,
Могла быть спутницей поэта.

Что я одной тебе бы мог,
Воспитываясь в постоянстве,
Пропеть о сумерках дорог
И уходящем хулиганстве.

1923

* * *

Дорогая, сядем рядом,
Поглядим в глаза друг другу.
Я хочу под кротким взглядом
Слушать чувственную вьюгу.

Это золото осеннее,
Эта прядь волос белесых —
Все явилось как спасенье
Беспокойного повесы.

Я давно мой край оставил,
Где цветут луга и чащи.
В городской и горькой славе
Я хотел прожить пропащим.

Я хотел, чтоб сердце глуше
Вспоминало сад и лето,
Где под музыку лягушек
Я растил себя поэтом.

Там теперь такая ж осень...
Клен и липы в окна комнат,
Ветки лапами забросив,
Ищут тех, которых помнят.

Их давно уж нет на свете.
Месяц на простом погосте
На крестах лучами метит,
Что и мы придем к ним в гости,

Что и мы, отжив тревоги,
Перейдем под эти кущи.
Все волнистые дороги
Только радость льют живущим.

Дорогая, сядь же рядом,
Поглядим в глаза друг другу,
Я хочу под кротким взглядом
Слушать чувственную вьюгу.

1923

* * *

Мне грустно на тебя смотреть,
Какая боль, какая жалость!
Знать, только ивовая медь
Нам в сентябре с тобой осталась.

Чужие губы разнесли
Твое тепло и трепет тела.
Как будто дождик моросит
С души, немного омертвелой.

Ну что ж! Я не боюсь его.
Иная радость мне открылась.
Ведь не осталось ничего,
Как только жолтый тлен и сырость.

Ведь и себя я не сберег
Для тихой жизни, для улыбок.
Так мало пройдено дорог,
Так много сделано ошибок.

Смешная жизнь, смешной разлад.
Так было и так будет после.
Как кладбище, усеян сад
В берез изглоданные кости.

Вот так же отцветем и мы
И отшумим, как гости сада...
Коль нет цветов среди зимы,
Так и грустить о них не надо.

1923

мне грустно на тебя смотреть
Какая боль, какая печаль,
Знаешь помню и ввсегда мучаю
нам в сентября: стодой осталась

густые тучи разнесла
твое тепло и трепет прада
~~как будто~~ гонимая морозом
с душой и столько откровенной

Ну вот! я не боюсь это,
иная радость мне открылась.
Ведь не осталась никто
как этот молчаливый плен и сирень

Ведь и себя я на сберез
Для твоей жизни, для улыбок
так мало пройдено дорог
так много сделано ошибок

Смертная жизнь! слезной разлуки!
так было и так будет после.

Как когда-нибудь усеян сад
в берез излюбленных кустов

Вой ток по отцветшим и мик
и от шумим как гости сада.
Коль не увидеть среди дум
так и грустнее и ни на кого

Сергей Веселый

Ты прохладой меня не мучай
И не спрашивай, сколько мне лет,
Одержимый тяжелой падучей,
Я душой стал как желтый скелет.

Было время, когда из предместья
Я мечтал по-мальчишески в дым,
Что я буду богат и известен
И что всеми я буду любим.

Да! Богат я, богат с излишком,
Был цилиндр, а теперь его нет.
Лишь осталась одна манишка
С модной парой избитых штиблет.

И известность моя не хуже, —
От Москвы по парижскую рвань
Мое имя наводит ужас,
Как заборная громкая брань.

И любовь, не забавное ль дело?
Ты целуешь, а губы как жель.
Знаю, чувство мое перезрело,
А твое не успело расцвести.

Мне пока горевать еще рано,
Ну, а если есть грусть — не беда.
Золотей твоих кос по курганам
Молодая шумит лебеда.

Я хотел бы опять в ту местность,
Чтоб под шум молодой лебеды
Утонуть навсегда в неизвестность
И мечтать по-мальчишески — в дым.

Но мечтать о другом, о новом,
Непонятном эсмле и траве,
Что не выразить сердцу словом
И не знает назвать человек.

1923

2

Ветер торные брови насопил,
 где ты кони стоишь у чвора.
 Ни вера ли я молодости пропня?
 Разлюбил ли тебя ли втора?

Не храни запоздалая тройка
 наша жизнь пронеслась без следа
 может завтра болоничная койка
 Улюкой меня навсегда

может завтра совсем по-другому
 я учу, исцелённый навек,
 слушай песни фомдей и теремух
 где здоровый живёт человек

позабуду я тригные силы,
 что терзали меня губя
 Облик ласковый! облик мимый!
 Лишь одну не забуду тебя.

Пусть я буду любить друзей
 но и с нею, с любимой, с другой,
 Расскажу про тебя дорожную
 что когда то я звал дорогой

Расскажу как текла былая
 наша жизнь, что былой небыла
 голова ль ты моя удачная
 До чего ж ты мне довала?

сергей Есен

Вечер черные брови насопил.
Чьи-то кони стоят у двора.
Не вчера ли я молодость пропил?
Разлюбил ли тебя не вчера?

Не храпи, запоздалая тройка.
Наша жизнь пронеслась без следа.
Может, завтра больничная койка
Упокоит меня навсегда.

Может, завтра совсем по-другому
Я уйду, исцеленный навек,
Слушать песни дождей и черсмух,
Чем здоровый живет человек.

Позабуду я мрачные силы,
Что терзали меня, губя.
Облик ласковый! Облик милый!
Лишь одну не забуду тебя.

Пусть я буду любить другую,
Но и с нею, с любимой, с другой,
Расскажу про тебя, дорогую,
Что когда-то я звал дорогой.

Расскажу, как текла былая
Наша жизнь, что былой не была...
Голова ль ты моя удалая,
До чего ж ты меня довела?

1923

ЛЕНИН

Отрывок из поэмы «Гуляй-Поле»

Еще закон не отвердел,
Страна шумит, как непогода.
Хлестнула дерзко за предел
Нас отравившая свобода.

Россия! Сердцу милый край!
Душа сжимается от боли:
Уж сколько лет не слышит поле
Петушьи пенье, песий лай.

Уж сколько лет наш тихий быт
Утратил мирные глаголы.
Как оспой, ямами копыт
Изрыты пастбища и доли.
Немолчный топот, громкий стон,
Визжат тачанки и телеги,
Ужель я сплю и вижу сон,
Что с копьями со всех сторон
Нас окружают печенег?
Не сон, не сон, я вижу въявь,
Ничем не усыпленным взглядом,
Как, лошадей пуская вплавь,
Отряды скачут за отрядом.
Куда они? И где война?
Степная водь не внемлет слову.
Не знаю, светит ли луна,
Иль всадник обронил подкову?
Все спуталось. . .
Но понял взор:
Страну родную в край из края,
Огнем и саблями сверкая,
Междуусобный рвет раздор.

.
Россия! Страшный, чудный звон!
В деревьях — березь, в цвѣть — подснежник.
Откуда закатился он,
Тебя встревоживший мятежник?
Суровый гений. Он меня
Влечет не по своей фигуре.
Он не садился на коня
И не летел навстречу буре.

С плеча голов он не рубил,
Не обращал в побег пехоту.
Одно в убийстве он любил —
Перепелиную охоту.

Для нас условен стал герой.
Мы любим тех, что в черных масках,
А он с сопливой детворой
Зимой катался на салазках.
И не носил он тех волос,
Что льют успех на женщин темных, —
Он с лысиною, как поднос,
Глядел скромней из самых скромных.
Застенчивый, простой и милый,
Он вроде сфинкса предо мной.
Я не пойму, какою силой
Сумел потрясть он шар земной?
Но он потряс...
Шуми и вей!
Крути свирепей, непогода,
Смывай с несчастного народа
Позор острогов и церквей.

.

Была пора жестоких лет,
Нас пестовали злые лапы.
На поприще крестьянских бед
Цвели имперские сатрапы.

.

Монархия! Зловещий смрад!
Веками шли пиры за пиром.
И продал власть аристократ
Промышленникам и банкирам.
Народ стонал, и в эту жуть
Страна ждала кого-нибудь...
И он пришел.

.

Он мощным словом
Повел нас всех к истокам новым.
Он нам сказал: чтоб кончить муки,
Берите всё в рабочьи руки.
Для вас спасенья больше нет —
Как ваша власть и ваш Совет...

.
И мы пошли под визг метели,
Куда глаза его глядели:
Пошли туда, где видел он
Освобожденье всех племен.

.
.

И вот он умер...
Плач досаден.
Не славят музы голос бед.
Из медно лающих громадин
Салют последний даден, даден.
Того, кто спас нас,
Больше нет.
Его уж нет!
А те, кто вживе,
А те, кого оставил он,
Страну в бушующем разливе
Должны заковывать в бетон.

Для них не скажешь:
«Ленин умер!»
Их смерть к тоске не привела.

.

Еще суровой и угрюмой
Они творят его дела...

1924

* * *

Годы молодые с забубенной славой,
Отравил я сам вас горькою отравой.

Я не знаю: мой конец близок ли, далек ли —
Были синие глаза, да теперь поблекли.

Где ты радость? Темь и жуть, грустно и обидно.
В поле, что ли? В кабаке? Ничего не видно.

Руки вытяну — и вот слушаю наощупь:
Едем... кони... кони... снег... проезжаем рошу.

«Эй, ямщик, неси всюю! Чай, рожден не слабым!
Душу вытрясти не жаль по таким ухабам».

А ямщик в ответ одно: «По такой метели
Очень страшно, чтоб в пути лошади вспотели».

«Ты, ямщик, я вижу, трус. Это не с руки нам».
Взял я кнут и ну стегать по лошажьим спинам.

Бью, а кони, как метель, снег разносят в хлопья.
Вдруг толчок... и из саней прямо на сугроб я.

Встал и вижу: что за черт — вместо бойкой тройки...
Забинтованный лежу на больничной койке.

И вместо лошадей по дороге тряской
Бью я жесткую кровать мокрою повязкой.

На лице часов в усы закрутились стрелки.
Наклонились надо мной сонные сиделки.

Наклонились и хрипят: «Эх, ты, златоглавый,
Отравил ты сам себя горькою отравой».

Мы не знаем, твой конец близок ли, далек ли, —
Синие твои глаза в кабаках промокли».

1924

ПИСЬМО К МАТЕРИ

Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет.

Пишут мне, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне,
Что ты часто ходишь на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.

И тебе в вечернем синем мраке
Часто видится одно и то ж —
Будто кто-то мне в кабацкой драке
Саданул под сердце финский нож.

Ничего, родная! Успокойся.
Это только тягостная бредь.
Не такой уж горький я пропойца,
Чтоб, тебя не видя, умереть.

Я попрежнему такой же нежный
И мечтаю только лишь о том,
Чтоб скорее от тоски мятежной
Воротиться в низенький наш дом.

Я вернусь, когда раскинет ветви
По-весеннему наш белый сад.
Только ты меня уж на рассвете
Не буди, как восемь лет назад.

Не буди того, что отмечталось,
Не волнуй того, что не сбылось, —
Слишком раннюю утрату и усталость
Испытать мне в жизни привелось.

И молиться не учи меня. Не надо!
К старому возврата больше нет.
Ты одна мне помощь и отрада,
Ты одна мне несказанный свет.

Так забудь же про свою тревогу,
Не грусти так шибко обо мне.
Не ходи так часто на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.

1924

СУКНН СЫН

Снова выплыли годы из мрака
И шумят, как ромашковый луг.
Мне припомнилась нынче собака,
Что была моей юности друг.

Нынче юность моя отшумела,
Как подгнивший под окнами клен,
Но припомнил я девушку в белом,
Для которой был пес почтальон.

Не у всякого есть свой близкий,
Но она мне как песня была,
Потому что мои записки
Из ошейника пса не брала.

Никогда она их не читала,
И мой почерк ей был незнаком,
Но о чем-то подолгу мечтала
У калины за желтым прудом.

Я страдал... Я хотел ответа...
Не дождался... уехал... И вот
Через годы... известным поэтом
Снова здесь, у родимых ворот.

Та собака давно околела,
Но в ту ж масть, что с отливом в синь,
С лаем ливисто ошалелым
Меня встрел молодой ее сын.

Мать честная! И как же схожи!
Снова выплыла боль души.
С этой болью я будто моложе,
И хогь снова записки пиши.

Рад послушать я песню былую,
Но не лай ты. Не лай. Не лай.
Хочешь, пес, я тебя поцелую
За пробуженный в сердце май?

Поцелую, прижмусь к тебе телом
И, как друга, введу тебя в дом...
Да, мне нравилась девушка в белом,
Но теперь я люблю в голубом.

1924

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ

Я посетил родимые места,
Ту сельщину,
Где жил мальчишкой,
Где каланчой с березовой вышкой
Взметнулась колокольня без креста.

Как много изменилось там,
В их бедном, неприглядном быте.
Какое множество открытий
За мною следовало по пятам.

Отцовский дом
Не мог я распознать:
Приметный клен уж под окном не машет,
И на крылечке не сидит уж мать,
Кормя цыплят крупитчатой кашей.

Стара, должно быть, стала...
Да, стара.
Я с грустью озираюсь на окрестность:
Какая незнакомая мне местность!
Одна, как прежняя, белеется гора,
Да у горы
Высокий серый камень.

Здесь кладбище!
Подгнившие кресты,
Как будто в рукопашной мертвецы,
Застыли с распростертыми руками.
По тропке, опершись на подожок,
Идет старик, сметая пыль с бурьяна.
«Прохожий!
Укажи, дружок,
Где тут живет Есенина Татьяна?» —
«Татьяна... Гм...
Да вон за той избой.
А ты ей что?
Сродни?
Аль, может, сын пропащий?» —

«Да, сын.
Но что, старик, с тобой?
Скажи мне,
Отчего ты так глядишь скорбяще?» —
«Добро, мой внук,
Добро, что не узнал ты деда...» —
«Ах, дедушка, ужели это ты?»
И полилась печальная беседа
Слезами теплыми на пыльные цветы.

.
«Тебе, пожалуй, скоро будет тридцать...
А мне уж девяносто...
Скоро в гроб.
Давно пора бы было воротиться». —
Он говорит, а сам все морщит лоб.
«Да!.. Время!..
Ты не коммунист?» —
«Нет!..» —
«А сестры стали комсомолки.
Такая гадость! просто удавись!
Вчера иконы выбросили с полки,
На церкви комиссар снял крест.
Теперь и богу негде помолиться.
Уж я хожу украдкой нынче в лес,
Молюсь осинам...
Может, пригодится...»

Пойдем домой —
Ты все увидишь сам». —
И мы идем, топчя межой кукольной.
Я улыбаюсь пашням и лесам,
А дед с тоской глядит на колокольню.

.
.

«Здорово, мать! Здорово!»
И я опять тяну к глазам платок.
Тут разрыдаться может и корова,
Глядя на этот бедный уголок.

На стенке календарный Ленин.
Здесь жизнь сестер,

Сестер, а не моя, —
Но все ж готов упасть я на колени,
Увидев вас, любимые края.

Пришли соседи...
Женщина с ребенком.
Уже никто меня не узнает.
По-байроновски наша собачонка
Меня встречала с лаем у ворот.

Ах, милый край!

Не тот ты стал,
Не тот.
Да уж и я, конечно, стал не прежний.
Чем мать и дед грустней и безнадежней,
Тем веселей сестры смеется рот.

Конечно, мне и Ленин не икона,
Я знаю мир...
Люблю мою семью...
Но отчего-то все-таки с поклоном
Сажусь на деревянную скамью.
«Ну, говори, сестра!»
И вот сестра разводит,
Раскрыв, как Библию, пузатый «Капитал»,
О Марксе,
Энгельсе...
Ни при какой погоде
Я этих книг, конечно, не читал.

И мне смешно,
Как шустрая девчонка
Меня во всем за шиворот берет...

.
.

По-байроновски наша собачонка
Меня встречала с лаем у ворот.

1924

ПУШКИНУ

Мечтая о могучем даре
Того, кто русской стал судьбой,
Стою я на Тверском бульваре,
Стою и говорю с собой.

Блондинистый, почти белесый,
В легендах ставший как туман,
О Александр! Ты был повеса,
Как я сегодня хулиган.

Но эти милые забавы
Не затемнили образ твой,
И в бронзе выкованной славы
Трясешь ты гордой головой.

А я стою, как пред причастьем,
И говорю в ответ тебе —
Я умер бы сейчас от счастья,
Сподобленный такой судьбе.

Но, обреченный на гоненье,
Еще я долго буду петь...
Чтоб и мое степное пенье
Сумело бронзой прозвенеть.

1924

* * *

Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать.
Может быть, и скоро мне в дорогу
Бренные пожитки собирать.

Милые березовые чащи.
Ты, земля. И вы, равнин пески.
Перед этим сонмом уходящих
Я не в силах скрыть моей тоски.

Слишком я любил на этом свете
Все, что душу облекает в плоть.
Мир осинам, что, раскинув ветви,
Загляделись в розовую воду.

Много дум я в тишине продумал,
Много песен про себя сложил
И на этой на земле угрюмой
Счастлив тем, что я дышал и жил.

Счастлив тем, что целовал я женщин,
Мял цветы, валялся на траве
И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове.

Знаю я, что не цветут там чащи,
Не звенит лебяжьей шеей рожь.
Оттого пред сонмом уходящих
Я всегда испытываю дрожь.

Знаю я, что в той стране не будет
Этих нив, златящихся во мгле.
Оттого и дороги мне люди,
Что живут со мною на земле.

1924

* * *

Этой грусти теперь не рассыпать
Звонким смехом далеких лет.
Отцвела моя белая липа,
Отзвенел соловьиный рассвет.

Для меня было все тогда новым,
Много в сердце теснилось чувств —
А теперь даже нежное слово
Горьким плодом срывается с уст.

И знакомые взору просторы
Уж не так под луной хороши.

Буераки... пеньки... косогоры
Обпечалили русскую ширь.

Нездоровое, хилое, низкое.
Водянистая серая гладь.
Это все мне родное и близкое,
От чего так легко зарыдать.

Покосившаяся избенка,
Плач овцы, и вдали на ветру
Машет тощим хвостом лошаденка,
Заглядевшись в неласковый пруд.

Это все, что зовем мы родиной,
Это все, отчего на ней
Пьют и плачут в одно с непогодиной,
Дожидаясь улыбчивых дней.

Потому никому не рассыпать
Эту грусть смехом ранних лет.
Отцвела моя белая липа,
Отзвенел соловьиный рассвет.

1924

* * *

Низкий дом с голубыми ставнями,
Не забыть мне тебя никогда, —
Слишком были такими недавними
Отзвучавшие в сумрак года.

До сегодня еще мне снится
Наше поле, луга и лес,
Принакрытые сереньким ситцем
Этих северных бедных небес.

Восхищаться уж я не умею
И пропасть не хотел бы в глуши,
Но, наверно, навеки имею
Нежность грустную русской души.

Отпоборила рочи Золотая
борзювию беселии зыкком
и муровию печалью Аролетая
Уте не палает болше ни зком.

Кого палает? Изочь кичуи е лире странник
Ароулет, Золотей и смови пичиней дом
О всех умедших презити конотияник
С широким месачом коу злуфови прудом

Стан оуи сроду ривани зочей
А муровелей отиссий веток вдуи
~~Ползи чум о Юносеи~~
~~А муровелей отиссий веток вдуи~~ беселой

Но Аролет е Ароулетей или не палает.

Не палает ли ~~Ароулетей~~ ^{Ароулетей} Ароулетей поуласно

Не палает ~~Ароулетей~~ ~~Ароулетей~~
~~Ароулетей~~ зочей сроду прудом
~~Ароулетей~~ зочей сроду прудом

Но никто не палает ни сроду

не вгорит ради мовие кисти
он келтизики не палает; триво
как чорубо рондой пичу лисей
пал а дунду ^{Зрочей} ~~пичу~~ слова

и Если время велика поузмея
Сберей из есе вучи менчювию ком
Скынеи не так чю рочи Золотая
~~Сберей из есе вучи менчювию ком~~
~~Сберей из есе вучи менчювию ком~~
отпоборила рочи Золотая

Полюбил я седых журавлей
С их курлыканьем в тощине дали,
Потому что в просторах полей
Они сытных хлебов не видали.

Только видели березь да цвѣть,
Да ракитник, кривой и безлиственный,
Да разбойные слышали свисты,
От которых легко умереть.

Как бы я и хотел не любить,
Все равно не могу научиться,
И под этим дешевеньким ситцем
Ты мила мне, родимая выть.

Потому так и днями недавними
Уж не юные веют года...
Низкий дом с голубыми ставнями,
Не забыть мне тебя никогда.

1924

* * *

Отговорила роща золотая
Березовым, веселым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком.

Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник —
Пройдет, зайдет, и вновь оставит дом.
О всех ушедших грезит конопляник
С широким месяцем над голубым прудом.

Стою один среди равнины голой,
А журавлей относит ветер вдаль,
Я полон дум о юности веселой,
Но ничего в прошедшем мне не жаль.

Не жаль мне лет, растроченных напрасно,
Не жаль души сиреневую цвѣть.
В саду горит костер рябины красной,
Но никого не может он согреть.

Не обгорят рябиновые кисти,
От желтизны не пропадет трава.
Как дерево роняет тихо листья,
Так я роняю грустные слова.

И если время, ветром разметая,
Сгребет их все в один ненужный ком...
Скажите так... что роща золотая
Отговорила милым языком.

1924

* * *

Издатель славный! В этой книге
Я новым чувствам предаюсь,
Учусь постигнуть в каждом миге
Коммуной вздыбленную Русь.

Пускай о многом неумело
Шептал бумаге карандаш,
Душа спросонок хрипло пела,
Не понимая праздник наш.

Но ты видение поэта
Прочтешь не в буквах, а в другом,
Что в той стране, где власть Советов,
Не пишут старым языком.

И, разбирая опыт смелый,
Меня насмешке не предашь, —
Лишь потому так неумело
Шептал бумаге карандаш.

1924

РУСЬ СОВЕТСКАЯ

А. Сахарову

Тот ураган прошел. Нас мало уцелело.
На перекличке дружбы многих нет.
Я вновь вернулся в край осиротелый,
В котором не был восемь лет.

Кого позвать мне? С кем мне поделиться
Той грустной радостью, что я остался жив?
Здесь даже мельница — бревенчатая птица
С крылом единственным — стоит, глаза смежив.

Я никому здесь не знаком,
А те, что помнили, давно забыли.
И там, где был когда-то отчий дом,
Теперь лежит зола да слой дорожной пыли.

А жизнь кипит.
Вокруг меня снуют
И старые и молодые лица.
Но некому мне шляпой поклониться,
Ни в чьих глазах не нахожу приют.

И в голове моей проходят роем думы:
Что родина?
Ужели это сны?
Ведь я почти для всех здесь пилигрим угрюмый
Бог весть с какой далекой стороны.

И это я!
Я, гражданин села,
Которое лишь тем и будет знаменито,
Что здесь когда-то баба родила
Российского скандального пиита.
Но голос мысли сердцу говорит:
«Опомнись! Чем же ты обижен?
Ведь это только новый свет горит
Другого поколения у хижин.

Уже ты стал немного отцветать,
Другие юноши поют другие песни.
Они, пожалуй, будут интересней —
Уж не село, а вся земля им мать».

Ах, родина! Какой я стал смешной.
На щеки впалые летит сухой румянец.
Язык сограждан стал мне как чужой,
В своей стране я словно иностранец.

Вот вижу я:
Воскресные сельчане
У волости как в церковь собрались.
Корявыми, нематыми речами
Они свою обсуживают «жись».
Уж вечер. Жидкой позолотой
Закат обрызгал серые поля,
И ноги босые, как телки под ворота,
Уткнули по канавам тополя.

Хромой красноармеец с ликом сонным,
В воспоминаниях морщина лоб,
Рассказывает важно о Буденном,
О том, как красные отбили Перекоп.
«Уж мы его — и этак и раз-этак, —
Буржуя энтого... которого... в Крыму...»
И клены морщатся ушами длинных веток,
И бабы охают в немую полутьму.

С горы идет крестьянский комсомол,
И под гармонику, наяривая рьяно,
Поют агитки Бедного Демьяна,
Веселым криком оглушая дол.

Вот так страна!
Какого ж я рожна
Орал в стихах, что я с народом дружен?
Моя поэзия здесь больше не нужна.
Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен.

Ну что ж!
Прости, родной приют.
Чем сослужил тебе — и тем уж я доволен.
Пускай меня сегодня не поют, —
Я пел тогда, когда был край мой болен.

Приемлю все.
Как есть все принимаю.
Готов идти по выбитым следам.
Отдам всю душу октябрю и маю,
Но только лиры милой не отдам.
Я не отдам ее в чужие руки —

Ни матери, ни другу, ни жене.
Лишь только мне она свои вверяла звуки,
И песни нежные лишь только пела мне.

Цветите, юные! И здоровейте телом!
У вас иная жизнь, у вас другой напев.
А я пойду один к неведомым пределам,
Душой бунтующей навеки присмирив.

Но и тогда,
Когда во всей планете
Пройдет вражда племен,
Исчезнет ложь и грусть, —
Я буду воспевать
Всем существом в поэте
Шестую часть земли
С названьем кратким «Русь».

1924

РУСЬ УХОДЯЩАЯ

Мы многое еще не сознаем,
Питомцы ленинской победы,
И песни новые
По-старому поем,
Как нас учили бабушки и деды.

Друзья! Друзья!
Какой раскол в стране,
Какая грусть в кипении вселом!
Знать, оттого так хочется и мне,
Здрав штаны,
Бежать за комсомолом.

Я уходящих в грусти не виню —
Ну где же старикам
За юношами гнаться?
Они несжатой рожью на корню
Остались догнивать и осыпаться.

И я, я сам —
Ни молодой, ни старый —
Для времени навозом обречен.
Не потому ль кабацкий звон гитары
Мне навевает сладкий сон?

Гитара милая,
Звени, звени!
Сыграй, цыганка, что-нибудь такое,
Чтоб я забыл отравленные дни,
Не знавшие ни ласки, ни покоя.

Советскую я власть виню,
И потому я на нее в обиде,
Что юность светлую мою
В борьбе других я не увидел.
Что видел я?

Я видел только бой
Да вместо песен
Слышал канонаду.
Не потому ли с желтой головой
Я по планете бегал до упаду.

Но все ж я счастлив.
В сонме бурь
Неповторимые я вынес впечатленья.
Вихрь нарядил мою судьбу
В золототканное цветенье.

Я человек не новый!
Что скрывать?
Остался в прошлом я одной ногою,
Стремясь догнать стальную рать,
Скольжу и падаю другою.

Но есть иные люди.
Те
Еще несчастней и забытей,
Они как отрубь в решете
Средь непонятных им событий.

Я знаю их
И подсмотрел:
Глаза печальнее коровьих.
Средь человеческих мирных дел,
Как пруд, заплесневела кровь их.

Кто бросит камень в этот пруд?
Не троньте!
Будет запах смрада.
Они в самих себе умрут,
Истлеют падью листопада.

А есть другие люди —
Те, что верят,
Что тянут в будущее робкий взгляд.
Почесывая зад и перед,
Они о новой жизни говорят.

Я слушаю. Я в памяти смотрю,
О чем крестьянская судачит оголь.
— С советской властью жить нам
по нутрю...
Теперь бы ситцу... Да гвоздей немного...

Так мало надо этим брадачам,
Чья жизнь в сплошном
Картофеле и хлебе.
Чего же я ругаюсь по ночам
На неудачный, горький жребий?

Я тем завидую,
Кто жизнь провел в бою,
Кто защищал великую идею.
А я, сгубивший молодость свою,
Воспоминаний даже не имею.

Какой скандал!
Какой большой скандал!
Я очутился в узком промежутке.
Ведь я мог дать
Не то, что дал,
Что мне давалось ради шутки.

Гитара милая,
Звени, звени!
Сыграй, цыганка, что-нибудь такое,
Чтоб я забыл отравленные дни,
Не знавшие ни ласки, ни покоя.

Я знаю — грусть не утопить в вине,
Не вылечить души
Пустыней и отколом.
Знать, оттого так хочется и мне,
Задрать штаны,
Бежать за комсомолом.

1924

ПИСЬМО К ЖЕНЩИНЕ

Вы помните,
Вы всё, конечно, помните,
Как я стоял,
Приблизившись к стене;
Взволнованно ходили вы по комнате
И что-то резкое
В лицо бросали мне.

Вы говорили:
Нам пора расстаться,
Что вас измучила
Моя шальная жизнь,
Что вам пора за дело приниматься,
А мой удел —
Катиться дальше, вниз.

Любимая!
Меня вы не любили.
Не знали вы, что в сонмище людском
Я был как лошадь, загнанная в мыле,
Пришпоренная смелым ездоком.
Не знали вы,
Что я в сплошном дыму,

В развороченном бурей быте
С того и мучаюсь, что не пойму —
Куда несет нас рок событий.

Лицом к лицу
Лица не увидеть.
Большое видится на расстояньи.
Когда кипит морская гладь —
Корабль в плачевном состояньи.

Земля — корабль!
Но кто-то вдруг
За новой жизнью, новой славой
В прямую гущу бурь и вьюг
Ее направил величаво.

Ну кто ж из нас на палубе большой
Не падал, не блевал и не ругался?
Их мало, с опытной душой,
Кто крепким в качке оставался.

Тогда и я,
Под дикий шум,
Но зрело знающий работу,
Спустился в корабельный трюм,
Чтоб не смотреть людскую рвоту.

Тот трюм был —
Русским кабаком.
И я склонился над стаканом,
Чтоб, не страдая ни о ком,
Себя сгубить
В угаре пьяном.

Любимая!
Я мучил вас,
У вас была тоска
В глазах усталых —
Что я пред вами напоказ
Себя растрчивал в скандалах.

Но вы не знали,
Что в сплошном дыму,
В развороченном бурей быте
С того и мучаюсь,
Что не пойму,
Куда несет нас рок событий...

.

Теперь года прошли.
Я в возрасте ином.
И чувствую и мыслю по-иному.
И говорю за праздничным вином:
Хвала и слава рулевому!

Сегодня я
В ударе нежных чувств.
Я вспомнил вашу грустную усталость.
И вот теперь
Я сообщить вам мчусь,
Каков я был,
И что со мною случилось!

Любимая!
Сказать приятно мне:
Я избежал паденья с кручи.
Теперь в советской стороне
Я самый яростный попутчик.

Я стал не тем,
Кем был тогда.
Не мучил бы я вас,
Как это было раньше.
За знамя вольности
И светлого труда
Готов идти хоть до Ламанша.

Простите мне...
Я знаю: вы не та —
Живете вы
С серьезным, умным мужем,
Что не нужна вам наша маята,
И сам я вам
Ни капельки не нужен.

Живите так,
Как вас ведет звезда,
Под кущей обновленной сени.
С приветствием,
Вас помнящий всегда
Знакомый ваш
Сергей Есенин.

1924

ПИСЬМО ОТ МАТЕРИ

Чего же мне
Еще теперь придумать,
О чем теперь
Еще мне написать?
Передо мной
На столике угрюмом
Лежит письмо,
Что мне прислала мать.

Она мне пишет:
Если можешь ты,
То приезжай, голубчик,
К нам на святки.
Купи мне шаль,
Отцу купи порты —
У нас в дому
Большие недостатки.

Мне страх не нравится,
Что ты поэт,
Что ты сдружился
С славою плохую.
Гораздо лучше б
С малых лет
Ходил ты в поле за сохою.

Стара я стала
И совсем плоха,
Но если б дома
Был ты изначала,

То у меня
Была б теперь сноха
И на ноге
Внучонка я качала.

Но ты детсй
По свету растерял,
Свою жену
Легко отдал другому,
И без семьи, без дружбы,
Без причала
Ты с головой
Ушел в кабацкий омут.

Любимый сын мой,
Что с тобой?
Ты был так кроток,
Был так смиренен.
И говорили все наперебой:
Какой счастливый
Александр Есенин.

В тебе надежды наши
Не сбылись,
И на душе
С того больней и горше,
Что у отца
Была напрасной мысль,
Чтоб за стихи
Ты денег брал побольше.

Хоть сколько б ты
Ни брал,
Ты не пошлешь их в дом,
И потому так горько
Речи льются,
Что знаю я
На опыте своем:
Поэтам деньги не даются.

Мне страх не нравится,
Что ты поэт.

Что ты сдружился
С славою плохою.
Гораздо лучше б
С малых лет
Ходил ты в поле за сохою.

Теперь сплошная грусть,
Живем мы как во тьме.
У нас нет лошади.
Но если б был ты в доме,
То было б все,
И при твоём уме —
Пост председателя
В волисполкоме.

Тогда б жилось смелей,
Никто б нас не тянул,
И ты б не знал
Ненужную усталость.
Я б заставляла
Прясть
Твою жену,
А ты, как сын,
Покоил нашу старость.

Я комкаю письмо,
Я погружаюсь в жуть.
Ужель нет выхода
В моем пути заветном?
Но все, что думаю,
Я после расскажу —
Я расскажу
В письме ответном...

1924

ОТВЕТ

Старушка милая,
Живи, как ты живешь.
Я нежно чувствую
Твою любовь и память.

Но только ты
Ни капли не поймешь —
Чем я живу
И чем я в мире занят!

Теперь у нас зима.
И лунными ночами,
Я знаю, ты
Помыслишь не одна,
Как будто кто
Черемуху качает
И осыпает
Снегом у окна:

Родимая!
Ну как заснуть в метель?
В трубе так жалобно
И так протяжно стонет.
Захочешь лечь,
Но видишь не постель,
А узкий гроб
И — что тебя хоронят.

Как будто тысяча
Гнусавейших дьячков,
Поет она плакидой —
Сволочь-вьюга.
И снег ложится
Вроде пяточков,
И нет за гробом
Ни жены, ни друга.

Я более всего
Весну люблю.
Люблю разлив
Стремительным потоком,
Где каждой щепке,
Словно кораблю,
Такой простор,
Что не окинешь оком.

Но ту весну,
Которую люблю,

Я революцией великой
Называю!
И лишь о ней
Страдаю и скорблю,
Ее одну
Я жду и призываю!

Но эта пакость —
Хладная планета!
Ее и Солнцем-Лениным
Пока не растопить!
Вот потому
С большой душой поэта
Пошел скандалить я,
Озорничать и пить.

Но время будет,
Милая, родная!
Она придет, желанная пора!
Недаром мы
Присели у орудий:
Тот сел у пушки,
Этот — у пера.

Забудь про деньги ты,
Забудь про все.
Какая гибель?
Ты ли это, ты ли?
Ведь не корова я,
Не лошадь, не осел,
Чтобы меня
Из стойла выводили!

Я выйду сам,
Когда настанет срок,
Когда пальнуть
Придется по планете,
И, воротясь,
Тебе куплю платок,
Ну, а отцу
Куплю я штуки эти.

Пока ж — идет метель,
И тысячей дьячков
Поет она плакидой —
Сволочь-вьюга.
И снег ложится
Вроде пяточков,
И нет за гробом
Ни жены, ни друга.
1924

БАЛЛАДА О ДВАДЦАТИ ШЕСТИ

*С любовью — прекрасному
художнику Г. Якулову*

Пой песню, поэт,
Пой.
Ситец неба такой
Голубой.
Море тоже рокочет
Песнь.
Их было
26.
26 их было,
26.
Их могилы песками
Не занестъ.
Не забудет никто
Их расстрел
На 207-й
Версте.
Там за морем гуляет
Туман.
Видишь, встал из песка
Шаумян.
Над пустыней костлявый
Стук.
Вон еще 50
Рук
Вылезают, стирая
Плеснь.

26 их было, 26.
Кто с прострелом в груди,
Кто в боку,
Говорят:
«Нам пора в Баку —
Мы посмотрим,
Пока есть туман,
Как живет Азербайджан».

.
.

Ночь, как дыню,
Катит луну.
Море в берег
Струит волну.
Вот в такую же ночь
И туман
Расстрелял их
Отряд англичан.

Коммунизм —
Знамя всех свобод.
Ураганом вскипел
Народ.
На империю встали
В ряд
И крестьянин
И пролетариат.
Там, в России,
Дворянский бич,
Был наш строгий отец
Ильич.
А на Востоке
Здесь
Их было
26.

Все помнят, конечно,
Тот,
18-й, несчастный
Год.

Тогда буржуа
Всех стран
Обстреливали
Азербайджан.

Тяжел был Коммуне
Удар.
Не вынес сей край и пал.
Но жутче всем было
Весть
Услышать
Про 26.

В пески, что как плавленный
Воск,
Свезли их
За Красноводск,
И кто саблей,
Кто пулей в бок —
Всех сложили на жолтый
Песок.

26 их было,
26.
Их могилы пескам
Не занести.
Не забудет никто
Их расстрел
На 207-й
Версте.

Там за морем гуляет
Туман.
Видишь, встал из песка
Шаумян.
Над пустыней костлявый
Стук.
Вон еще 50
Рук
Вылезают, стирая
Плесень.

26 их было,
26.

.

Ночь как будто сегодня
Бледней.
Над Баку
26 теней.
Теней этих
26.
О них наша была
И песнь.

То не ветер шумит,
Не туман.
Слышишь, как говорит
Шаумян:
«Джапаридзе,
Иль я ослеп,
Посмотри:
У рабочих хлеб.
Нефть — как черная
Кровь земли.
Паровозы кругом...
Корабли...
И во все корабли,
В поезда
Ебита красная наша
Звезда».

Джапаридзе в ответ:
«Да, есть.
Это очень приятная
Весть.
Значит, крепко рабочий
Класс
Держит в цепких руках
Кавказ».

Ночь, как дыню,
Катит луну.

Море в берег
Струит волну.
Вот в такую же ночь
И туман
Расстрелял их
Отряд англичан.

Коммунизм —
Знамя всех свобод.
Ураганом вскипел
Народ.
На империю встали
В ряд
И крестьянин
И пролетариат.
Там, в России,
Дворянский бич,
Был наш строгий отец
Ильич.
А на Востоке
Здесь
26 их было,
26.

.

Свет небес все синей
И синей.
Молкнет говор
Дорогих теней.
Кто в висок прострелен,
А кто в грудь.
К Ахч-Куйме
Их обратный путь...

Пой, поэт, песню,
Пой.
Ситец неба такой
Голубой...
Море тоже рокочет
Песнь —
26 их было,
26.

1924

ПОЭТАМ ГРУЗИИ

Писали раньше
Ямбом и октавой.
Классическая форма
Умерла.
Но ныне, в век наш
Величавый,
Я вновь ей вздернул
Удила.

Земля далекая!
Чужая сторона!
Грузинские кремнистые дороги.
Вино янтарное
В глаза струит луна,
В глаза глубокие,
Как голубые рсги.

Поэты Грузии!
Я ныне вспомнил вас.
Приятный вечер вам,
Хороший, добрый час!

Товарищи по чувствам,
По перу,
Словесных рек кипение
И шорох,
Я вас люблю,
Как шумную Куру,
Люблю в пирах и в разговорах.

Я — северный ваш друг
И брат!
Поэты — все единой крови.
И сам я тоже азиат
В поступках, в помыслах
И слове.

И потому в чужой
Стране
Вы близки
И приятны мне.

Века всё смелют,
Дни пройдут,
Людская речь
В один язык сольется.

Историк, сочиняя труд,
Над нашей рознью улыбнется.

Он скажет:
В пропасти времен
Есть изысканья и приметы...
Дрались сонмища племен,
Зато не ссорились поэты.

Свидетельствует
Вещный знак:
Поэт поэту
Есть кунак.

Самодержавный
Русский гнет
Сжимал все лучшее за горло,
Его мы кончили —
И вот
Свобода крылья распростерла.

И каждый в племени своем,
Своим мотивом и изречьем,
Мы всяк
По-своему поем,
Поддавшись чувствам
Человечьим...

Свершился дивный
Рок судьбы:
Уже мы больше
Не рабы.

Поэты Грузии,
Я ныне вспомнил вас,
Приятный вечер вам,
Хороший, добрый час!..

Товарищи по чувствам,
По перу,
Словесных рек кипение
И шорох,
Я вас люблю,
Как шумную Куру,
Люблю в пирах и в разговорах.
1924

НА КАВКАЗЕ

Издревле русский наш Парнас
Тянуло к незнакомым странам,
И больше всех лишь ты, Кавказ,
Звенел загадочным туманом.

Здесь Пушкин в чувственном огне
Слагал душой своей опальной:
«Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной».

И Лермонтов, тоску леча,
Нам рассказал про Азамата,
Как он за лошадь Казбича
Давал сестру вместо злата.

За грусть и желчь в своем лице
Кипенья жолтых рек достоин,
Он, как поэт и офицер,
Был пулей друга успокоен.

И Грибоедов здесь зарыт,
Как наша дань персидской хмари.
В подножии большой горы
Он спит под плач зурны и тари.

А ныне я в твою безгладь
Пришел, не ведая причины:
Родной ли прах здесь обрывать
Иль подсмотреть свой час кончины!

Мне все равно! Я полон дум
О них, ушедших и великих.
Их исцелял гортанный шум
Твоих долин и речек диких.

Они бежали от врагов
И от друзей сюда бежали,
Чтоб только слышать звон шагов
Да видеть с гор глухие дали.

И я от тех же зол и бед
Бежал, навек простясь с богемой,
Зане созрел во мне поэт
С большой эпической темой.

Мне мил стихов российский жар —
Есть Маяковский, есть и кроме,
Но он, их главный штабс-майор,
Поет о пробках в Моссельпроме.

И Клюев, ладожский дьячок,
Его стихи как телогрейка,
Но я их вслух вчера прочел —
И в клетке сдохла канарейка.

Других уж нечего считать,
Они под хладным солнцем зреют.
Бумаги даже замарать,
И то как надо не умеют.

Прости, Кавказ, что я о них
Тебе промолвил ненароком,
Ты научи мой русский стих
Кизиловым струиться соком.

Чтоб, воротясь опять в Москву,
Я мог прекраснейшей поэмой
Забуть ненужную тоску
И не дружить вовек с богемой.

И чтоб одно в моей стране
Я мог твердить в свой час прощальный:
«Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной».

1924

ПАМЯТИ БРЮСОВА

Мы умираем,
Сходим в тишь и грусть.
Но знаю я —
Нас не забудет Русь.
Любили девушек,
Любили женщин мы —
И ели хлеб
Из нищенской сумы.
Но не любили мы
Продажных торгашей.
Планета, милая, —
Катись, гуляй и пей.
Мы рифмы старые
Раз сорок повторим.
Пускать сумеем
Гоголя и дым.
Но всё же были мы
Всегда одни.
Мой милый друг,
Не сетуй, не кляни!
Вот умер Брюсов,
Но порем и мы, —
Не выпросить нам дней
Из нищенской сумы.
Но крепко вцепались
Мы в нищую суму.
Валерий Яковлевич,
Мир праху твоему!

1924

СТАНСЫ

Посвящается П. Чагину

Я о своем таланте
Много знаю.
Стихи — не очень трудные дела.
Но более всего
Любовь к родному краю
Меня томила,
Мучила и жгла.

Стишок писнуть,
Пожалуй, всякий может —
О девушках, о звездах, о луне...
Но мне другое чувство
Сердце гложет,
Другие думы
Давят череп мне.

Хочу я быть певцом
И гражданином,
Чтоб каждому,
Как гордость и пример,
Был настоящим,
А не сводным сыном —
В великих штатах СССР.

Я из Москвы надолго убежал:
С милицией я ладить
Не в сноровке —
За всякий мой пивной скандал
Они меня держали
В тигулевке.

Благодарю за дружбу граждан сих,
Но очень жестко
Спать там на скамейке
И пьяным голосом
Читать какой-то стих
О клеточной судьбе
Несчастной канарейки.

Я вам не кенар!
Я поэт!
И не чета каким-то там Дсмяням.
Пускай бываю иногда я пьяным,
Зато в глазах моих
Прозрений дивных свет.

Я вижу все
И ясно понимаю,
Что эра новая —
Не фунт изюму вам,
Что имя Ленина
Шумит, как ветер, по краю,
Давая мыслям ход,
Как мельничным крылам.

Вертитесь, милые!
Для нас обещан прок.
Я вам племянник,
Вы же мне все дяди.
Давай, Сергей,
За Маркса тихо сядем,
Понюхаем премудрость
Скучных строк.

Дни, как ручьи, бегут
В туманную реку.
Мелькают города,
Как буквы по бумаге.
Недавно был в Москве,
А нынче вот в Баку.
В стихию промыслов
Нас посвящает Чагин.

— Смотри, — он говорит, —
Не лучше ли церквей
Вот эти вышки
Черных нефть-фонтанов.
Довольно с нас мистических туманов.
Воспой, поэт,
Что крепче и живей.

Нефть на воде —
Как одеяло перса,
И вечер по небу
Рассыпал звездный куль.
Но я готов поклясться
Чистым сердцем,
Что фонари
Прекрасней звезд в Баку.

Я полон дум об индустриальной мощи,
Я слышу голос человеческих сил.
Довольно с нас
Небесных всех светил —
Нам на земле
Устроить это проще.
И, самого себя
По шее глядя,
Я говорю:
— Настал наш срок.
Давай, Сергей,
За Маркса тихо сядем,
Чтоб разгадать
Премудрость скучных строк.

1924

МЕТЕЛЬ

Прядите, дни, свою былую пряжу,
Живой души не перестроить век,
Нет!
Никогда с собой я не полажу —
Себе, любимому,
Чужой я человек.

Хочу читать, а книга выпадает,
Долит зевота,
Так и клонит в сон...
А за окном
Протяжный ветер рыдает,
Как будто чуя
Близость похорон.

Облезлый клен
Своей верхушкой черной
Гнусавит хрипло
В небо о былом.
Какой он клен?
Он просто столб позорный —
На нем бы вешать
Иль отдать на слом.
И первого
Меня повесить нужно,
Скрестив мне руки за спиной, —
За то, что песней
Хриплой и недружной
Мешал я спать
Стране родной.
Я не люблю
Распевы петуха
И говорю,
Что если был бы в силе,
То всем бы петухам
Я выдрал потроха,
Чтобы они
Ночью не голосили.
Но я забыл,
Что сам я петухом
Орал всю
Перед рассветом края,
Отцовские заветы попирая,
Волнуясь сердцем
И стихом.
Визжит метель,
Как будто бы кабан,
Которого зарезать собрались.
Холодный,
Ледяной туман —
Не разберешь,
Где даль,
Где близь...

Луну, наверное,
Собаки съели —

Ее давно
На небе не видать.
Выдергивая нитку из кудели,
С веретеном
Ведет беседу мать.
Оглохший кот
Внимает той беседе,
С лежанки свесив
Важную главу.
Недаром говорят
Пугливые соседи,
Что он похож
На черную сову.
Глаза смежаются,
И как я их прищурю,
То вижу въявь
Из сказочной поры:
Кот лапой мне
Показывает дулю,
А мать — как ведьма
С киевской горы.
Не знаю, болен я
Или не болен,
Но только мысли
Бродят невпопад.
В ушах могильный
Стук лопат
С рыданьем дальних
Колоколен.
Себя усопшего
В гробу я вижу,
Под аллилуйные
Стенания дьячка.
Я веки мертвому себе
Спускаю ниже,
Кладя на них
Два медных пяточка.
На эти деньги,
С мертвых глаз,
Могильщику теплее станет, —
Меня зарыв,

Он тот же час
Себя сивухой остаканит.

И скажет громко:
— Вот чудак!
Он в жизни
Буйствовал немало...
Но одолеть не мог никак
Пяти страниц
Из «Капитала».

1924—1925

ВЕСНА

Припадок кончен.
Грусть в опале.
Приемлю жизнь, как первый сон.
Вчера прочел я в «Капитале»,
Что для поэтов —
Свой закон.

Метель теперь
Хоть чертом вой,
Стучись утопленником голым, —
Я с отрезвевшей головой
Товарищ бодрым и веселым.

Гнилых нам нечего жалеть,
Да и меня жалеть не нужно,
Коль мог покорно умереть
Я в этой завирухе вьюжной.

Тинь-тинь, синица!
Добрый день!
Не бойся!
Я тебя не трону.
И, коль угодно,
На плетень
Садись по птичьему закону.

Закон вращения в мире есть,
Он — отноше́нье
Средь живу́щих.
Коль ты с людьми единой куши —
Имеешь право
Лечь и сесть.

Привет тебе,
Мой бедный клен!
Прости, что я тебя обидел.
Твоя одежда в рваном виде,
Но будешь
Новой наделен.

Без срлера тебе апрель
Зеленую отпустит шапку,
И тихо
В нежную охапку
Тебя обнимет повитель.

И выйдет девушка к тебе,
Водой окатит из колодца,
Чтобы в суровом октябре
Ты мог с метелями бороться.

А ночью
Выплывет луна —
Ее не слопали собаки:
Она была лишь не видна
Из-за людской
Кровавой драки.

Но драка кончилась...
И вот —
Она своим лимонным светом
Деревьям, в зелень разодетым,
Сиянье звучное
Польет.

Так пей же, грудь моя,
Весну!
Волнуйся новыми
Стихами!

Я нынче, отходя ко сну,
Не поругаюсь
С петухами.

Земля, земля!
Ты не металл, —
Металл ведь
Не пускает почку.
Достаточно попасть
На строчку
И вдруг —
Понятен «Капитал».
1924—1925

ПИСЬМО ДЕДУ

Покинул я
Родимое жилище.
Голубчик! Дедушка!
Я вновь к тебе пишу...
У вас под окнами
Теперь метели свищут,
И в дымовой трубе
Протяжный вой и шум,

Как будто сто чертей
Залезло на чердак.
А ты всю ночь не спишь
И дрыгаешь ногою.
И хочется тебе
Накинуть свой пиджак,
Пойти туда,
Избить всех кочергою.

Наивность милая
Нетронутой души!
Недаром прадед
За овса три меры
Тебя к дядьку водил
В заброшенной глуши
Учить: «Достойно есть»
И с «Отче» «Символ веры».

Хорошего коня пасут,
Отборный корм
Ему любви порука.
И, самого себя
Призвав на суд,
Тому же самому
Ты обучать стал внука.

Но внук учебы этой
Не постиг
И, к горечи твоей,
Ушел в страну чужую.
По-твоему, теперь
Бродягою брожу я,
Слагая в помыслах
Ненужный, глупый стих.

Ты говоришь,
Что у тебя украли,
Что я дурак,
А город — плут и мот.
Но только, дедушка,
Едва ли так, едва ли, —
Плохую лошадь
Вор не уведет.

Плохую лошадь
Со двора не сгонишь,
Но тот, кто хочет
Знать другую гладь,
Тот скажет:
Чтоб не сгнить в затоне,
Село родное
Нужно покидать.

Вот я и кинул.
Я в стране далекой.
Весна.
Здесь розы больше кулака.
И я твоей
Судьбине одинокой

Привет их теплый
Шлю издалека.

Теперь метель
Вовсю свистит в Рязани.
А у тебя —
Меня увидеть зуд.
Но ты ведь знаешь —
Никакие сани
Тебя сюда
Ко мне не завезут.

Я знаю —
Ты б приехал к розам,
К теплу,
Да только вот беда:
Твое проклятье
Силе паровоза
Тебя навек
Не сдвинет никуда.

А если я помру?
Ты слышишь, дедушка?
Помру я?
Ты сядешь или нет в вагон,
Чтобы присутствовать
На свадьбе похорон
И спеть в последнюю
Печаль мне «аллилуйя»?

Тогда садись, старик,
Садись без слез,
Доверься ты
Стальной кобыле.
Ах, что за лошадь,
Что за лошадь паровоз!
Ее, наверное,
В Германии купили.

Чугунный рот ее
Привык к огню,

И дым над ней, как грива,
Чорен, густ и чоток.
Такую б гриву
Нашему коню,
То сколько б вышло
Разных швабр и щеток!

Я знаю —
Время даже камень крошит...
И ты, старик,
Когда-нибудь поймешь,
Что, даже лучшую
Впрягая в сани лошадь,
В далекий край
Лишь кости привезешь.

Пойми и то,
Что я ушел недаром
Туда, где бег
Быстрее, чем полет.
В стране, объята выюгой
И пожаром,
Плохую лошадь
Вор не уведет.

1924

* * *

Улеглась моя былая рана —
Пьяный бред не гложет сердце мне.
Синими цветами Тегерана
Я лечу их нынче в чайхане.

Сам чайханщик с круглыми плечами,
Чтобы славилась пред русским чайхана,
Угощает меня красным чаем
Вместо крепкой водки и вина.

Угощай, хозяин, да не очень.
Много роз цветет в твоём саду.
Незадаром мне мигнули очи,
Приоткинув чёрную чадру.

Мы в России девушек весенних
На цепи не держим, как собак,
Поцелуям учимся без денег,
Без кинжальных хитростей и драк.

Ну, а этой за движенье стана,
Что лицом похожа на зарю,
Подарю я шаль из Хороссана
И ковер ширазский подарю.

Наливай, хозяин, крепче чаю,
Я тебе вовеки не солгу.
За себя я нынче отвечаю.
За тебя ответить не могу.

И на дверь ты взглядывай не очень,
Все равно калитка есть в саду...
Незадаром мне мигнули очи,
Приоткинув черную чадру.

1924

* * *

Я спросил сегодня у менялы,
Что дает за полтумана по рублю:
Как сказать мне для прекрасной Лалы
По-персидски нежное «люблю»?

Я спросил сегодня у менялы
Легче ветра, тише Ванских струй,
Как назвать мне для прекрасной Лалы
Слово ласковое «поцелуй»?

И еще спросил я у менялы,
В сердце робость глубже притая,
Как сказать мне для прекрасной Лалы,
Как сказать ей, что она «моя»?

И ответил мне меняла кратко:
О любви в словах не говорят,
О любви вздыхают лишь украдкой,
Да глаза как яхонты горят.

Поцелуй названья не имеет,
Поцелуй не надпись на гробах.
Красной розой поцелуи веют,
Лепестками тая на губах.

От любви не требуют поруки,
С нею знают радость и беду.
«Ты — моя» сказать лишь могут руки,
Что срывали черную чадру.

1924

* * *

Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Потому, что я с севера, что ли,
Я готов рассказать тебе поле,
Про волнистую рожь при луне.
Шаганэ ты моя, Шаганэ.

Потому, что я с севера, что ли,
Что луна там огромней в сто раз,
Как бы ни был красив Шираз,
Он не лучше рязанских раздолий.
Потому, что я с севера, что ли.

Я готов рассказать тебе поле.
Эти волосы взял я у ржи,
Если хочешь, на палец вяжи —
Я нисколько не чувствую боли.
Я готов рассказать тебе поле.

Про волнистую рожь при луне
По кудрям ты моим догадайся.
Дорогая, шути, улыбайся,
Не буди только память во мне
Про волнистую рожь при луне.

Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Там на севере девушка тоже,
На тебя она страшно похожа,
Может, думает обо мне...
Шаганэ ты моя, Шаганэ.

1924

* * *

Ты сказала, что Саади
Целовал лишь только в грудь.
Подожди ты, бога ради,
Обучусь когда-нибудь.

Ты сказала, что в Коране
Говорится — мечь врагу.
Ну, а я ведь из Рязани,
Знать тех строчек не могу.

Ты пропела: «За Ефратом
Розы лучше смертных дев».
Если был бы я богатым,
То другой сложил напев.

Я б порезал розы эти,
Ведь одна отрада мне —
Чтобы не было на свете
Лучше милой Шаганэ.

И не мучь меня заветом,
У меня заветов нет.
Коль родился я поэтом,
То целуюсь, как поэт.

1924

* * *

Никогда я не был на Босфоре,
Ты меня не спрашивай о нем.
Я в твоих глазах увидел море,
Полыхающее голубым огнем.

Не ходил в Багдад я с караваном,
Не возил я шелк туда и хну.
Наклонись своим красивым станом,
На коленях дай мне отдохнуть.

Или снова, сколько ни проси я,
Для тебя навеки дела нет,
Что в далеком имени — Россия —
Я известный, признанный поэт.

У меня в душе звенит тальянка,
При луне собачий слышу лай.
Разве ты не хочешь, персиянка,
Увидать далекий синий край?

Я сюда приехал не от скуки —
Ты меня незримая звала.
И меня твои лебяжьи руки
Обвивали, словно два крыла.

Я давно ищу в судьбе покоя,
И хоть прошлой жизни не кляню,
Расскажи мне что-нибудь такое
Про твою веселую страну.

Заглуши в душе тоску тальянки,
Напой дыханьем свежих чар,
Чтобы я о дальней северянке
Не вздыхал, не думал, не скучал.

И хотя я не был на Босфоре —
Я тебе придумаю о нем.
Все равно — глаза твои, как море,
Голубым колышутся огнем.

1925

* * *

Свет вечерний шафранного края,
Тихо розы бегут по полям.
Спой мне песню, моя дорогая,
Ту, которую пел Хаям.
Тихо розы бегут по полям.

Лунным светом Шираз осиянен,
Кружит звезд мотыльковый рой.
Мне не нравится, что персияне
Держат женщин и дев под чадрой.
Лунным светом Шираз осиянен.

Иль они от тепла застыли,
Закрывая телесную медь?
Или, чтобы их больше любили,
Не желают лицом загореть,
Закрывая телесную медь?

Дорогая, с чадрой не дружись,
Заучи эту заповедь вкратце,
Ведь и так коротка наша жизнь,
Мало счастьем дано любоваться.
Заучи эту заповедь вкратце.

Даже все некрасивое в роке
Осеньет своя благодать.
Потому и прекрасные щеки
Перед миром грешно закрывать,
Коль дала их природа-мать.

Тихо розы бегут по полям.
Сердцу снится страна другая.
Я спую тебе сам, дорогая,
То, что сроду не пел Хаям...
Тихо розы бегут по полям.

1925

* * *

Воздух прозрачный и синий,
Выйду в цветочные чаши.
Путник, в лазурь уходящий,
Ты не дойдешь до пустыни.
Воздух прозрачный и синий.

Лугом пройдешь, как садом,
Садом — в цветеньи диком.
Ты не удержишься взглядом,
Чтоб не припасть к гвоздикам.
Лугом пройдешь, как садом.

Шепот ли, шорох иль шелест —
Нежность, как песни Саади.
Вмиг отразится во взгляде
Месяца жолтая прелесть,
Нежность, как песни Саади.

Голос раздастся пери,
Тихий, как флейта Гассана.
В крепких объятиях стана
Нет ни тревог, ни потери,
Только лишь флейта Гассана.

Вот он, удел желанный
Всех, кто в пути устали.
Ветер благоуханный
Пью я сухими устами,
Ветер благоуханный.

1925

* * *

Золото холодное луны,
Запах олеандра и левкоя.
Хорошо бродить среди покоя
Голубой и ласковой страны.

Далеко-далече там Багдад,
Где жила и пела Шахразада.
Но теперь ей ничего не надо.
Отзвенел давно звеневший сад.

Призраки далекие земли
Поросли кладбищенской травойю.
Ты же, путник, мертвым не внемли,
Не склоняйся к плитам головою.

Оглянись, как хорошо кругом:
Губы к розам так и тянет, тянет.



Помирись лишь в сердце со врагом —
И тебя блаженством ошафранит.

Жить так жить, любить так уж влюбляться.
В лунном золоте целуйся и гуляй,
Если ж хочешь мертвым поклоняться,
То живых тем сном не отравляй.

Это пела даже Шахразада, —
Так вторично скажет листьев медь.
Тех, которым ничего не надо,
Только можно в мире пожалеть.

1925

* * *

В Хороссане есть такие двери,
Где обсыпан розами порог.
Там живет задумчивая пери.
В Хороссане есть такие двери,
Но открыть те двери я не мог.

У меня в руках довольно силы,
В волосах есть золото и медь.
Голос пери нежный и красивый.
У меня в руках довольно силы,
Но дверей не смог я отпереть.

Ни к чему в любви моей отвага.
И зачем? Кому мне песни петь? —
Если стала неревнивой Шага,
Коль дверей не смог я отпереть.
Ни к чему в любви моей отвага.

Мне пора обратно ехать в Русь.
Персия! Тебя ли покидаю?
Навсегда ль с тобою расстаюсь?
Из любви к родимому мне краю
Мне пора обратно ехать в Русь.

До свиданья, пери, до свиданья,
Пусть не смог я двери отпереть —
Ты дала красивое страданье
Про тебя на родине мне петь.
До свиданья, пери, до свиданья.

1925

* * *

Голубая родина Фирдуси,
Ты не можешь, памятью простыв,
Позабыть о ласковом уресе
И глазах, задумчиво простых,
Голубая родина Фирдуси.

Хороша ты, Персия, я знаю.
Розы как светильники горят
И опять мне о далеком крае
Свежестью упругой говорят.
Хороша ты, Персия, я знаю.

Я сегодня пью в последний раз
Ароматы, что хмельны, как брага.
И твой голос, дорогая Шага,
В этот трудный расставанья час
Слушаю в последний раз.

Но тебя я разве позабуду!
И в моей скитальческой судьбе
Близкому и дальнему мне люду
Буду говорить я о тебе —
И тебя навеки не забуду.

Я твоих несчастий не боюсь,
Но на всякий случай твой угрюмый
Оставляю песенку про Русь:
Запевая, обо мне подумай,
И тебе я в песне отзовусь...

1925

* * *

Голубая да веселая страна.
Честь моя за песню продана.
Ветер с моря, тише дуй и вей —
Слышишь, розу кличет соловей?

Слышишь, роза клонится и гнется —
Эта песня в сердце отзовется.
Ветер с моря, тише дуй и вей —
Слышишь, розу кличет соловей?

Ты ребенок — в этом спора нет,
Да и я ведь разве не поэт?
Ветер с моря, тише дуй и вей —
Слышишь, розу кличет соловей?

Дорогая Гелия, прости.
Много роз бывает на пути.
Много роз склоняется и гнется,
Но одна лишь сердцем улыбнется.

Улыбнемся вместе — ты и я
За такие милые края.
Ветер с моря, тише дуй и вей —
Слышишь, розу кличет соловей?

Голубая да веселая страна.
Пусть вся жизнь моя за песню продана,
Но за Гелию в тених ветвей
Обнимает розу соловей.

1925

* * *

Море голосов воробьиных,
Ночь, а как будто ясно,
Так ведь всегда прекрасно.
Ночь, а как будто ясно,
И на устах невинных
Море голосов воробьиных.

Ах, у луны такое
Светит — хоть кинься в воду.
Я не хочу покоя
В синюю эту погоду.
Ах, у луны такое
Светит — хоть кинься в воду.

Милая, ты ли? та ли?
Эти уста не устали.
Эти уста, как в струях,
Жизнь утолят в поцелуях.
Милая, ты ли? та ли?
Розы ль мне то нашептали?

Сам я не знаю, что будет.
Близко, а может, гдей-то
Плачет веселая флейта.
В тихом вечернем гуде
Чту я за лилии груди.
Плачет веселая флейта,
Сам я не знаю, что будет.

1925

* * *

Быть поэтом — это значит то же,
Если правды жизни не нарушить,
Рубцевать себя по нежной коже,
Кровью чувств ласкать чужие души.

Быть поэтом — значит петь раздолье,
Чтобы было для тебя известней.
Соловей поет — ему не больно,
У него одна и та же песня.

Канарейка с голоса чужого —
Жалкая, смешная побрякушка.
Миру нужно песенное слово
Петь по-свойски, даже как лягушка.

Магомет перехитрил в Коране,
Запрещая крепкие напитки,
Потому поэт не перестанет
Пить вино, когда идет на пытки.

И когда поэт идет к любимой,
А любимая с другим лежит на ложе,
Влагою живительной хранимый,
Он ей в сердце не запустит ножик.

Но, горя ревнивою отвагой,
Будет вслух насвистывать до дома:
«Ну и что ж, помру себе бродягой, —
На земле и это нам знакомо».

1925

* * *

Руки милой — пара лебедей —
В золоте волос моих пыряют.
Все на этом свете из людей
Песнь любви поют и повторяют.

Пел и я когда-то далеко
И теперь пою про то же снова,
Потому и дышит глубоко
Нежностью пропитанное слово.

Если душу вылюбить до дна,
Сердце станет глыбой золотою,
Только тегеранская луна
Не согреет песни теплотою.

Я не знаю, как мне жизнь прожить —
Догореть ли в ласках милой Шаги,
Иль под старость трепетно тужить
О прошедшей песенной отваге?

У всего своя походка есть:
Что приятно уху, что — для глаза.
Если перс слагает плохо песнь,
Значит он вовек не из Шираза.

Про меня же и за эти песни
Говорите так среди людей:
Он бы пел нежнее и чудесней,
Да сгубила пара лебедей.

1925

* * *

«Отчего луна так светит тускло
На сады и стены Хороссана?
Словно я хожу равниной русской
Под шуршащим пологом тумана», —

Так спросил я, дорогая Лала,
У молчащих ночью кипарисов,
Но их рать ни слова не сказала,
К небу гордо головы завывсив.

«Отчего луна так светит грустно?» —
У цветов спросил я в тихой чаще,
И цветы сказали: «Ты почувствуй
По печали розы шелестящей».

Лепестками роза расплескалась,
Лепестками тайно мне сказала:
«Шаганэ твоя с другим ласкалась,
Шаганэ другого целовала».

Говорила: «Русский не заметит...
Сердце песнь, а песне жизнь и тело».
Оттого луна так тускло светит,
Оттого печально побледнела.

Слишком много виделось измены,
Слез и мук, кто ждал их, кто не хочет.

.
Но и все ж вовек благословенны
На земле сиреневые ночи.

1925

* * *

Глупое сердце, не бойся.
Все мы обмануты счастьем,
Нищий лишь просит участия...
Глупое сердце, не бойся.

Месяца жолтые чары
Льют по каштанам в пролесь.
Лале склонясь на шальвары,
Я под чадрую укроюсь.
Глупое сердце, не бойся.

Все мы порою как дети,
Часто смеемся и плачем:
Выпали нам на свете
Радости и неудачи.
Глупое сердце, не бойся.

Многие видел я страны,
Счастья искал повсюду,
Только удел желанный
Больше искать не буду.
Глупое сердце, не бойся.

Жизнь не совсем обманула.
Новой напьемся силой.
Сердце, ты хоть бы заснуло
Здесь, на коленях у милой.
Жизнь не совсем обманула.

Может, и нас отметит
Рок, что течет лавиной,
И на любовь ответит
Песнею соловьиной.
Глупое сердце, не бейся.

1925

КАПИТАН ЗЕМЛИ

Еще никто
Не управлял планетой,
И никому
Не пелась песнь моя.
Лишь только он,
С рукой своей воздетой,
Сказал, что мир —
Единая семья.

Не обольщен я
Гимнами герою,
Не трепещу
Кровопроводом жил.
Я счастлив тем,
Что сумрачной порою
Одними чувствами
Я с ним дышал
И жил.

Не то что мы,
Которым все так
Близко, —
Впадают в диво
И слоны,
Как скромный мальчик
Из Симбирска
Стал рулевым
Своей страны.

Средь рева волн
В своей расчистке,
Слегка суров
И нежно мил,
Он много мыслил
По-марксистски,
Совсем по-ленински
Творил.

Он в разуме
Отваги полный
Лишь только прилегал
К рулю,
Чтобы об мыс
Дробились волны,
Простор давая
Кораблю.

Он — рулевой
И капитан,
Страшны ль с ним
Шквальные откосы?
Ведь, собранная
С разных стран,
Вся партия — его
Матросы.

Не трусь,
Кто к морю не привык:
Они за лучшие
Обеты
Зажгут,
Сойдя на материк,
Путеводительные светы.

Тогда поэт
Другой судьбы,
И уж не я,
А он меж вами
Споет вам песню
В честь борьбы

Другими,
Новыми словами.

Он скажет:
«Только тот пловец,
Кто, закалив
В бореньях душу,
Открыл для мира наконец
Никем не виданную
Сушу».

1925

ВОСПОМИНАНИЕ

Теперь октябрь не тот,
Не тот октябрь теперь.
В стране, где свищет непогода,
Ревел и выл
Октябрь, как зверь,
Октябрь семнадцатого года.
Я помню жуткий
Снежный день.
Его я видел мутным взглядом.
Железная витала тень
Над омраченным Петроградом.
Уже все чуяли грозу,
Уже все знали что-то,
Знали,
Что не напрасно, зная, везут
Солдаты черепах из стали.
Рассыпались...
Уселись в ряд...
У публики дрожат поджилки...
И кто-то вдруг сорвал плакат
Со стен трусливой учредилки.
И началось...
Метнулись взоры, Войной гражданской горя,
И дымом пламенной «Авроры»
Взошла железная заря.

Свершилась участь роковая,
И над страной под вопли «матов»
Взметнулась надпись огневая:
«Совет Рабочих Депутатов».

1925

БАТУМ

Корабли плывут
В Константинополь.
Поезда уходят на Москву.
От людского шума ль
Иль от скопа ль
Каждый день я чувствую
Тоску.

Далеко я,
Далеко заброшен.
Даже ближе
Кажется луна.
Пригоршнями водяных горошин
Плещет черноморская
Волна.

Каждый день
Я прихожу на пристань,
Провожая всех,
Кого не жаль,
И гляжу все тягостней
И пристальной
В очарованную даль.

Может быть, из Гавра,
Из Марсея
Приплывет
Луиза иль Жаннет,
О которых помню я
Доселе,
Но которых
Вовсе — нет.

Запах моря в привкус
Дымно-горький.
Может быть,
Мисс Метчел
Или Клод
Обо мне вспомнят
В Нью-Йорке,
Прочитав сей вещи
Перевод.

Все мы ищем
В этом мире буром
Нас зовущие
Незримые следы.
Не с того ль, как лампы с абажуром,
Светятся медузы из воды?

Оттого
При встрече иностранки
И под скрипы
Шхун и кораблей
Слышу голос
Плачущей шарманки
Иль далекий
Окрик журавлей.

Не она ли это?
Не она ли?
Но да разве в жизни
Разберешь?
Если вот сейчас ее
Догнали
И умчали
Брюки клеш.

Каждый день
Я прихожу на пристань,
Провожая всех,
Кого не жаль,
И гляжу все тягостней
И пристальней
В очарованную даль.

А другие здесь
Живут иначе.
И недаром ночью
Слышен свист, —
Это значит,
С ловкостью собачьей
Пробирается контрабандист.

Пограничник не боится
Быстри.
Не уйдет подмеченный им
Враг,
Оттого так часто
Слышен выстрел
На морских, соленых
Берегах.

Но живуч враг,
Как ни вздынь его,
Потому синее
Весь Батум,
Даже море кажется мне
Индиго
Под бульварный
Смех и шум.

А смеяться есть чему
Причина.
Ведь не так уж много
В мире див.
Ходит полоумный
Старичина,
Петуха на темень посадив.

Сам смеясь,
Я вновь иду на пристань,
Провожая всех,
Кого не жаль,
И гляжу все тягостней
И пристальней
В очарованную даль.

1925

МОЙ ПУТЬ

Жизнь входит в берега.
Села давнишний житель,
Я вспоминаю то,
Что видел я в краю.
Стихи мои,
Спокойно расскажите
Про жизнь мою.

Изба крестьянская.
Хомутный запах дегтя,
Божница старая,
Лампады кроткий свет.
Как хорошо,
Что я сберег те
Все ощущенья детских лет.

Под окнами
Костер метели белой.
Мне девять лет,
Лежанка, бабка, кот...
И бабка что-то грустное,
Степное пела,
Порой зевая
И крестя свой рот.

Метель ревела.
Под оконцем
Как будто бы плясали мертвецы.
Тогда империя
Вела войну с японцем,
И всем далекие
Мерещились кресты.

Тогда не знал я
Черных дел России.
Не знал, зачем
И почему война.
Рязанские поля,
Где мужики косили,
Где сеяли свой хлеб, —
Была моя страна.

Я помню только то,
Что мужики роптали,
Бранились в черта,
В бога и в царя.
Но им в ответ
Лишь улыбались дали
Да наша жидкая
Лимонная заря.

Тогда впервые
С рифмой я схлестнулся.
От сонма чувств
Вскружилась голова.
И я сказал:
Коль этот зуд проснулся,
Всю душу выплещу в слова.

Года далекие,
Теперь вы как в тумане.
И помню, дед мне
С грустью говорил:
«Пустое дело...
Ну, а если тянет —
Пиши про рожь,
Но больше про кобыл».

Тогда в мозгу,
Влеченьем к музе сжатом,
Текли мечтанья
В тайной тишине,
Что буду я
Известным и богатым
И будет памятник
Стоять в Рязани мне.

В пятнадцать лет
Влюбил я до печенок
И сладко думал,
Лишь уединюсь,
Что я на этой
Лучшей из девчонок,
Достигнув возраста, женюсь.

.
Года текли.
Года меняют лица,
Другой на них
Ложится свет.
Мечтатель сельский —
Я в столице
Стал первокласснейший поэт.

И, заболев
Писательскою скукой,
Пошел скитаться я
Средь разных стран,
Не веря встречам,
Не томясь разлукой,
Считая мир весь за обман.

Тогда я понял,
Что такое Русь.
Я понял, что такое слава.
И потому мне
В душу грусть
Вошла, как горькая отрав.

На кой мне черт,
Что я поэт! . . .
И без меня в достатке дряни.
Пускай я сдохну,
Только . . .
Нет,
Не ставьте памятник в Рязани!

Россия . . . Царщина . . .
Тоска . . .
И снисходительность дворянства.
Ну что ж!
Так принимай, Москва,
Отчаянное хулиганство.
Посмотрим —
Кто кого возьмет.

И вот в стихах моих
Забил

В салонный вылощенный
Сброд
Мочой рязанская кобыла.

Не нравится?
Да, вы правы —
Привычка к Лориган
И к розам...
Но этот хлеб,
Что жрете вы, —
Ведь мы его того-с...
Навозом...

Еще прошли года.
В годах такое было,
О чем в словах
Всего не рассказать:
На смену царщине
С величественной силой
Рабочая предстала рать.

Устав таскаться
По чужим пределам,
Вернулся я
В родимый дом.
Зеленокосая,
В юбчонке белой,
Стоит береза над прудом.

Уж и береза!
Чудная... А груди...
Таких грудей
У женщин не найдешь.
С полей, обрызганные солнцем,
Люди
Везут навстречу мне
В телегах рожь.

Им не узнать меня,
Я им прохожий.
Но вот проходит
Баба, не взглянув.
Какой-то ток

Невыразимой дрожи
Я чувствую во всю спину.

Ужель она?
Ужели не узнала?
Ну и пускай,
Пускай себе пройдет...
И без меня ей
Горечи немало —
Недаром лег
Страдальчески так рот.

По вечерам,
Надвинув ниже кепи,
Чтобы не выдать
Холода очей, —
Хожу смотреть я
Скошенные степи
И слушать,
Как звенит ручей.

Ну что же?
Молодость прошла!
Пора приняться мне
За дело,
Чтоб озорливая душа
Уже по-зрелому запела.
И пусть иная жизнь села
Меня наполнит
Новой силой,
Как раньше
К славе привела
Родная русская ксбыла.

1925

ПИСЬМО К СЕСТРЕ

О Дельвиге писал наш Александр,
О черепе выласкивал он
Строки,
Такой прекрасный и такой далекий,
Но все же близкий,
Как цветущий сад!

Привет, сестра!
Привет, привет!
Крестьянин я иль не крестьянин?!
Ну как теперь ухаживает дед
За вишнями у нас, в Рязани?

Ах, эти вишни!
Ты их не забыла?
И сколько было у отца хлопот,
Чтоб наша тощая
И рыжая кобыла
Выдерживала плугом корнеплод.

Отцу картофель нужен.
Нам был нужен сад.
И сад губили,
Да, губили, душка!
Об этом знает мокрая подушка
Немножко... Семь...
Иль восемь лет назад.

Я помню праздник,
Звонкий праздник мая.
Цвела черемуха,
Цвела сирень.
И, каждую березку обнимая,
Я был пьяней,
Чем синий день.

Березки!
Девушки-березки!
Их не любить лишь может тот,
Кто даже в ласковом подростке
Предугадать не может плод.

Сестра! Сестра!
Друзей так в жизни мало!
Как и на всех,
На мне лежит печать...
Коль сердце нежное твое
Устало,
Заставь его забыть и замолчать.

Ты Сашу знаешь,
Саша был хороший.
И Лермонтов
Был Саше по плечу.
Но болен я...
Сиреновой порошей
Теперь лишь только
Душу излечу.

Мне жаль тебя —
Останешься одна, —
А я готов дойти
Хоть до дуэли.
«Блажен, кто не допил до дна»¹
И не дослушал глас свирели.
Но сад наш! . .
Сад. . .
Ведь и по нем весной
Пройдут твои
Заласканные дети.
О!
Пусть они
Помянут невпопад,
Что жили. . .
Чудаки на свете.

1925

СОБАКЕ КАЧАЛОВА

Дай, Джим, на счастье лапу мне,
Такую лапу не видал я сроду.
Давай с тобой полаем при луне
На тихую, бесшумную погоду.
Дай, Джим, на счастье лапу мне.

Пожалуйста, голубчик, не лижись.
Пойми со мной хоть самое простое.
Ведь ты не знаешь, что такое жизнь.
Не знаешь ты, что жить на свете стоит.

¹ Слова Пушкина.

Хозяин твой и мил и знаменит,
И у него гостей бывает в доме много,
И каждый, улыбаясь, норовит
Тебя по шерсти бархатной потрогать.

Ты по-собачьи дьявольски красив,
С такою милою доверчивой приятцей.
И, никого ни капли не спросив,
Как пьяный друг, ты лезешь целоваться.

Мой милый Джим, среди твоих гостей
Так много всяких и невсяких было.
Но та, что всех безмолвней и грустней,
Сюда случайно вдруг не заходила?

Она придет, даю тебе поруку.
И без меня, в ее уставясь взгляд,
Ты за меня лизни ей нежно руку
За все, в чем был и не был виноват.

1925

* * *

Несказанное, синее, нежное,
Тих мой край после бурь, после гроз,
И душа моя, поле безбрежное,
Дышит запахом меда и роз.

Я утих. Годы сделали дело,
Но того, что прошло, не кляню.
Словно тройка коней оголтелая
Прокатилась во всю страну.

Напылили кругом. Накоптылили.
И пропали под дьявольский свист.
А теперь вот в лесной обители
Даже слышно, как падает лист.

Колокольчик ли? Дальнее эхо ли?
Все спокойно впивает грудь.
Стой, душа, мы с тобой проехали
Через бурный положенный путь.

Разберемся во всем, что видели,
Что случилось, что стало в стране,
И простим, где нас горько обидели
По чужой и по нашей вине.

Принимаю, что было и не было,
Только жаль на тридцатом году —
Слишком мало я в юности требовал,
Забываясь в кабацком чаду.

Но ведь дуб молодой, не разжолудясь,
Так же гнется, как в поле трава. . .
Эх ты, молодость, буйная молодость,
Золотая сорвиголова!

1925

* * *

Заря окликает другую,
Дымится овсяная гладь. . .
Я вспомнил тебя, дорогую,
Моя одряхлевшая мать.

Как прежде, ходя на пригорок,
Костыль свой сжимая в руке,
Ты смотришь на лунный опорок,
Плывущий по сонной реке.

И думаешь горько, я знаю,
С тревогой и грустью большой,
Что сын твой по отчому краю
Совсем не болеет душой.

Потом ты идешь до погоста
И, в камень уставясь в упор,
Вздыхаешь так нежно и просто
За братьев моих и сестер.

Пускай мы росли ножевые,
А сестры росли, как май,
Ты все же глаза живые
Печально не подымай.

Довольно скорбеть! Довольно!
И время тебе подсмотреть,
Что яблоне тоже больно
Терять своих листьев медь.

Ведь радость бывает редко,
Как вешняя звень поутру,
И мне — чем сгнивать на ветках —
Уж лучше сгореть на ветру.

1925

ПЕСНЯ

Есть одна хорошая песня у соловушки —
Песня панихидная по моей головушке.

Цвела — забубенная, росла — ножевая,
А теперь вдруг свесилась, словно неживая.

Думы мои, думы! Боль в висках и темени.
Промотал я молодость без поры, без времени.

Как случилось-стало, сам не понимаю,
Ночью жесткую подушку к сердцу прижимаю.

Лейся, песня звонкая, вылей трель упылую.
В темноте мне кажется — обнимаю милую.

За окном гармоника и сиянье месяца,
Только знаю — милая никогда не встретится.

Эх, любовь-калинушка, кровь — заря вишневая,
Как гитара старая и как песня новая.

С теми же улыбками, радостью и муками,
Что певалось дедами, то поется внуками.

Пейте, пойте в юности, бейте в жизнь без промаха —
Все равно любимая отцветет черемухой.

Я отцвел не знаю где. В пьянстве, что ли? В славе ли?
В молодости нравился, а теперь оставили.

Потому хорошая песня у соловушки,
Песня панихидная по моей головушке.

Цвела — забубенная, была — ножевая.
А теперь вдруг свесилась, словно неживая.

1925

* * *

Не вернусь я в отчий дом,
Вечно странствующий странник.
Об ушедшем над прудом
Пусть тоскует конопляник.

Пусть неровные луга
Обо мне поют крапивой, —
Брызжет полночью дуга,
Колокольчик говорливый.

Высоко стоит луна,
Даже шапки не докинуть.
Песне тайна не дана,
Где ей жить и где погинуть.

Но на склоне наших лет
В отчий дом ведут дороги.
Повезут глухие дроги
Полутруп, полускелет.

Ведь недаром с давних пор
Поговорка есть в народе:
Даже пес в хозяйский двор
Издыхать всегда приходит.

Ворочусь я в отчий дом —
Жил и не жил бедный странник. . .

.
В синий вечер над прудом
Прослезится конопляник.

1925



Ну, целуй меня, целуй,
Хоть до крови, хоть до боли.
Не в ладу с холодной волей
Кипяток сердечных струй.

Опрокинутая кружка
Средь веселых не для нас.
Понимай, моя подружка,
На земле живут лишь раз!

Оглядись спокойным взором,
Посмотри: во мгле сырой
Месяц, словно жолтый ворон,
Кружит, вьется над землей.

Ну, целуй же! Так хочу я.
Песню тлен пропел и мне.
Видно, смерть мою почувал
Тот, кто вьется в вышине.

Увядающая сила!
Умирать — так умирать!
До кончины губы милой
Я хотел бы целовать.

Чтоб все время в синих дремах,
Не стыдась и не тая,
В нежном шелесте черемух
Раздавалось: «Я твоя».

И чтоб свет над полной кружкой
Легкой пеной не погас —
Пей и пой, моя подружка:
На земле живут лишь раз!

1925

* * *

Синий май. Заревая теплынь.
Не прозвякнет кольцо у калитки.
Липким запахом веет полынь.
Спит черемуха в белой накидке.

В деревянные крылья окна
Вместе с рамами в тонкие шторы
Вяжет взбалмошная луна
На полу кружевные узоры.

Наша горница хоть и мала,
Но чиста. Я с собой на досуге. . .
В этот вечер вся жизнь мне мила,
Как приятная память о друге.

Сад польшет, как пенный пожар,
И луна, напрягая все силы,
Хочет так, чтобы каждый дрожал
От щемящего слова «милый».

Только я в эту цветь, в эту гладь,
Под тальянку веселого мая,
Ничего не могу пожелать,
Все, как есть, без конца принимая.

Принимаю — приди и явись,
Все явись, в чем ссть боль и отрада. . .
Мир тебе, отшумевшая жизнь.
Мир тебе, голубая прохлада.

1925

* * *

Неуютная жидкая лунность
И тоска бесконечных равнин, —
Вот что видел я в резвую юность,
Что, любя, проклинал не один.

По дорогам усохшие вербы
И тележная песня колес. . .
Ни за что не хотел я теперь бы,
Чтоб мне слушать ее привелось.

Равнодушен я стал к лачугам,
И очажный огонь мне немил,
Даже яблонь весеннюю вьюгу
Я за бедность полей разлюбил.

Мне теперь по душе иное. . .
И в чахоточном свете луны
Через каменное и стальное
Вижу мощь я родной стороны.

Полевая Россия! Довольно
Волочиться сохой по полям!
Нищету твою видеть больно
И березам и тополям.

Я не знаю, что будет со мною. . .
Может, в новую жизнь не гожусь,
Но и все же хочу я стальнойю
Видеть бедную, нищую Русь.

И, внимая моторному лаю
В сонме вьюг, в сонме бурь и гроз,
Ни за что я теперь не желаю
Слушать песню тележных колес.

1925

1 МАЯ

Есть музыка, стихи и танцы,
Есть ложь и лесть. . .
Пускай меня бранят за стансы —
В них правда есть.

Я видел праздник, праздник мая —
И поражен.
Готов был сгибнуть, обнимая
Всех дев и жен.

Куда пойдешь, кому расскажешь
На чье-то «хны»,
Что в солнечной купались пряде
Балаханы?

Ну как тут в сердце гимн не высечь,
Не впасть как в дрожь?
Гуляли, пели сорок тысяч
И пили тож.

Стихи! Стихи! не очень лефте!
Простей! Простей!
Мы пили за здоровье нефти
И за гостей.

И, первый мой бокал вздымая,
Одним кивком
Я выпил в этот праздник мая
За Совнарком.

Второй бокал, чтоб так, не очень
В дрезину лечь,
Я выпил гордо за рабочих,
Под чью-то речь.

И третий мой бокал я выпил,
Как некий хан,
За то, чтоб не сгибалась в хрипе
Судьба крестьян.

Пей, сердце! Только не в упор ты,
Чтоб жизнь губя...
Вот потому я пил четвертый
Лишь за себя.

1925

* * *

Прощай, Баку! Тебя я не увижу.
Теперь в душе печаль, теперь в душе испуг.
И сердце под рукой теперь больней и ближе.
И чувствую сильней простое слово: друг.

Прощай, Баку! Синь тюркская, прощай!
Хладеет кровь, ослабевают силы.
Но донесу, как счастье, до могилы
И волны Каспия и балаханский май.

Прощай, Баку! Прощай, как песнь простая!
В последний раз я друга обниму...
Чтоб голова его, как роза золотая,
Кивала нежно мне в сиреневом дыму.

1925

* * *

Вижу сон. Дорога черная.
Белый конь. Стопа упорная.
И на этом на коне
Едет милая ко мне.
Едет, едет милая,
Только нелюбимая.

Эх, береза русская!
Путь-дорога узкая.
Эту милую, как сон,
Лишь для Той, в кого влюблен,
Удержи ты ветками,
Как руками меткими.

Светит месяц. Синь и сонь.
Хорошо копытит конь.
Свет такой таинственный,
Словно для Единственной —
Той, в которой тот же свет
И которой в мире нет.

Хулиган я, хулиган.
От стихов дурак и пьян.
Но и все ж за эту прыть,
Чтобы сердцем не остыть,
За березовую Русь
С нелюбимой помирюсь.

1925

* * *

Спит ковыль. Равнина дорогая
И свинцово́й свежести полынь.
Никакая родина другая
Не вольет мне в грудь мою теплынь.

Знать, у всех у нас такая участь,
И, пожалуй, всякого спроси —
Радуясь, свирепствуя и мучась,
Хорошо живетсЯ на Руси.

Свет луны, таинственный и длинный,
Плачут вербы, шепчут тополя.
Но никто под окрик журавлиный
Не разлюбит отчие поля.

И теперь, когда вот новым светом
И моей коснулась жизнь судьбы,
Все равно остался я поэтом
Золотой бревенчатой избы.

По ночам, прижавшись к изголовью,
Вижу я, как сильного врага,
Как чужая юность брызжет новью
На мои поляны и луга.

Но и все же, новью той теснимый,
Я могу прочувственно пропеть:
Дайте мне на родине любимой,
Все любя, спокойно умереть.

1925

* * *

Я иду долиной. На затылке кепи.
В лайковой перчатке смуглая рука.
Далеко сияют розовые степи,
Широко синее тихая река.

Я — беспечный парень. Ничего не надо.
Только б слушать песни — сердцем подпевать,

Только бы струилась легкая прохлада,
Только б не сгибалась молодая стать.

Выйду за дорогу, выйду под откосы, —
Сколько там нарядных мужиков и баб!
Что-то шепчут грабли, что-то свищут косы.
«Эй, поэт, послушай, слаб ты иль не слаб?»

На земле милее. Полно плавать в небо.
Как ты любишь доли, так бы труд любил.
Ты ли деревенским, ты ль крестьянским не был?
Размахнись косою, покажи свой пыл».

Ах, перо не грабли, ах, коса не ручка —
Но косою выводят строчки хоть куда.
Под весенним солнцем, под весенней тучкой
Их читают люди всякие года.

К черту я снимаю свой костюм английский.
Что же, дайте косу, я вам покажу —
Я ли вам не свойский, я ли вам не близкий,
Памятью деревни я ль не дорожу?

Нипочем мне ямы, нипочем мне кочки.
Хорошо косою в утренний туман
Выводить по долам травяные строчки,
Чтобы их читали лошадь и баран.

В этих строчках песня, в этих строчках слово.
Потому и рад я в думах ни о ком,
Что читать их может каждая корова,
Отдавая плату теплым молоком.

1925

Я ПОМНЮ

Я помню, любимая, помню
Сиянье твоих волос.
Нерадостно и нелегко мне
Покинуть тебя привелось.

Я помню осенние ночи,
Березовый шорох теней,
Пусть дни тогда были короче,
Луна нам светила длинней.

Я помню, ты мне говорила:
«Пройдут голубые года,
И ты позабудешь, мой милый,
С другою меня навсегда».

Сегодня цветущая липа
Напомнила чувствам опять,
Как нежно тогда я сыпал
Цветы на кудрявую прядь.

И сердце, остыть не готовясь
И грустно другую любя,
Как будто любимую повесть
С другой вспоминает тебя.

1925

* * *

Каждый труд благослови, удача.
Рыбаку — чтоб с рыбой невода,
Пахарю — чтоб плуг его и кляча
Доставали хлеба на года.

Воду пьют из кружек и стаканов,
Из кувшинок также можно пить —
Там, где омут розовых туманов
Не устанет берег золотить.

Хорошо лежать в траве зеленой
И, впиваясь в призрачную гладь,
Чей-то взгляд, ревнивый и влюбленный,
На себе, уставшем, вспоминать.

Коростели свищут... коростели...
Потому так и светлы всегда
Те, что в жизни сердцем опростели
Под веселой ношею труда.

Только я забыл, что я — крестьянин,
И теперь рассказываю сам,
Соглядатай праздный, я ль не странен
Дорогим мне пашням и лесам.

Словно жаль кому-то и кого-то,
Словно кто-то к родине отвык,
И с того, поднявшись над болотом,
В душу плачут чибис и кулик.

1925

* * *

Видно, так заведено навеки —
К тридцати годам перебежась,
Все сильней, прожжонные калекки,
С жизнью мы удерживаем связь.

Милая, мне скоро стукнет тридцать,
И земля милей мне с каждым днем.
Оттого и сердцу стало сниться,
Что горю я розовым огнем.

Коль гореть, так уж гореть сгорая,
И недаром в липовую цветъ
Вынул я кольцо у попугая —
Знак того, что вместе нам сгореть.

То кольцо надела мне цыганка.
Сняв с руки, я дал его тебе,
И теперь, когда грустит шарманка,
Не могу не думать, не робеть.

В голове болотный бродит омут,
И на сердце изморозь и мгла:
Может быть, кому-нибудь другому
Ты его со смехом отдала?

Может быть, целуясь до рассвета,
Он тебя спрашивает сам,

Как смешного, глупого поэта
Привела ты к чувственным стихам.

Ну и что ж! пройдет и эта рана.
Только горько видеть жизни край.
В первый раз такого хулигана
Обманул проклятый попугай.

1925

* * *

Жизнь — обман с чарующей тоскою,
Оттого так и сильна она,
Что своею грубою рукою
Роковые пишет письма.

Я всегда, когда глаза закрою,
Говорю: «Лишь сердце потревожь,
Жизнь — обман, но и она порою
Украшает радостями ложь.

Обратись лицом к седому небу,
По луне гадая о судьбе,
Успокойся, смертный, и не требуй
Правды той, что не нужна тебе».

Хорошо в черемуховой вьюге
Думать так, что эта жизнь — стезя.
Пусть обманут легкие подруги,
Пусть изменят легкие друзья.

Пусть меня ласкают нежным словом,
Пусть острее бритвы злой язык, —
Я живу давно на все готовым,
Ко всему безжалостно привык.

Холодят мне душу эти выси,
Нет тепла от звездного огня.

Те, кого любил я, отрекся,
Кем я жил — забыли про меня.

Но и все ж, теснимый и гонимый,
Я, смотря с улыбкой на зарю,
На земле, лишь близкой и любимой,
Эту жизнь за все благодарю.

1925

* * *

Гори, звезда моя, не падай,
Роняй холодные лучи.
Ведь за кладбищенской оградой
Живое сердце не стучит.

Ты светишь августом и рожью
И наполняешь тишь полей
Такой рыдалистою дрожью
Неотлетевших журавлей.

И, голову вздымая выше,
Не то за рощей — за холмом
Я снова чью-то песню слышу
Про отчий край и отчий дом.

И золотеющая осень,
В березах убавляя сок,
За всех, кого любил и бросил,
Листою плачет на песок.

Я знаю, знаю. Скоро, скоро
Ни по моей, ни чьей вине
Под низким траурным забором
Лежать придется так же мне.

Погаснет ласковое пламя,
И сердце превратится в прах.

Друзья поставят серый камень
С веселой надписью в стихах.

Но, погребальной грусти внемля,
Я для себя сложил бы так:
Любил он родину и землю,
Как любит пьяница кабак.

1925

* * *

Листья падают, листья падают.
Стонет ветер,
Протяжен и глух.
Кто же сердце порадует?
Кто успокоит, мой друг?

С отягченными веками
Я смотрю и смотрю на луну.
Вот опять петухи кукарекнули
В обосененную тишину.

Предрабасветное. Синее. Раннее.
И летающих звезд благодать.
Загадать бы какое желание,
Да не знаю, чего пожелать.

Что желать под житейскою ношею,
Проклиная удел свой и дом?
Я хотел бы теперь хорошую
Видеть девушку под окном.

Чтоб с глазами она васильковыми
Только мне —
Не кому-нибудь —
И словами и чувствами новыми
Успокоила сердце и грудь.

Чтоб под этою белою лунностью,
Принимая счастливый удел,
Я над песней не таял, не млея
И с чужою веселою юностью
О своей никогда не жалел.

1925

* * *

Над окошком месяц. Под окошком ветер.
Облетевший тополь серебрист и светел.
Дальний плач тальянки, голос одинокий —
И такой родимый, и такой далекий.

Плачет и смеется песня лиховая.
Где ты, моя липа? липа вековая?

Я и сам когда-то в праздник спозаранку
Выходил к любимой, развернув тальянку.

А теперь я милой ничего не значу.
Под чужую песню и смеюсь и плачу.

1925

* * *

Сыпь, тальянка, звонко, сыпь, тальянка, смело,
Вспомнить, что ли, юность, ту, что пролетела?
Не шуми осина, не пыли, дорога.
Пусть несется песня к милой до порога.

Пусть она услышит, пусть она поплачет,
Ей чужая юность ничего не значит.
Ну, а если значит — проживет не мучась.
Где ты, моя радость? Где ты, моя участь?

Лейся, песня, пуше, лейся, песня, звяньше.
Все равно не будет то, что было раньше.
За былую силу, гордость и осанку
Только и осталась песня под тальянку.

1925

* * *

Сестре Шуре

Я красивых таких не видел,
Только, знаешь, в душе затаю
Не в плохой, а в хорошей обиде —
Повторяешь ты юность мою.

Ты — мое васильковое слово,
Я навеки люблю тебя.
Как живет теперь наша корова,
Грусть соломенную теребя?

Запоешь ты, а мне любимо,
Исцеляй меня детским сном.
Отгорела ли наша рябина,
Осыпаясь под белым окном?

Что поет теперь мать за куделью?
Я навеки покинул село.
Только знаю — багряной метелью
Нам листвы на крыльцо намело.

Знаю то, что о нас с тобой вместе
Вместо ласки и вместо слез
У ворот, как о сгибшей невесте,
Тихо воеет покинутый пес.

Но и все ж возвращаться не надо.
Потому и достался не в срок,
Как любовь, как печаль и отрада,
Твой красивый рязанский платок.

1925

* * *

Сестре Шуре

Ах, как много на свете кошек!
Нам с тобой их не счесть никогда.
Сердцу снится душистый горошек,
И звенит голубая звезда.

Наяву ли, в бреду, иль спросонок,
Только помню с далекого дня —
На лежанке мурлыкал котенок,
Безразлично смотря на меня.

Я еще тогда был ребенок, —
Но под бабкину песню вскок
Он бросался, как юный тигренок,
На оброненный ею клубок.

Все прошло. Потерял я бабку,
А еще через несколько лет
Из кота того сделали шапку,
А ее износил наш дед.

1925

* * *

Сестре Шуре

В этом мире я только прохожий,
Ты махни мне веселой рукой.
У осеннего месяца тоже
Свет ласкающий, тихий такой.

В первый раз я от месяца греюсь,
В первый раз от прохлады согрет.
И опять и живу и надеюсь
На любовь, которой уж нет.

Это сделала наша равнищность,
Посоленная белью песка,
И измятая чья-то невинность,
И кому-то родная тоска.

Потому и навеки не скрою,
Что любить не отдельно, не врозь —
Нам одною любовью с тобою
Эту родину привелось.

1925

Сестре Шуре

Ты запой мне ту песню, что прежде
Напевала нам старая мать.
Не жалея о сгибшей надежде,
Я сумею тебе подпевать.

Я ведь знаю, и мне знакомо,
Потому и волнуй и тревожь —
Будто я из родимого дома
Слышу в голосе нежную дрожь.

Ты мне пой, ну, а я с такою,
Вот с такою же песней, как ты,
Лишь немного глаза прикрою —
Вижу вновь дорогие черты.

Ты мне пой. Ведь моя отрада —
Что вовек я любил не один
И калитку осеннего сада
И опавшие листья с рябин.

Ты мне пой, ну, а я припомню
И не буду забывчиво хмур.
Так приятно и так легко мне
Видеть мать и тоскующих кур.

Я навек за туманы и росы
Полюбил у березки стан
И ее золотистые косы
И холщовый ее сарафан.

Потому так и сердцу не жестко —
Мне за песнею и за вином
Показалась ты той березкой,
Что стоит под родимым окном.

1925

Эх вы, сани! А кони, кони!
Видно, черт их на землю принес.
В заливчатском степном разгоне
Колокольчик хохочет до слез.

Ни луны, ни собачьего лая
Вдалеке, в стороне, в пустыре.
Поддержись, моя жизнь удалая,
Я еще не навек постарел.

Пой, ямщик, вопрекор этой ночи, —
Хочешь, сам я тебе подпою
Про лукавые девичьи очи,
Про веселую юность мою.

Эх, бывало, заломишь шапку,
Да заложишь в оглобли коня,
Да приляжешь на сена охапку, —
Вспоминай лишь, как звали меня.

И откуда бралась осанка.
А в полуночную тишину
Разговорчивая тальянка
Уговаривала не одну.

Все прошло. Поредел мой волос.
Конь издох, опустел наш двор.
Потеряла тальянка голос,
Разувившись вести разговор.

Но и все же душа не остыла.
Так приятны мне снег и мороз,
Потому что над всем, что было,
Колокольчик хохочет до слез.

1925

Снежная замять дробится и колется,
Сверху озябшая светит луна.
Снова я вижу родную околицу,
Через метель — огонек у окна.

Все мы бездомники, много ли нужно нам —
То, что далось мне, про то и пою.
Вот я опять за родительским ужином,
Снова я вижу старушку мою.

Смотрит, а очи слезятся, слезятся.
Тихо, безмолвно, как будто без мук.
Хочет за чайную чашку взяться,
Чайная чашка скользит из рук.

Милая, добрая, старая, нежная,
С думами грустными ты не дружись.
Слушай — под эту гармонику снежную
Я расскажу про свою тебе жизнь.

Много я видел и много я странствовал.
Много любил я и много страдал —
И оттого хулиганил и пьянствовал,
Что лучше тебя никого не видал.

Вот и опять у лежанки я греюсь,
Сбросил ботинки, пиджак свой раздел.
Снова я ожил и снова надеюсь
Так же, как в детстве, на лучший удел.

А за окном под метельные всхлипы,
В диком и шумном метельном чаду,
Кажется мне — осыпаются липы,
Белые липы в нашем саду.

1925

* * *

Синий туман. Снеговое раздолье.
Тонкий лимонный лунный свет.
Сердцу приятно с тихою болью
Что-нибудь вспомнить из ранних лет.

Снег у крыльца как песок зыбучий.
Вот при такой же луне без слов,
Шапку из кошки на лоб нахлобучив,
Тайно покинул я отчий дом.

Снова вернулся я в край родимый.
Кто меня помнит? Кто позабыл?
Грустно стою я, как странник гонимый, —
Старый хозяин своей избы.

Молча я комкаю новую шапку,
Не по душе мне соболий мех.
Вспомнил я дедушку, вспомнил я бабуку,
Вспомнил кладбищенский рыхлый снег.

Все успокоились, все там будем,
Как в этой жизни радей не радей, —
Вот почему так тянусь я к людям,
Вот почему так люблю людей.

Вот отчего я чуть-чуть не заплакал
И, улыбаясь, душой погас, —
Эту избу на крыльце с собакой
Словно я вижу в последний раз.

1925

* * *

Слышишь — мчатся сани, слышишь — сани мчатся,
Хорошо с любимой в поле затеряться.

Ветерок веселый робок и застенчив,
По равнине голой катится бубенчик.

Эх вы, сани, сани! Конь ты мой буланый!
Где-то на поляне клен танцует пьяный.

Мы к нему подъедем, спросим — что такое?
И станцуем вместе под тальянку трое.

1925

* * *

Голубая кофта. Синие глаза.
Никакой я правды милой не сказал.

Милая спросила: «Крутит ли метель?
Затопить бы печку, постелить постель».

Я ответил милой: «Нынче с высоты
Кто-то осыпает белые цветы.

Затопи ты печку, постели постель,
У меня на сердце без тебя метель».

1925

* * *

Снежная замять крутит бойко,
По полю мчится чужая тройка.

Мчится на тройке чужая младость,
Где мое счастье? Где моя радость?

Все укатилось под вихрем бойким
Вот на такой же бешеной тройке.

1925

* * *

Вечером синим, вечером лунным
Был я когда-то красивым и юным.
Неудержимо, неповторимо
Все пролетело... далече... мимо...
Сердце остыло, и вывели очи...
Синее счастье! Лунные ночи!

1925

* * *

Не криви улыбку, руки беребя,
Я люблю другую, только не тебя.

Ты сама ведь знаешь, знаешь хорошо —
Не тебя я вижу, не к тебе пришел.

Проходил я мимо, сердцу все равно —
Просто захотелось заглянуть в окно.

1925

* * *

Плачет метель, как цыганская скрипка.
Милая девушка, злая улыбка,
Я ль не робею от синего взгляда?
Много мне нужно и много не надо.

Так мы далеки и так не схожи —
Ты молодая, а я все прожил.
Юношам счастье, а мне лишь память
Снежною ночью в лихую замять.

Я не заласкан — буря мне скрипка.
Сердце метелит твоя улыбка.

1925

* * *

Ах, метель такая, просто черт возьми.
Забивает крышу белыми гвоздями.
Только мне не страшно, и в моей судьбе
Непутевым сердцем я прибит к тебе.

1925

* * *

Снежная равнина, белая луна,
Саваном покрыта наша сторона.
И березы в белом плачут по лесам.
Кто погиб здесь? Умер? Уж не я ли сам?

1925

* * *

Сочинитель бедный, это ты ли
Сочиняешь песни о луне?
Уж давно глаза мои остыли
На любви, на картах и вине.

Ах, луна влезает через раму —
Свет такой, хоть выколи глаза...
Ставил я на пиковую даму,
А сыграл бубнового туза.

1925

* * *

Свищет ветер, серебряный ветер,
В шелковом шелесте снежного шума.
В первый раз я в себе заметил —
Так я еще никогда не думал.

Пусть на окошках гнилая сырость,
Я не жалею, и я не печален.
Мне все равно эта жизнь полюбилась,
Так полюбилась, как будто вначале.

Взглянет ли женщина с тихой улыбкой —
Я уж взволнован. Какие плечи!
Тройка ль проскачет дорогой зыбкой —
Я уже в ней и скачу далече.

О, мое счастье и все удачи,
Счастье людское землей любимо.
Тот, кто хоть раз на земле заплачет,
Значит, удача промчалась мимо.

Жить нужно легче, жить нужно проще,
Все принимая, что есть на свете.
Вот почему, обалдев над рощей,
Свищет ветер, серебряный ветер.

1925

* * *

Мелколесье. Степь и дали.
Свет луны во все концы.
Вот опять вдруг зарыдали
Разливные бубенцы.

Неприглядная дорога,
Да любимая навек,
По которой ездил много
Всякий русский человек.

Эх вы, сани! Что за сани!
Звоны мерзлые осин.
У меня отец — крестьянин,
Ну, а я — крестьянский сын.

Наплевать мне на известность
И на то, что я поэт.
Эту чахленькую местность
Не видал я много лет.

Тот, кто видел хоть однажды
Этот край и эту гладь,
Тот почти березке каждой
Ножку рад поцеловать.

Как же мне не прослезиться,
Если с венкой в стынь и звень
Будет рядом веселиться
Юность русских деревень.

Эх, гармошка, смерть-отрава,
Знать, с того под этот вой
Не одна лихая слава
Пропадала трын-травой.

1925

ЦВЕТЫ

I

Цветы мне говорят — прощай,
Головками кивая низко.
Ты больше не увидишь близко
Родное поле, отчий край.
Любимые! Ну что ж, ну что ж!
Я видел вас и видел землю,
И эту гробовую дрожь
Как ласку новую приемлю.

II

Весенний вечер. Синий час.
Ну как же не любить мне вас,
Как не любить мне вас, цветы?
Я с вами выпил бы на ты.
Шуми левкой и резеда.
С моей душой стряслась беда,
С душой моей стряслась беда,
Шуми левкой и резеда.

III

Ах, колокольчик! твой ли пыл
Мне в душу песней позвонил
И рассказал, что васильки
Очей любимых далеки.

Не пой! не пой мне! Пощади.
И так огонь горит в груди.
Она пришла, как в рифме, «вновь»
Неразлучимая любовь.

IV

Цветы мои! не всякий мог
Узнать, что сердцем я продрог,
Не всякий этот холод в нем
Мог растопить своим огнем,
Не всякий, длани кто простер,
Поймать сумеет долю злую.
Как бабочка — я на костер
Лечу и огненность целую.

V

Я не люблю цветы с кустов,
Не называю их цветами,
Хоть прикасаюсь к ним устами,
Но не найду к ним нежных слов.
Я только тот люблю цветок,
Который врос корнями в землю,
Его люблю я и приемлю,
Как северный наш василек.

VI

И на рябине есть цветы.
Цветы — предшественники ягод,
Они на землю градом лягут,
Багрец свергая с высоты.
Они не те, что на земле.
Цветы рябин другое дело.
Они как жизнь, как наше тело,
Делимое в предвечной мгле.

VII

Любовь моя! прости, прости.
Ничто не обошел я мимо.

Но мне милее на пути,
Что для меня неповторимо:
Неповторимы ты и я.
Помрем — за нас придут другие.
Но это все же не такие —
Уж я не твой, ты не моя.

VIII

Цветы, скажите мне — прощай,
Головками кивая низко,
Что не увидать больше близко
Ее лицо, любимый край.
Ну что ж! пускай не увидать!
Я поражен другим цветеньем
И потому словесным пенъем
Земную буду славить гладь.

IX

А люди разве не цветы?
О милая, почувствуй ты,
Здесь не пустынные слова.
Как стебель тулово качая,
А эта разве голова
Тебе не роза золотая?
Цветы людей и в солнь и стыть
Умеют ползать и ходить.

X

Я видел как цветы ходили
И сердцем стал с тех пор добрей,
Когда узнал, что в этом мире
То дело было в октябре.
Цветы сражались друг с другом,
И красный цвет был всех бойчей.
Их больше падало под вьюгой,
Но все же мощностью упругой
Они сразили палачей.

XI

Октябрь! Октябрь!
Мне страшно жаль
Те красные цветы, что пали.
Головку розы режет сталь,
Но все же не боюсь я стали.
Цветы ходячие земли!
Они и сталь сразят почище,
Из стали пустят корабли,
Из стали сделают жилища.

XII

И потому, что я постиг,
Что мир мне не монашья схима,
Я ласково влагаю в стих,
Что все на свете повторимо.
И потому, что я пою,
Пою и вовсе не впускаю,
Я милой голову мою
Отдам, как розу золотую.

1925

* * *

Цветы мне говорят — прощай,
Головками склоняясь ниже,
Что я навеки не увижу
Ее лицо и отчий край.

Любимая, ну что ж. Ну что ж.
Я видел их и видел землю,
И эту гробовую дрожь
Как ласку новую приемаю.

И потому, что я постиг
Всю жизнь, пройдя с улыбкой мимо, —
Я говорю на каждый миг,
Что все на свете повторимо.

Не все ль равно — придет другой,
Печаль ушедшего не сгложет,
Оставленной и дорогой
Пришедший лучше песню сложит.

И, песне внемля в тишине,
Любимая, с другим любимым,
Быть может, вспомнит обо мне
Как о цветке неповторимом.

1925

ЧОРНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен!
Сам не знаю, откуда взялась эта боль.
То ли ветер свистит
Над пустым и безлюдным полем,
То ль, как рошу в сентябрь,
Осыпает мозги алкоголь.

Голова моя машет ушами,
Как крыльями птица.
Ей на шее ноги
Маячить больше невмочь.
Чорный человек,
Чорный, чорный,
Чорный человек
На кровать ко мне садится,
Чорный человек
Спать не дает мне всю ночь.

Чорный человек
Водит пальцем по мерзкой книге
И, гнусавя надо мной,
Как над усопшим монах,
Читает мне жизнь
Какого-то прохвоста и забулдыги,
Нагоняя на душу тоску и страх.
Чорный человек,
Чорный, чорный!

— Слушай, слушай, —
Бормочет он мне, —
В книге много прекраснейших
Мыслей и планов.
Этот человек
Проживал в стране
Самых отвратительных
Громил и шарлатанов.

В декабре в той стране
Снег до дьявола чист,
И метели заводят
Веселые прялки.
Был человек тот авантюрист,
Но самой высокой
И лучшей марки.

Был он изящен,
К тому ж поэт,
Хоть с небольшой,
Но ухватистой силою,
И какую-то женщину,
Сорока с лишним лет,
Называл скверной девочкой
И своею милою.

«Счастье, — говорил он, —
Есть ловкость ума и рук.
Все неловкие души
За несчастных всегда известны.
Это ничего,
Что много мук
Приносят изломанные
И лживые жесты.

В грозы, в бури,
В житейскую стынь,
При тяжолых утратах
И когда тебе грустно,
Казаться улыбчивым и простым —
Самое высшее в мире искусство».

— Чорный человек!
Ты не смеешь этого!
Ты ведь не на службе
Живешь водолазовой.
Что мне до жизни
Скандального поэта!
Пожалуйста, другим
Читай и рассказывай.

Чорный человек
Глядит на меня в упор.
И глаза покрываются
Голубой блевотой, —
Словно хочет сказать мне,
Что я жулик и вор,
Так бесстыдно и нагло
Обокравший кого-то.

.

Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен.
Сам не знаю, откуда взялась эта боль.
То ли ветер свистит
Над пустым и безлюдным полем,
То ль, как рощу в сентябрь,
Осыпает мозги алкоголь.

Ночь морозная.
Тих покой перекрестка.
Я один у окошка,
Ни гостя, ни друга не жду.
Вся равнина покрыта
Сыпучей и мягкой известкой,
И деревья, как всадники,
Съехались в нашем саду.

Где-то плачет
Ночная зловещая птица.
Деревянные всадники
Сеют копытливый стук.
Вот опять этот чорный
На кресло мое садится,

Приподняв свой цилиндр
И откинув небрежно сюртук.

— Слушай, слушай! —
Хрипит он, смотря мне в лицо,
Сам все ближе
И ближе клонится, —
Я не видел, чтоб кто-нибудь
Из подлецов
Так ненужно и глупо
Страдал бессонницей.

Ах, положим, ошибся!
Ведь нынче луна.
Что же нужно еще
Напоенному дремой мируку?
Может, с толстыми ляжками
Тайно придет «она»,
И ты будешь читать
Свою дохлую томную лирику?

Ах, люблю я поэтов!
Забавный народ.
В них всегда нахожу я
Историю, сердцу знакомую, —
Как прыщавой курсистке
Длинноволосый урод
Говорит о мирах,
Половой истекая истомою.

Не знаю, не помню,
В одном селе,
Может, в Калуге,
А может, в Рязани,
Жил мальчик
В простой крестьянской семье,
Желтоволосый,
С голубыми глазами...

И вот стал он взрослым,
К тому ж поэт,
Хоть с небольшой,
Но ухватистой силою,

И какую-то женщину,
Сорока с лишним лет,
Называл скверной девочкой
И своею милою.

— Черный человек!
Ты прескверный гость.
Эта слава давно
Про тебя разносится.
Я взбешен, разъярен,
И летит моя трость
Прямо к морде его,
В переносицу...

.

...Месяц умер,
Синеет в окошко рассвет.
Ах ты, ночь!
Что ты, ночь, наковеркала?
Я в цилиндре стою.
Никого со мной нет.
Я один...
И разбитое зеркало...

1925

* * *

Клен ты мой опавший, клен заледенелый,
Что стоишь нагнувшись под метелью белой?

Или что увидел? Или что услышал?
Словно за деревню погулять ты вышел.

И, как пьяный сторож, выйдя на дорогу,
Утонул в сугробе, приморозил ногу.

Ах, и сам я нынче чтой-то стал нестойкий,
Не дойду до дома с дружеской попойки.

Там вон встретил вербу, там сосну приметил,
Распевал им песни под метель о лете.

Сам себе казался я таким же кленом,
Только не опавшим, а вовсю зеленым.

И, утратив скромность, одуревши в доску,
Как жену чужую, обнимал березку.

1925

* * *

Какая ночь! Я не могу.
Не спится мне. Такая лунность.
Еще как будто берегу
В душе утраченную юность.

Подруга охладевших лет,
Не называй игру любовью,
Пусть лучше этот лунный свет
Ко мне струится к изголовью.

Пусть искаженные черты
Он обрисовывает смело, —
Ведь разлюбить не сможешь ты,
Как полюбить ты не сумела.

Любить лишь можно только раз.
Вот оттого ты мне чужая,
Что липы тщетно манят нас,
В сугробы ноги погружая.

Ведь знаю я и знаешь ты,
Что в этот отсвет лунный, синий
На этих липах не цветы —
На этих липах снег да иней.

Что отлюбили мы давно,
Ты не меня, а я — другую,

И нам обоим все равно
Играть в любовь недорогую.

Но все ж ласкай и обнимай
В лукавой страсти поцелуя,
Пусть сердцу вечно спится май
И та, что навсегда люблю я.

1925

* * *

Не гляди на меня с упреком,
Я презренья к тебе не таю,
Но люблю я твой взор с поволокой
И лукавую кротость твою.

Да, ты кажешься мне распростертой,
И, пожалуй, увидеть я рад,
Как лиса, притворившись мертвой,
Ловит воронов и воронят.

Ну и что же, лови, я не струшу.
Только как бы твой пыл не погас?
На мою охладевшую душу
Натыкались такие не раз.

Не тебя я люблю, дорогая,
Ты лишь отзвук, лишь только тень.
Мне в лице твоём снится другая,
У которой глаза — голубень.

Пусть она и не выглядит кроткой
И, пожалуй, на вид холодна,
Но она величавой походкой
Всколыхнула мне душу до дна.

Вот такую едва ль отуманишь,
И не хочешь пойти, да пойдешь,
Ну, а ты даже в сердце не вранишь
Напоенную ласкою ложь.

Но и все же, тебя презирая,
Я смущенно откроюсь навек:
Если б не было ада и рая,
Их бы выдумал сам человек.

1925

* * *

Ты меня не любишь, не жалеешь,
Разве я немного не красив?
Не смотря в лицо, от страсти млеешь,
Мне на плечи руки опустив.

Молодая, с чувственным оскалом,
Я с тобой не нежен и не груб.
Расскажи мне, скольких ты ласкала?
Сколько рук ты помнишь? Сколько губ?

Знаю я — они прошли, как тени,
Не коснувшись твоего огня,
Многим ты садилась на колени,
А теперь сидишь вот у меня.

Пусть твои полузакрыты очи
И ты думаешь о ком-нибудь другом,
Я ведь сам люблю тебя не очень,
Утопая в дальнем дорогом.

Этот пыл не называй судьбою,
Легкодумна вспыльчивая связь, —
Как случайно встретился с тобою,
Улыбнись, спокойно разойдясь.

Да и ты пойдешь своей дорогой
Распылять безрадостные дни,
Только нецелованных не трогай,
Только не горевших не мани.

И когда с другим по переулку
Ты пройдешь, болтая про любовь,

Может быть, я выйду на прогулку,
И с тобою встретимся мы вновь.

Отвернув к другому ближе плечи
И немного наклонившись вниз,
Ты мне скажешь тихо: «Добрый вечер».
Я отвечу: «Добрый вечер, miss».

И ничто души не потревожит,
И ничто ее не бросит в дрожь, —
Кто любил, уж тот любить не может,
Кто сгорел, того не подожжешь.

1925

* * *

Может, поздно, может, слишком рано,
И о чем не думал много лет,
Походить я стал на Дон-Жуана,
Как заправский ветреный поэт.

Что случилось? Что со мною случилось?
Каждый день я у других колен.
Каждый день к себе теряю жалость,
Не смиряясь с горечью измен.

Я всегда хотел, чтоб сердце меньше
Билось в чувствах нежных и простых,
Что ж ищу в очах я этих женщин —
Легкодумных, живых и пустых?

Удержи меня, мое презренье,
Я всегда отмечен был тобой.
На душе холодное кипенье
И сирени шелест голубой.

На душе лимонный свет заката,
И все то же слышно сквозь туман, —
За свободу в чувствах есть расплата,
Принимай же вызов, Дон-Жуан!

И, спокойно вызов принимая,
Вижу я, что мне одно и то ж —
Чтить метель за синий цветень мая,
Звать любовью чувственную дрожь.

Так случилось, так со мною стало,
И с того у многих я колен,
Чтобы вечно счастье улыбалось,
Не смиряясь с горечью измен.

1925

* * *

До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.

До свиданья, друг мой, без руки, без слова,
Не грусти и не печаль бровей, —
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.

1925

ПОЭМЫ

ПУГАЧОВ

Анатолию Мариенкофу

I

Появление Пугачова в ящком городке

П у г а ч о в

Ох, как устал и как болит нога...
Ржет дорога в жуткое пространство.
Ты ли, ты ли, разбойный Чаган,
Приют дикарей и оборванцев?
Мне нравится степей твоих медь
И пропахшая солью почва.
Луна, как желтый медведь,
В мокрой траве ворочается.
Наконец-то я здесь, здесь!
Рать врагов цепью волн распалась,
Не удалось им на синовий шест
Водрузить головы моей парус.
Яик, Яик, ты меня звал
Стоном придавленной черни.
Пучились в сердце жабы глаза
Грустящей в закат деревни.
Только знаю я, что эти избы —
Деревянные колокола,
Голос их ветер хмарью съел.

О, помоги же, степная мгла,
Грозно свершить мой замысел.

Сторож

Кто ты, странник? Что бродишь долом?
Что тревожишь ты ночи гладь?
Отчего, словно яблоко тяжелое,
Виснет с шеи твоя голова?

Пугачов

В солончаковое ваше место
Я пришел из далеких стран —
Посмотреть на золото телесное,
На родное золото славян.
Слушай, отче! Расскажи мне нежно,
Как живет здесь мудрый наш мужик?
Так же ль он в полях своих прилежно
Цедит молоко соломенное ржи?
Так же ль здесь, сломав зари застенки,
Гонится овес на водопой рысцой,
И на грядках, от капусты пенных,
Челноки ныряют огурцов?
Так же ль мирен труд домохозяек,
Слышен прялки ровный разговор?

Сторож

Нет, прохожий. С этой жизнью Яик
Раздружился с самых давних пор.

С первых дней, как оборвались вожжи,
С первых дней, как умер третий Петр,
Над капустой, над овсом, над рожью
Мы задаром проливаем пот.

Нашу рыбу, соль и рынок,
Чем сей край богат и рьян,
Отдала Екатерина
Под надзор своих дворян.
И теперь по всем окраинам
Стонет Русь от цепких лапщ.
Воском жалоб сердце Каина
К состраданию не окапишь.

Всех связали, всех вневолели.
С голоду хоть жри железо.

И течет заря над полем
С горла неба перерезанного.

Пугачов

Невеселое ваше житье.
Но скажи мне, скажи,
Неужель в народе нет суровой хватки
Вытащить из сапогов ножи
И всадить их в барские лопатки?

Сторож

Видел ли ты,
Как коса в лугу скачет,
Ртом железным перекусывая ноги трав?
Оттого, что стоит трава на корячках,
Под себя коренья подобрал,
И никуда ей, траве, не скрыться
От горячих зубов косы,
Потому что не может она, как птица,
Оторваться от земли в синь.
Так и мы. Вросли ногами крови в избы, —
Что нам первый ряд подкошенной травы?
Только лишь до нас не добрались бы,
Только нам бы,
Только б нашей
Не скосили, как ромашке, головы.
Но теперь как будто пробудились,
И березами заплаканный наш тракт
Окружает, как туман от сырости,
Имя мертвого Петра.

Пугачов

Как Петра? Что ты сказал, старик?
.....
Иль это взвыли в небе облака?

Сторож

Я говорю, что скоро грозный крик,
Который избы словно жаб влакал,
Сильней громов раскатится над нами.
Уже мятеж вздымает паруса.
Нам нужен тот, кто б первый бросил камень.

Пугачов

Какая мысль!

Сторож

О чем вздыхаешь ты?

Пугачов

Я положил себе зарок молчать до срока,
.

Клещи рассвета в небесах

Из пасти темноты

Выдергивают звезды, словно зубы,

А мне еще нигде вздремнуть не удалось.

Сторож

Я мог бы предложить тебе

Тюфяк свой грубый,

Но у меня в доме всего одна кровать,

И четверо на ней спит ребятишек.

Пугачов

Благодарю! Я в этом граде гость.

Дадут приют мне под любую крышей.

Прощай, старик!

Сторож

Храни тебя господь!

.
.

Русь, Русь! И сколько их таких,

Как в решето просеивающих плоть,

Из края в край в твоих просторах шляется?

Чей голос их зовет,

Вложив светильником им посох в пальцы?

Идут они, идут! Зеленый славя гул,

Купая тело в ветре и в пыли,

Как будто кто сослал их всех на каторгу

Вертеть ногами

Сей шар земли.

Но что я вижу?

Колокол луны скатился ниже,

Он, словно яблоко увянувшее, мал.
Благовест лучей его стал глух.

Уж на нашесте громко заиграл
В куриную гармонику петух.

II

БЕГСТВО КАЛМЫКОВ

Первый голос

Послушайте, послушайте, послушайте,
Вам не снился тележный свист?
Нынче ночью на заре жидкой
Тридцать тысяч калмыцких кибиток
От Самары проползло на Иргиз.
От российской чиновничьей неволи,
Оттого, что, как куропаток, их щипали
На наших лугах,
Потянулись они в свою Монголию
Стадом деревянных черепак.

Второй голос

Только мы, только мы лишь медлим,
Словно страшен нам захлестнувший нас шквал.
Оттого-то шлет нам каждую неделю
Приказы свои Москва.
Оттого-то куда бы ни шел ты,
Видишь, как под усмирителей меч
Прыгают кошками желтыми
Казацкие головы с плеч.

Кирпичников

Внимание! Внимание! Внимание!
Не будьте ж трусливы, как овцы,
Сюда едут на страшное дело вас сманивать
Траубенберг и Тамбовцев.

К а з а к и

К черту! . . . К черту предателей!

.

Тамбовцев

Сми-рно-о!
Сотники казачьих отрядов,
Готовьтесь в поход.
Нынче ночью, как дикие звери,
Калмыки всем скопом орд
Изменили Российской империи
И угнали с собой весь скот.
Потопленную лодку месяца
Чаган выплескивает на берег дня.
Кто любит свое отечество,
Тот должен слушать меня.
Нет, мы не можем, мы не можем, мы не
можем

Допустить сей ущерб стране:
Россия лишилась мяса и кожи,
Россия лишилась лучших коней, —
Так бросимтесь же в погоню
На эту монгольскую мразь,
Пока она всеми ладонями
Китаю не предалась.

Кирпичников

Стой, атаман, довольно
Об ветер язык чесать,
За Россию нам, конечно, больно,
Оттого, что нам Россия мать.
Но мы ничуть, мы ничуть не испугались,
Что кто-то покинул наши поля,
И калмык нам не желтый заяц,
В которого можно, как в пищу, стрелять.
Он ушел, этот смуглый монголец,
Дай же бог ему добрый путь.
Хорошо, что от наших околиц
Он без боли сумел повернуть.

Траубенберг

Что это значит?

Кирпичников

Это значит то,
Что, если б
Наши избы были на колесах,

Мы впрягли бы в них своих коней
И гужом с солончаковых плесов
Потянулись в золото степей.
Наши б кони, длинно выгнув шею,
Стадом черных лебедей
По водам ржи
Понесли нас, буйно хорошея,
В новый край, чтоб новой жизнью жить.

К а з а к и

Замучили! Загрызли, прохвосты!

Т а м б о в ц е в

Казак! Вы целовали крест!
Вы клялись...

К и р п и ч н и к о в

Мы клялись, мы клялись Екатерине
Быть оплотом степных границ.
Защищать эти пастбища синие
От налета разбойных птиц.
Но скажите, скажите, скажите,
Разве эти птицы не вы?
Наших пашен суровых житель
Не найдет где прикрыть головы.

Т р а у б е н б е р г

Это измена!..
Связать его! Связать!

К и р п и ч н и к о в

Казак, час настал!
Приветствую тебя, мятеж свирепый!
Что не могли в словах сказать уста,
Пусть пулями расскажут пистолеты.

Стреляет. Траубенберг падает мертвым. Конвойные разбегаются.
Казак хватая лошадь Тамбовцева под уздцы и стаскивает его
на землю.

Г о л о с а

Смерть! Смерть тирану!

Тамбовцев

О господи! Ну, что я сделал?

Первый голос

Мучил, злодей, три года,
Три года, как коршун белый,
Ни проезда не давал, ни прохода.

Второй голос

Откушай похлебки метелицы.
Отгулял, отстегал и отхвастал.

Третий голос

Черта ль с ним канителиться?

Четвертый голос

Повесить его — и баста!

Кирпичников

Пусть знает, пусть слышит Москва —
На расправы ее мы взбыстрим.
Это только лишь первый раскат,
Это только лишь первый выстрел.
Пусть помнит Екатерина,
Что если Россия — пруд,
То черными лягушками в тину
Пушки мечут стальную икру.
Пусть носится над страной,
Что казак не встла на прогоне
И в луны мешок травяной
Он башку не задаром срощит.

III

Осенней ночью

Караев

Тысячу чертей, тысячу ведьм и тысячу
дьяволов!
Экий дождь! Экий скверный дождь!
Скверный, скверный!
Словно вонючая моча волон
Льется с туч на поля и деревни.

Скверный дождь.
Экий скверный дождь!

Как скелеты тощих журавлей,
Стоят ошипанные вербы,
Плавя ребер медь.
Уж золотые яйца листьев на земле
Им деревянным брюхом не согреть,
Не вывести птснцов — зеленых вербенят:
По горлу их скользнул сентябрь, как нож,
И кости крыл ломает на щебняк
Осенний дождь.
Холодный, скверный дождь.
О, осень, осень!
Голые кусты,
Как оборванцы, мокнут у дорог.
В такую непогодь собаки, сжав хвосты,
Боятся головы просунуть за порог,
А тут вот стой, хоть сгинь,
Но тьму глазами ешь,
Чтоб не пробрался вражеский лазутчик.
Проклятый дождь!
Расправу за мятеж
Напоминают мне рыгающие тучи.
Скорей бы, скорей в побег, в побег
От этих кровью выдоенных стран.
С объятьями нас принимает всех
С Екатериною воюющий султан.
Уже стекается придушенная чернь
С озиркой, словно полевые мыши.
О солнце-колокол, твое тили-ли-день,
Быть может, здесь мы больше не услышим.
Но что там? Кажется, шаги,
Шаги. . . Шаги. . .
Эй, кто идет? Кто там идет?

П у г а ч о в

Свой. . . свой. . .

К а р а в а е в

Кто свой?

Пугачов

Я, Емельян.

Караваяев

А, Емельян, Емельян, Емельян!
Что нового в этом мире, Емельян?
Как тебе нравится этот дождь?

Пугачов

Этот дождь на счастье богом дан,
Нам на руку, чтоб он хлестал всю ночь.

Караваяев

Да, да! Я тоже так думаю, Емельян.
Славный дождь! Замечательный дождь!

Пугачов

Нынче вечером, в темноте скрываясь,
Я правительственные посты осмотрел.
Все часовые попрятались, как зайцы,
Боясь замочить шинели.
Знаешь? Эта ночь, если только мы выступим,
Не кровью, а зарею окрасила б наши ножи,
Всех бы солдат без единого выстрела
В сонном Яике мы могли уложить...

Завтра ж к утру будет ясная погода,
Сивым табуном проскачет хмарь.
Слушай, ведь я из простого рода
И сердцем такой же степной дикарь!
Я умею, на сутки и версты не трогаясь,
Слушать бег ветра и твари шаг,
Оттого что в груди у меня, как в берлоге,
Ворочается зверенышем теплым душа.

Мне нравится запах травы, холодом подожженной,
И сентябрьского листоleta протяжный свист.
Знаешь ли ты, что осенью медвежонок
Смотрит на луну,
Как на вьющийся в ветре лист?
По луне его учит мать
Мудрости своей звериной,

Чтобы смог он, дурашливый, знать
И призванье свое и имя.

.

Я значенье мое разгадал...

К а р а в а е в

Тебе ж недаром верят.

П у г а ч о в

Долгие, долгие тяжкие года
Я учил в себе разуму зверя.
Знаешь? Люди ведь все со звериной душой, —
Тот медведь, тот лиса, та волчица,
А жизнь — это лес большой,
Где заря красным всадником мчится.
Нужно крепкие, крепкие иметь клыки.

К а р а в а е в

Да, да! Я тоже так думаю, Емельян...
И если б они у нас были,
То московские полки
Нас не бросали, как рыб, в Чаган.
Они б побоялись нас жать
И карать так легко и просто
За то, что в чаду мятежа
Убили мы двух прохвостов.

П у г а ч о в

Бедные, бедные мятежники,
Вы цвели и шумели, как рожь.
Ваши головы колосьями нежными
Раскачивал июльский дождь,
Вы улыбались тварям...

.

Послушай, да ведь это ж позор,
Чтоб мы этим поганым харям
Не смогли отомстить до сих пор?
Разве это когда прощается,
Чтоб с престола какая-то блядь
Протягивала солдат, как пальцы,
Непокорную чернь умерщвлять!

Нет, не могу, не могу!
К черту султана с туретчиной —
Только на радость врагу
Этот побег опрометчивый.
Нужно остаться здесь!
Нужно остаться, остаться,
Чтобы вскипела месть
Золотою пургой акаций,
Чтоб пролились ножи
Железными струями любо.
Слушай! Бросай сторожить,
Беги и буди весь хутор.

IV

ПРОПШЕСТВИЕ НА ТАЛОВОМ УМЕТЕ

Оболяев

Что случилось? Что случилось? Что случилось?

Пугачов

Ничего страшного. Ничего страшного.
Ничего страшного.

Там на улице жолклая сырость
Гонит туман, как стада барашковые.

Мокрою цаплей по лужам полей бороздя,
Ветер заставил все живое,
Как жаб по их гнездам, скрыться,
И только порою,
Привязанная к нитке дождя,
Черным крестом в воздухе
Проболтнется шальная птица.
Это осень, как старый оборванный монах,
Пророчит кому-то о погибели вещи.

.

Послушайте, для наших благ
Я придумал кой-что похлеще.

К а р а в а е в

Да, да. Мы придумали кой-что похлеще.

П у г а ч о в

Знаете ли вы,
Что по черни ныряет весть,
Как по гребням волн лодка с парусом низким?
По-звериному любит мужик наш на корточки сесть
И сосать эту весть, как коровьи большие сиськи.
От песков Джигильды до Алатыря
Эта весть о том,
Что какой-то жестокий поводырь
Мертвую тень императора
Ведет на российскую ширь.
Эта тень с веревкой на шее безмясой,
Отвалившуюся челюсть теребя,
Скрипящими ногами приплясывая,
Идет отомстить за себя,
Идет отомстить Екатерине,
Подымая руку, как жолтый кол,
За то, что она с сообщниками своими,
Разбив белый кувшин
Головы его,
Взошла на престол.

О б о л я е в

Это только веселая басня!
Ты, конечно, не за этим пришел,
Чтоб рассказать ее нам?

П у г а ч о в

Напрасно, напрасно, напрасно
Ты так думаешь, брат Степан.

К а р а в а е в

Да, да! По-моему, тоже напрасно.

П у г а ч о в

Разве важно, разве важно, разве важно,
Что мертвые не встают из могил?
Но зато кой-где почву безвлажную
Этот слух словно плугом взрыл.

Уже слышится благовест бунтов,
Рев крестьян оглашает зенит,
И кустов деревянный табун
Безлиственной ковкой звенит.
Что ей Петр? — злой и дикой ораве? —
Только камень желанного случая,
Чтобы колья погромные правили
Над теми, кто грабил и мучил.
Каждый платит за лепту лептою,
Месть щенками кровавыми щенится.
Кто же скажет, что это свирепствуют
Бродяги и отщепенцы?
Это буйствуют россияне!
Я ж хочу научить их под хохот сабель
Обтянуть тот зловеющий скелет парусами
И пустить его по безводным степям,
Как корабль.

А за ним
По курганам синим
Мы живых голов двинем бурливый флот.
.
.
Послушайте! Для всех отныне
Я — император Петр.

К а з а к и

Как император?

О б о л я е в

Он с ума сошел!

П у г а ч о в

Ха-ха-ха!
Вас испугал могильщик,
Который, череп разложив как горшок,
Варит из медных монет щи,
Чтоб похлевать в черный срок.
Я стращать мертвецом вас не стану,
Но должны ж вы, должны понять,
Что этим кладбищенским планом
Мы подыдем монгольскую рать!

Нам мало того простолюдуства,
Которое в нашем краю, —
Пусть калмык и башкирец бьются
За бараньи костры средь юрт.

З а р у б и н

Это верно, это верно, это верно,
Кой нам черт умышлять побег?
Лучше здесь всем им головы скверные
Обломать, как колеса с телег.
Будем крыть их ножами и матом,
Кто без сабли — так бей кирпичом!
Да здравствует наш император,
Емельян Иванович Пугачов!

П у г а ч о в

Нет, нет, я для всех теперь
Не Емельян, а Петр...

К а р а в а е в

Да, да, не Емельян, а Петр...

П у г а ч о в

Братья, братья, ведь каждый зверь
Любит шкуру свою и имя...
Тяжко, тяжело моей голове
Опушать себя чуждым инеем.
Трудно сердцу светильником мести
Освещать корявые чаши.
Знайте, в мертвое имя влезть —
То же, что в гроб смердящий.
Больно, больно мне быть Петром,
Когда кровь и душа Емельянова.
Человек в этом мире не бревенчатый дом,
Не всегда перестроишь наново...
Но... к черту все это, к черту!
Прочь жалость телячьих нег!

Нынче ночью в половине четвертого
Мы устроить должны набег.

УРАЛЬСКИЙ КАТОРЖНИК

Хлопуша

Сумасшедшая, бешеная кровавая муть!
 Что ты? Смерть? Иль исцеленье калекам?
 Проведите, проведите меня к нему,
 Я хочу видеть этого человека.
 Я три дня и три ночи искал ваш умет,
 Тучи с севера сыпались каменной грудой.
 Слава ему! Пусть он даже не Петр,
 Чернь его любит за буйство и удаль.
 Я три дня и три ночи блуждал по тропам,
 В солонце рыл глазами удачу,
 Ветер волосы мои, как солому, трепал
 И цепами дождя обмолачивал.
 Но озлобленное сердце никогда не заблудится,
 Эту голову с шеи сшибить нелегко.
 Оренбургская заря красношерстной верблюдицей
 Рассветное роняла мне в рот молоко.
 И холодное корявое вымя сквозь тьму
 Прижимал я, как хлеб, к истощенным векам.
 Проведите, проведите меня к нему,
 Я хочу видеть этого человека.

Зарубин

Кто ты? Кто? Мы не знаем тебя!
 Что тебе нужно в нашем лагере?
 Отчего глаза твои,
 Как два цепных кобеля,
 Беспокойно ворочаются в соленой влаге?
 Что пришел ты ему сообщить?
 Злое ль, доброе ль светится из пасти вспурга?
 Прорубились ли в Азию бунтовщики?
 Или, как зайцы, бегут от Оренбурга?

Хлопуша

Где он? Где? Неужель его нет?
 Тяжелее, чем камни, я нес мою душу.
 Ах, давно, знать, забыли в этой стране
 Про отчаянного негодяя и жулика Хлопушу.
 Смейся, человек!

В ваш хмурый стан
Посылаются замечательные разведчики.
Был я каторжник и арестант,
Был убийца и фальшивомонетчик.

Но всегда ведь, всегда ведь, рано ли, поздно ли,
Расставляет расплата капканы терний.
Заковали в колодки и вырвали ноздри
Сыну крестьянина Тверской губернии.
Десять лет,
Понимаешь ли ты, десять лет
То острожничал я, то бродяжил.
Это теплое мясо носил скелет
На общипку, как пух лебяжий.

Черта ль с того, что хотелось мне жить?
Что жестокостью сердце устало хмуриться?
Ах, дорогой мой,
Для помещика мужик —
Все равно что овца, что курица.
Ежедневно молясь на зари жолтый гроб,
Кандалы я сосал голубыми руками...
Вдруг... три ночи назад губернатор Рейнсдорп,
Как сорвавшийся лист,
Взлетел ко мне в камеру...
«Слушай, каторжник!
(Так он сказал)
Лишь тебе одному поверю я.
Там в ковыльных просторах ревет гроза,
От которой дрожит вся империя,
Там какой-то пройдоха, мошенник и вор
Вздумал вздыбить Россию ордой грабителей,
И дворянские головы сечет топор —
Как березовые купола
В лесной обители.
Ты, конечно, сумеешь всадить в него нож?
(Так он сказал, так он сказал мне.)
Вот за эту услугу ты свободу найдешь
И в карманах зазвякает серебро, а не камни».

Уж три ночи, три ночи, пробиваясь сквозь тьму,
Я ищу его лагерь, и спросить мне некого.

Проведите ж, проведите меня к нему,
Я хочу видеть этого человека!

З а р у б и н

Странный гость.

П о д у р о в

Подозрительный гость.

З а р у б и н

Как мы можем тебе довериться?

П о д у р о в

Их немало, немало, за червонцев горсть
Готовых пронзить его сердце.

Х л о п у ш а

Ха-ха-ха!

Это очень неглупо,

Вы надежный и крепкий щит.

Только весь я до самого пупа —

Местью вскормленный бунтовщик.

Каплет гноем смола прогорклая

Из разодранных ребер изб.

Завтра ж ночью я выбегу волком

Человеческое мясо грызть.

Все равно ведь, все равно ведь, все равно ведь,

Не сожрешь — так сожрут тебя ж.

Нужно вечно держать наготове

Эти руки для драки и краж.

Верьте мне!

Я пришел к вам как друг.

Сердце радо в пурге расколется,

Оттого что без Хлопуши

Вам не взять Оренбург

Даже с сотней лихих полководцев.

З а р у б и н

Так открой нам, открой, открой

Тот план, что в тебе хоронится!

Подуров

Мы сейчас же, сейчас же пошлем тебя в бой
Командиром над нашей конницей.

Хлопуша

Нет!

Хлопуша не станет биться.

У Хлопуши другая мысль.

Он хотел бы, чтоб гневные лица

Вместе с злобой умом налились.

Вы бесстрашны, как хищные звери,

Грозен лязг ваших битв и побед.

Но ведь все ж у вас нет артиллерии?

Но ведь все ж у вас пороху нет?

Ах, в башке моей, словно в бочке,

Мозг, как спирт, хлебной едкостью лют.

Знаю я, за Сакмарой рабочие

Для помещиков пушки льют.

Там найдется и порох, и ядра,

И наводчиков зоркая рать,

Только надо сейчас же, не откладывая,

Всех крестьян в том краю взбунтовать.

Стыдно медлить здесь, стыдно медлить,

Гнев рабов — не кобылий фырк. . .

Так давайте же по липовой меди

Трахнем вместе к границам Уфы.

VI

В СТАНЕ ЗАРУБИНА

Зарубин

Эй ты, люд честной да веселый,

Забубенная трын-трава,

Подружилась с твоими селами

Скуломордая татарва.

Свищут кони, как вихри, по полю,

Только взглянешь — и след простыл.

Месяц, желтыми крыльями хлопая,

Раздирает, как ястреб, кусты.

Загляжусь я по ровной голи
В синью стынущие луга,
Не березовая ль то Монголия?
Не кибитки ль киргиз стога? . .
Слушай, люд честной, слушай, слушай
Свой кочевнический пересвист.
Оренбург, осажденный Хлопушей,
Ест лягушек, мышей и крыс.
Треть страны уже в наших руках,
Треть страны мы как войско выставили.
Нынче ж в ночь потеряет враг
По Приволжью все склады и пристани.

Ш и г а е в

Стоп, Зарубин!
Ты, наверное, не слышал.
Это видел не я . . .
Другие . . .
Многие . . .
Около Самары с пробитой башкой ольха,
Капая желтым мозгом,
Прихрамывает при дороге.
Словно слепец, от ватаги своей отстав,
С гнусавой и хриплой дрожью
В рваную шапку вороньего гнезда
Просит она на пропитанье
У проезжих и у прохожих.
Но никто ей не бросит даже камня.
В испуге крестясь на звезду,
Все считают, что это страшное знамение,
Предвещающее беду.
Что-то будет.
Что-то должно случиться.
Говорят, наступит глад и мор.
По сту раз на лету будет склевывать птица
Желудочное свое серебро.

Т о р н о в

Да-да-да!
Что-то будет!
Повсюду
Воют слухи, как псы у ворот,

Дует в души суровому люду
Ветер сырью и вонью болот.
Быть беде!
Быть великой потере!
Знать, не зря с луговой стороны
Луны лошадиный череп
Каплет золотом сгнившей слюны.

З а р у б и н

Врете! Врете вы,
Нож вам в спины!
С детства я не видал в глаза,
Чтоб от этакой чертовщины
Хуже бабы дрожал казак.

Ш и г а е в

Не дрожим мы, ничуть не дрожим!
Наша кровь — не башкирские хляби.
Сам ты знаешь ведь, чьи ножи
Пробивали дорогу в Челябинск.
Сам ты знаешь, кто брал Осу,
Кто разбил наголо Сарапуль.
Столько мух не сидело у тебя на носу,
Сколько пуль в наши спины вцарапали.
В стужу ль, в сырость ли,
В ночь или днем —
Мы всегда наготове к бою.
И любой из нас больше дорожит конем,
Чем разбойной своей головою.
Но кому-то грозитя, грозитя беда,
И ее ль казаку не слышать?
Посмотри, вон сидит дымовая труба,
Как наездник, верхом на крыше.
Вон другая, вон третья,
Не счесть их рыл,
С заливатской тоской остолопов,
И весь дикий табун деревянных кобыл
Мчится, пылью клубя, галопом.
Ну куда ж он? Зачем он?
Каких дорог
Оголтелые всадники ищут?

Их стегает, стегает переполох
По стеклянным глазам кнутовищем.

З а р у б и н

Нет, нет, нет! . . .
Ты не понял. . .
То слышится звань,
Звань к оружию под каждой оконницей.
Знаю я, нынче ночью идет на Казань
Емельян со свирепой конницей.
Сам вчера, от восторга едва дыша,
За горой в предрассветной мгле
Видел я, как тянулись за Черемшан
С артиллерией тысячи телег.
Так торжественно с хрипом колесным обоз
По дорожным камням грохотал.
Рев верблюдов сливался с блеянием коз
И с гортанною речью татар.

Т о р н о в

Что ж, мы верим, мы верим.
Быть может,
Как ты мыслишь, все так и есть;
Голос гнева, с бедою схожий,
Нас сзывает на страшную месть.
Дай бог!
Дай бог, чтобы так и случилось.

З а р у б и н

Верьте, верьте!
Я вам клянусь!
Не беда, а неожиданная радость
Упадет на мужицкую Русь.
Вот взвенел, словно сабли о панцыри,
Синий сумрак над ширью равнин.
Даже рощи,
И те повстанцами
Подымают хоругви рябин.
Зреет, зреет веселая сеча.
Взвост в небо кровавый туман.
Гулом ядер и свистом картечи
Будет завтра их крыть Емельян.

И чтоб бунт наш гремел безысходней,
Чтоб вконец не сосала тоска, —
Я сегодня ж пошлю вас, сегодня
На подмогу его войскам.

VII

ВЕТЕР КАЧАЕТ РОЖЬ

Чумаков

Что это? Как это? Неужель мы разбиты?
Сумрак голодной волчицей выбежал кровь зари лакать.
О, эта ночь! Как могильные плиты,
По небу тянутся каменные облака.
Выйдешь в поле, зовешь, зовешь,
Кличешь старую рать, что легла под Сарептой,
И глядишь и не видишь — то ли зыбится рожь,
То ли желтые полчища пляшущих скелетов.
Нет, это не август, когда осыпаются овсы,
Когда ветер по полям их колотит дубинкой грубой.
Мертвые, мертвые, посмотрите, кругом мертвецы,
Вон они хохочут, выплевывая сгнившие зубы.
Сорок тысяч нас было, сорок тысяч,
И все сорок тысяч за Волгой легли, как один.
Даже дождь так не смог бы траву иль солому высесть,
Как осыпали саблями головы наши они.
Что это? Как это? Куда мы бежим?
Сколько здесь нас в живых осталось?
От горящих деревень бьющий лапами в небо дым
Расстиляет по земле наш позор и усталость.
Лучше б было погибнуть нам там и лечь,
Где кружит воронье беспокойным, зловещим свадьбищем,
Чем струить эти пальцы пятерками пылающих свеч,
Чем нести это тело с гробами надежд, как кладбище!

Бурнов

Нет! Ты неправ, ты неправ, ты неправ!
Я сейчас чувством жизни, как никогда, болен.
Мне хотелось бы, как мальчишке, кувыркаться
по золоту трав
И сшибать черных галок с крестов голубых колоколен.

Все, что отдал я за свободу черни,
Я хотел бы вернуть и поверить снова:
Что вот эту луну,
Как керосиновую лампу в час вечерний,
Зажигает фонарщик из города Тамбова.
Я хотел бы поверить, что эти звезды — не звезды,
Что это — жолтые бабочки, летящие на лунное пламя. . .
Друг! . .
Зачем же мне в душу ты ропотом слезным
Бросаешь, как в стекла часовни, камнем?

Ч у м а к о в

Что жалеть тебе смрадную холодную душу,
Околевшего медвежонка в тесной берлоге?
Знаешь ли ты, что в Оренбурге зарезали Хлопушу?
Знаешь ли ты, что Зарубин в Табинском остроге?
Наше войско разбито вконец Михельсоном,
Калмыки и башкиры удрали к Аральску в Азию.
Не с того ли так жалобно
Суслики в поле притоптанном стонут,
Обрызгивая мертвые головы, как кленовые листья,
грязью?
Гибель, гибель стучит по деревьям в колотушку.
Кто ж спасет нас? Кто даст нам укрыться?
Посмотри. Там опять, там опять за опушкой
В воздухе крылья крестами бросают крикливые птицы.

Б у р н о в

Нет, нет, нет! Я совсем не хочу умереть!
Эти птицы напрасно над нами вьются.
Я хочу снова отроком, отряхая с осинника медь,
Подставлять ладони, как белые скользкие блюда.
Как же смерть?
Разве мысль эта в сердце поместится,
Когда в Пензенской губернии у меня есть свой дом?
Жалко солнышко мне, жалко месяц.
Жалко тополь над низким окном.
Только для живых ведь благословенны
Рощи, потоки, степи и зелена.
Слушай, плевать мне на всю вселенную,
Если завтра здесь не будет меня!

Я хочу жить, жить, жить,
Жить до страха и боли.
Хоть карманником, хоть золоторотцем.
Лишь бы видеть, как мыши от радости прыгают в поле,
Лишь бы слышать, как лягушки от восторга поют
в колодце.

Яблоновым цветом брызжется душа моя белая,
В синее пламя ветер глаза раздул.
Ради бога научите меня,
Научите меня — и я что угодно сделаю,
Сделаю что угодно, чтоб звенеть в человечьем саду.

Т в о р о г о в

Стойте, стойте!
Если б знал я, что вы не трусливы,
То могли б мы спастись без труда.
Никому б не открыли наш заговор безъязыкие ивы,
Сохранила б молчанье одинокая в небе звезда.
Не пугайтесь!
Не пугайтесь жестокого плана —
Это не тяжелее, чем хруст ломаемых в теле костей.
Я хочу предложить вам:
Связать на заре Емельяна
И отдать его в руки грозящих нам смертью властей.

Ч у м а к о в

Как, Емельяна?

Б у р н о в

Нет! Нет! Нет!

Т в о р о г о в

Хе-хе-хе!
Вы глупее, чем лошади!
Я уверен, что завтра ж,
Лишь золотом плюнет рассвет,
Вас развезят солдаты, как туш, на какой-нибудь
площади,
И дурак тот, дурак, кто жалеть будет вас,
Оттого что сами себе вы придумали тернии.
Только раз ведь живем мы, только раз!
Только раз светит юность, как месяц в родной
губернии.

Слушай, слушай, есть дом у тебя на Суре,
Там в окно твое тополь стучится багряными листьями,
Словно хочет сказать он хозяину в хмурой
октябрьской поре,
Что изранила его осень холодными меткими выстрелами.
Как же сможешь ты тополю помочь?
Чем залечишь ты его деревянные раны?
Вот такая же жизни осенняя гулкая ночь
Обшипала, как тополь зубами дождей, Емельяна.
Знаю, знаю, весной, когда лает вода,
Тополь снова покроется мягкой зеленой кожей.
Но уж старые листья на нем не взойдут никогда —
Их растащит зверье и потопчут прохожие.
Что мне в том, что сумеет Емельян скрыться в Азию?
Что, набравши кочевников, может снова удариться
в бой?
Все равно ведь и новые листья падут и покроются
грязью.

Слушай, слушай, мы старые листья с тобой!
Так чего ж нам качаться на голых корявых ветвях?
Лучше оторваться и броситься в воздух кружиться,
Чем лежать и струить золотое гниенье в полях,
Чем глаза твои выключают черные хищные птицы.
Тот, кто хочет за мной, — в добрый час!
Нам башка Емельяна — как челн
Потопающим в дикой реке. . .

Только раз ведь живем мы, только раз.
Только раз славит юность, как парус, луну вдалеке.

VIII

КОНЕЦ ПУГАЧОВА

Пугачов

Вы с ума сошли! Вы с ума сошли! Вы с ума сошли!
Кто сказал вам, что мы уничтожены?
Злые рты, как с протухшею пищей кошки,
Зловонно рыгают бесстыдной ложью.
Трижды проклят тот трус, негодяй и злодей,
Кто сумел окормить вас такую дурью.

Нынче ж в ночь вы должны оседлать лошадей
И попасть до рассвета со мною в Гурьев.
Да, я знаю, я знаю, мы в страшной беде,
Но затем-то и злей над туманною вязью
Деревянными крыльями по каспийской воде
Наши лодки заплещут, как лебеди, в Азию.
О, Азия, Азия! Голубая страна,
Обсыпанная солью, песком и известкой.
Там так медленно по небу едет луна,
Поскрипывая колесами, как киргиз с повозкой.
Но зато кто бы знал, как бурливо и гордо
Скачут там шерстожелтые горные реки.
Не с того ли так свищут монгольские орды
Всем тем диким и злым, что сидит в человеке?

Уж давно я, давно я скрывал тоску
Перебраться туда к их кочующим станам,
Чтоб разящими волнами их сверкающих скул
Стать к преддверьям России, как тень Тамерлана.
Так какой же мошенник, прохвост и злодей
Окормил вас бесстыдной трусливой дурью?
Нынче ж в ночь вы должны оседлать лошадей
И попасть до рассвета со мною в Гурьев.

К р я м и н

О смешной! о смешной! о смешной Емельян!
Ты все такой же сумасбродный, слепой и вкрадчивый;
Расплескалась удаль твоя по полям,
Не вскипеть тебе больше ни в какой азиатчине.
Знаем мы, знаем твой монгольский народ,
Нам ли храбрость его неизвестна?
Кто же первый, кто первый, как не этот сброд
Под Сакмарой ударился в бегство?
Как всегда, как всегда, эта дикая гнусь
Выбирала для жертвы самых слабых и меньших,
Только б грабить и жечь ей пограничную Русь
Да привязывать к седлам добычей женщин.
Ей всегда был приятней набег и разбой,
Чем суровые походы с житейской хмурью.

.
Нет, мы больше не можем идти за тобой,
Не хотим мы ни в Азию, ни на Каспий, ни в Гурьев.

Пугачов

Боже мой, что я слышу?
Казак, замолчи!
Я заткну твою глотку ножом иль выстрелом..
Неужели и вправду отзвенели мечи?
Неужель это плата за все, что я выстрадал?
Нет, нет, нет, не поверю, не может быть!
Не на то вы взрастали в степных станицах,
Никакие угрозы суровой судьбы
Не должны вас заставить смириться.
Вы должны разжигать еще больше тот взвой,
Когда ветер метелями с наших стран дул..
Смело ж к Каспию! Смело за мной!
Эй вы, сотники, слушать команду!

Крямин

Нет! Мы больше не слуги тебе!
Нас не взманит твое сумасбродство,
Не хотим мы в ненужной и глупой борьбе
Лечь, как толпы других, по погостам.
Есть у сердца невзгоды и тайный страх
От кровавых раздоров и стонов.
Мы хотели б, как прежде, в родных хуторах
Слушать шум тополей и кленов.
Есть у нас роковая зацепка за жизнь,
Что прочнее канатов и проволок..
Не пора ли тебе, Емельян, сложить
Перед властью мятежную голову?!
Все равно то, что было, назад не вернешь,
Знать недаром листою октябрь заплакал..

Пугачов

Как? Измена?
Измена?
Ха-ха-ха!..

Ну так что ж!
Получай же награду свою, собака!
Стреляет. Крямин падает мертвым. Казаки с криком обнажают сабли. Пугачов, отмахиваясь кинжалом, пятится к стене.

Голоса

Вяжите его! Вяжите!

Творогов

Бейте! Бейте прямо саблей в морду!

Первый голос

Натерпелись мы этой прыти...

Второй голос

Ташите его за бороду...

Пугачов

... Дорогие мои... Хор-рошие...
Что случилось? Что случилось? Что случилось?
Кто так страшно визжит и хохочет
В придорожную грязь и сырость?
Кто хихикает там исподтишка,
Злобно отплевываясь от солнца?

.....

... Ах, это осень!

Это осень вытряхивает из мешка

Чеканенные сентябрем червонцы.

Да, погиб я!

Приходит час...

Мозг, как воск, каплет глухо, глухо...

... Это она!

Это она подкупила вас,

Злая и подлая оборванная старуха.

Это она, она, она,

Разметав свои волосы зарею зыбкой,

Хочет, чтоб сгибла родная страна

Под ее невеселой холодной улыбкой.

Творогов

Ну, рехнулся... чего ж глазеть?

Вяжите!

Чай, не выбьет стены головою.

Слава богу! конец его зверской резне,

Конец его злобному волчьему вою.

Будет ярче гореть теперь осени медь,

Мак зари черпаками ветров не выхлестать.

Торопитесь же!

Нужно скорей поспеть

Передать его в руки правительства.

Пугачов

Где ж ты? Где ж ты, бывая мощь?
Хочешь встать — и рукою не можешь двинуться.
Юность, юность! Как майская ночь,
Отзвенела ты черемухой в степной провинции.
Вот всплывает, всплывает синь ночная над Доном,
Тянет мягкой гарью с сухих перелесиц.
Золотую известкой над низеньким домом
Брызжет широкий и теплый месяц.
Где-то хрипло и нехотя кукарекнет петух,
В рваные ноздри пылью чихнет околица,
И все дальше, все дальше, встревоживши сонный луг,
Бежит колокольчик, пока за горой не расколется.
Боже мой!
Неужели пришла пора?
Неужели под душой так же падаешь, как под ношей?
А казалось... казалось еще вчера...
Дорогие мои... дорогие... хор-рошие...

1921

ПЕСНЬ О ВЕЛИКОМ ПОХОДЕ

Эй вы, встречные
Поперечные!
Тараканы, сверчки
Запечные!
Не народ, а дрохва
Подбитая!
Русь нечосаная,
Русь немытая.
Вы послушайте
Новый вольный сказ,
Новый вольный сказ
Про житье у нас.
Первый сказ о том,
Что давно было.
А второй — про то,
Что сейчас всплыло.
Для тебя я, Русь,
Эти сказы спел,
Потому что был
И правдив и смел.
Был мастак слагать
Эти притчины,
Не боясь ничьей
Зуботычины.

Ой, во городе
Да во Ипатьеве

При Петре было
При императоре.
Говорил слова
Непутевый дьяк:
«Уж и как у нас, ребята,
Стал быть, царь дурак,
Царь дурак-батрак
Сопли жмет в кулак,
Строит Питер-град
На немецкий лад.
Видно, делать ему
Больше нечего,
Принялся он Русь
Онемечивать.
Бреет он князьям
Брады, усие, —
Как не плакаться
Тут над Русию?
Не тужить тут как
Над судьбиною?
Непослушных он
Бьет дубиною».

Услыхал те слова
Молодой стрелец.
Хвать смутьянщика
За тугой косец.
«Ты иди, ползи,
Не кочурься, брат.
Я свезу тебя
Прямо в Питер-град.
Привезу к царю,
Кайся, сукин-кот!
Кайся, сукин-кот,
Что смущал народ».

По Тверской-Ямской
Под дугою вбряк,
С колокольцами
Ехал бедный дьяк.

На четвертый день,
О полдневных пор,
Прикатил наш дьяк
Ко царю во двор.
Выходил тут царь
С высока крыльца,
Мах-дубинкою
Подозвал стрельца.
«Ты скажи, зачем
Прикатил, стрелец?
Аль с Москвы какой
Потайной гонец?» —
«Не гонец я, царь,
Не родня с Москвой.
Я всего лишь есть
Слуга верный твой.
Я привез к тебе
Бунтаря-дьяка,
У него, знать, в жисть
Не болят бока.
В кабаке на весь
На честной народ
Он позорил, царь,
Твой высокий род».

«Ну, — сказал тут Петр, —
Вылезай-кось, вошь!»
Космы дьяковы
Поднялись, как рожь,
У Петра с плеча
Сорвался кулак...
И навек задрал
Лапти кверху дьяк.
У Петра был двор,
На дворе был кол,
На колу — мочало.
Это только, ребята,
Начало.
Ой, суров наш царь,
Алексеич Петр.

Он в единый дух
Ведро пива пьет.
Курит — дым идет
На три сажени,
Во немецких одеждах
Разнаряженный.
Возговорит наш царь
Алексеич Петр:
«Подойди ко мне,
Дорогой Лефорт.
Мастер славный ты
В Амстердаме был.
Русский царь тебе,
Как батрак, служил.
Он учился там,
Как топор держать.
Ты езжай-кссь, мастер,
В Амстердам опять.
Передай ты всем
От Петра поклон
Да скажи, что сейчас
В страшной доле он.
В страшной доле я
За родную Русь. . .
Скоро смерть придет,
Помирать боюсь.
Помирать боюсь,
Да и жить не рад.
Кто ж теперь блюсти
Будет Питер-град?
Средь туманов сих
И цепных болот
Снится сгибший мне
Трудовой народ.
Слышу, голос мне
По ночам звенит,
Что на их костях
Лег тугой гранит.
Оттого подчас,
Обступая град,
Мертвецы встают
В строевой парад.

И кричат они,
И вопят они —
От такой крични
Загашай огни.
Говорят слова:
«Мы всему цари!
Попадешься, Петр,
Лишь сумеи помри.
Мы сдерем с тебя
Твой лихой чупрын,
Потому что ты
Был собачий сын.
Поблажал ты знать
Со министрами,
На крови для них
Город выстроил.
Но пускай за то
Знает каждый дом —
Мы придем еще,
Мы придем, придем.
Этот город наш,
Потому и тут
Только может жить
Лишь рабочий люд».

Смолк наш царь
Алексеич Петр.
В три ручья с него
Льет холодный пот.

Слушайте, слушайте,
Вы, конечно, народ
Хороший —
Хоть метелью вас крой,
Хоть порошей.
Одним словом — миляги.
Не дадите ли
Ковшик браги?
Это нужно, чтоб песня не глохла,
А то что-то во рту пересохло.

Человечий язык,
Чай, не птичий,
Славный вы, люди,
Придумали обычай.

И пушки бьют,
И колокола плачут.
Вы, конечно, понимаете,
Что это значит?
Много было роз,
Много было маков,
Схоронили Петра,
Тяжело оплакав.
И с того ль, что там
Всякий сволок был,
Кто всерьез рыдал,
А кто глаза слюнил.
Но с того вот дня
Да на двести лет
Дуракам-царям
Прямо счету нет.
И все двести лет
Шел подземный гуд:
«Мы придем, придем.
Мы возьмем свой труд.
Мы сгребем дворян
Да по плечи им,
На фонарных столбах
Перевешаем».

Через двести лет,
В снеговой октябрь,
Затряслась Нева,
Подымая рябь.
Утром встал народ
И на бурю глядь:
На столбах висит
Сволочная знать.
Ай да славный люд!
Ай да Питер-град!

Но с чего же там
Пушки бьют-палят?
Бьют за городом,
Бьют из-за моря.
Понимай как хошь
Ты, душа моя.
Много в эти дни
Совершилось дел.
Я пою о них,
Как спознать сумел.

Веселись, душа
Молодецкая.
Нынче наша власть,
Власть советская.
Офицерика,
Да голубчика
Прикоковина!
Вчера в Губчека.

.

Гаркнул «Яблочко»
Молодой матрос:
«Мы не так еще
Подотрем вам нос».

А за Явором,
Под Украйною,
Услыхали мужики
Весть печальную.
Власть советская
Им очень нравится,
Да идут войска
С ней расправиться.
В тех войсках к мужикам
Родовая месть.
И Врангель тут,
И Деникин здесь.
А на помог им,
Как лихих волчат,

Из Сибири шлет отряды
Адмирал Колчак.

Ах, рыбки мои,
Мелки косточки.
Вы, крестьянские ребята,
Подросточки.
Ни ноготой вас не взять,
Ни рязанами,
Вы гольем пошли гулять
С партизанами.
Красной Армии штыки
В поле светятся.
Здесь отец с сынком
Могут встретиться.
За один удел
Бьется эта рать —
Чтоб владеть землей
Да весь век пахать,
Чтоб шумела рожь
И овес звенел,
Чтобы каждый калачи
С пирогами ел.

Ну и как же ту злобу
Не вынашивать?
На Дону теперь поют
Не по-нашему:
«Пароход идет
Мимо пристани.
Будем рыбу кормить
Коммунистами».
А у нас для них поют:
«Куда ты котишься?
В Вечека попадешь —
Не воротишься».

От одной беды
Целых три растут, —

Вдруг над Питером
Слышен новый гуд.
Не поймет никто,
Отколь гуд идет:
«Ты не смей дремать,
Трудовой народ,
Как под Питером
Рать Юденича».
Что же делать нам
Всем теперича?
И оттуда быют,
И отсель палят, —
Ой ты, бедный люд,
Ой ты, Питер-град!

.

Дождик лил тогда
В три погибели.
На корню дожди
Озимь выбили.
И на этот год
Не шумела рожь.
То не жизнь была,
А в печонки нож.

.
Дождик льет и льет,
Ты терпи, терпи.
В куртке кожаной
Коммунар, не спи.

А за синим Доном,
Станицы казачьей,
В это время волк ехидный
По-кукушьи плачет.
Говорит Корнилов
Казакам поречным:
«Угостите партизанов
Вишеньем картечным.
С Красной Армией Деникин
Справится, я знаю.

Расстелилась наши пики
С Дона до Дунаю».

Вей сильней и крепче,
Ветер синь-студеный.
С нами храбрый Ворошилов,
Удалой Буденный.

Если крепче жмут,
То сильней орешь.
Мужику одно:
Не тсптали б рожь.
А как пошла по ней
Тут рать Денижкина —
В сотни верст легла
Прямо в пикь она.
Над такой бедой
В стане белых ржут.
Валят сельский скот
И под водку жрут.
Мнут крестьянских жен,
Девочк лапают.
«Так и надо вам,
Сиволапые.
Ты, мужик, прохвост!
Сволочь, бестия!
Отплати-кось нам
За поместья.
Отплати за то,
Что ты вешал знать.
Эй, в кнуты их всех,
Растакою мать».

Ой ты, синяя сирень,
Голубой палисад.
На родимой стороне
Никто жить не рад.
Опустели огороды,
Хаты брошены,

Заливные луга
Не покошены.
И примет овес,
И прибита рожь, —
Где ж теперь, мужик,
Ты приют найдешь?

Но сильней всего
Те встревожены,
Что ночью не спят
В куртках кожаных,
Кто за бедный люд
Жить и сгибнуть рад,
Кто не хочет сдать
Вольный Питер-град.

Там под Лиговом
Страшный бой кипит.
Питер траурный
Без огня не спит.
Миг — и вот сейчас
Враг проломит все.
И прощай мечта
Городов и сел...
Пот и кровь струит
С лиц встревоженных.
Быют и быют людей
В куртках кожаных.
Как снопы, лежат
Трупы по полю.
Кони в страхе ржут,
В страхе топают.
Но напор от нас
Все сильней, сильней.
Быются восемь дней,
Быются девять дней...
На десятый день
Не сдержался враг...
И пошел чесать
По кустам в овраг.

Наши взад им «крой!»...
Пушки бьют, палят...
Ай да славный люд!
Ай да Питер-град!
А за Белградом,
Окол Харькова,
Кровью ярь мужиков
Перехаркана.
Бедный люд в Москву
Босиком бежит.
И от стона и от рева
Вся земля дрожит.
Ищут хлеба они,
Просят милости,
Ну и как же злобной воле
Тут не вырасти?
У околицы
Гуляй-полевой
Собиралися
Буйны головы.
Да как стали жечь,
Как давай палить,
У Деникина
Аж живот болит.

Эх, песня!
Песня!
Есть ли что на свете
Чудесней?
Хоть под гусли тебя пой,
Хоть под тальяночку.
Не дадите ли вы мне,
Хлопцы,
Еще баночку?

Ах, яблочко,
Цвета милого.
Бьют Деникина,
Бьют Корнилова.
Цветочек мой,
Цветик маковый.

Ты скорей, адмирал,
Отколчакивай.
Там за степью гул,
Там за степью гром,
Каждый в битве защищает
Свой отцовский дом.
Курток кожаных
Под Донцом не счесть, —
Видно, много в Петрограде
Этой масти есть.

В белом стане вопль,
В белом стане стон:
Обступает наша рать
Их со всех сторон.
В белом стане крик,
В белом стане бред,
Как пожар стоит
Золотой рассвет.
И во всех кабаках
Огни светятся...
Завтра многие друг с другом
Уж не встретятся.
И все пьют за царя,
За святую Русь,
В ласках знатных шлюх
Забывая грусть.

В красном стане храп,
В красном стане смрад.
Вонь портяночная
От сапог солдат.
Завтра, еле свет,
Нужно снова в бой.
Спи, корявый мой!
Спи, хороший мой!
Пусть вас золотом
Свет зари кропит,
В куртке кожаной
Коммунар не спит.

На заре, заре
В дождевой крутень
Свистом ядерным
Мы встречали день.
Подымая вверх,
Как тоску, глаза,
В куртке кожаной
Коммунар сказал:
«Братья, если здесь
Одолеют нас,
То октябрьский свет
Навсегда погас.
Будет крыть нас кнут,
Будет крыть нас плеть,
Всем весь век тогда
В нищете корпеть».
С горьким гневом рук,
Утерев слезу,
Ротный наш с тех слов
Сапоги разул,
Громко кашлянув,
«На, — сказал он мне, —
Дома нет сапог,
Передай жене».

На заре, заре,
В дождевой крутень,
Свистом ядерным
Мы сушили день.
Эх ты, яблочко,
Да цвету разного,
Бей того... которого...
Буржуазного.
Пуля входит в грудь,
Как пчелы ужал.
Наш отряд тогда
Впереди бежал.
За ложиной пруд,
А за прудом лог.
Коммунар ничком
В землю носом лег.

Мы вперед, вперед!
Враг назад, назад!
Мертвецы пусть так
Под дождем лежат.
Спите, храбрые,
С отзвучавшим ртом!
Мы придем вас всех
Хоронить потом.

Вот и кончен бой,
Машет красный флаг.
Не жалея пят,
Удирает враг.
Удивленный тем,
Что остался цел,
Молча ротный наш
Сапоги надел.
И сказал: «Жене
Сапоги не враз,
Я их сам теперь
Износить горазд».

Вот и кончен бой,
Тот, кто жив, тот рад.
Ай да вольный люд!
Ай да Питер-град!
От полуночи
До синя утра
Над Невой твоей
Бродит тень Петра.
Бродит тень Петра,
Грозно хмурится
На кумачный цвет
В наших улицах.
В берег бьет вода
Пенной индвью...
Корабли плывут
Будто в Индию...

ПОЭМА О ЗВ

Много в России
Троп.
Что ни тропа —
То гроб.
Что ни верста —
То крест.
До енисейских мест
Шесть тысяч один
Сугроб.

Синий уральский
Ском
Каменным лег
Мешком,
За скомом шумит
Тайга.
Коль вязнет в снегу
Нога,
Попробуй идти
Пешком.

Добро, у кого
Закал,
Кто знает сибирский
Шквал.
Но если ты слаб
И лег,

То, тайно пробравшись
В лог,
Тебя отпоет
Шакал.

Буря и грозный
Вой.
Грузно бредет
Конвой.
Ружья наперевес.
Если ты хочешь
В лес,
Не дорожи головой.
Ссылный солдату
Не брат.
Сам подневолен солдат.
Если не взял
На прицел, —
Завтра его под расстрел.
Но ты не иди
Назад.
Пусть умирает
Тот,
Кто брата в тайгу
Ведет.
И ты под кандалный
Дзин
Шпарь, как седой
Баргузин.
Беги все вперед
И вперед.
Там за Уралом
Дом.
Степь и вода
Кругом.
В синюю гладь
Окна
Скрипкой поет
Луна.
Разве так плохо
В нем?
Славный у песни лад.

Мало ли кто ей
Рад.
Там за Уралом
Клен.
Всякий ведь в жизнь
Влюблен
В лунном мерцании
Хат.
Если ж, где отчая
Весь,
Стройная девушка
Есть,
Вся, как сиреневый май,
Вся, как родимый край, —
Разве не манит
Песнь?

Буря и грозный
Вой.
Грузно бредет
Конвой.
Ружья наперевес.
Если ты хочешь
В лес,
Не дорожи
Головой.

Колкий, пронзающий
Пух.
Тяжко идти средь
Пург.
Но под кандалный
Дзень,
Если ты любишь
День,
Разве милей
Шлиссельбург?
Там, упираясь в дверь,
Ходишь, как в клетке
Зверь.



Дума всегда об одном:
Может, в краю
Родном
Стало не так
Теперь.
Может, под песню
Вьюг
Умер последний
Друг.
Друг или мать,
Все равно.
Хочется вырвать
Окно
И убежать в луг.

Но долог тюремный
Час.
Зорок солдатский
Глаз.
Если ты хочешь
Знать,
Как тяжело
Убежать, —
Я знаю один
Рассказ.

Их было тридцать
Шесть.
В камере негде
Сесть.
В окнах бурунный
Вспург.
Крепко стоит
Шлиссельбург,
Море поет ему
Песнь.
Каждый из них
Сидел
За то, что был горд
И смел,

Что в гневной своей
Тщете
К рыдающим в нищете
Большую любовь
Имел.
Ты помнишь, конечно,
Тот
Клокочущий пятый
Год,
Когда из-за стен
Баррикад
Целился в брата
Брат.
Тот в голову, тот
В живот.
Один защищал
Закон —
Невольник, влюбленный
В трон.
Другой этот трон
Гремил,
И брат ему был
Немил.
Ну, разве не прав был
Он?
Ты помнишь, конечно,
Как
Нагайкой свистел
Казак?
Тогда у склоненных
Ниц
С затылков и поясиц
Капал горячий
Мак.
Я знаю — наверно,
И ты
Видал на снегу
Цветы.
Ведь каждый мальчишкой
Рос,
Каждому били
Нос

В кулачной на все
«Сорты».
Но тех я цветов
Не видал,
Был еще глуп
И мал,
И не читал еще
Книг.
Но если бы видел
Их,
То разве молчать
Стал?

Их было тридцать
Шесть.
В каждом кипела
Мечь.
Каждый оставил
Дом
С ивами над прудом,
Но не забыл о нем
Песнь.
Раз комендант
Сказал:
«Тесен для вас
Зал.
Пять я таких
Приму
В камеру по одному,
Тридцать один —
На вокзал».
Поле и снежный
Звон.
Клетчатый мчится
Вагон.
Рельсы грызет
Паровоз.
Разве уместен
Вопрос:
Куда их доставит
Он?

Много в России
Троп.
Что ни тропа —
То гроб.
Что ни верста —
То крест.
До енисейских мест
Шесть тысяч один
Сугроб.

Поезд на всех
Парах.
В каждом неясный
Страх.
Видно, надев
Браслет,
Гонят на много
Лет
Золото рыть
В горах.
Может случиться
С тобой:
То, что достанешь
Киркой,
Дочь твоя там,
Вдалеке,
Будет на левой
Руке
Перстень носить
Золотой.

Поле и снежный
Звон,
Клетчатый мчится
Вагон.
Вдруг тридцать первый
Встал
И шепотом так сказал:
«Нынче мне ночь
Не в сон.
Нынче мне в ночь
Не лежать.

Я твердо решил
Бежать.
Благо, что ночь
Не в луне.
Вы помогите
Мне
Тело мое
Поддержать.
Клетку уж я
Силой...
Выручит снежный
Вой.
Вы заградите меня
Подле окна
От огня,
Чтоб не видал
Конвой».
Тридцать столпились
В ряд,
Будто о чем
Говорят,
Будто глядят
На снег.
Разве так труден
Побег,
Если огни
Не горят?

Их оставалось
Пять.
Каждый имел
Кровать.
В окнах бурный
Вспург.
Крепко стоит
Шлиссельбург,
Только в нем плохо
Спать.

Разве тогда уснешь,
Если все видишь
Рожь,

Видишь родной
Плетень,
Синий, звенящий
День,
И ты по меже идешь?
Тихий всчерный
Час.

Колокол бьет
Семь раз.
Месяц широк
И ал.
Так бы дремал
И дремал,
Не подымая глаз.
Глянешь — на окнах
Пух.
Скучный, несчастный
Друг,
Ночь или день —
Все равно.
Хочется вырвать
Окно
И убежать в луг.

Пятый страдать
Устал.
Где-то подпилоч
Достал.
Ночью скребет
И скребет,
Капает с носа
Пот
Через губу в оскал.
Раз при нагрузке
Дров
Он поскользнулся
В ров...
Смотрят, уж он
На льду,
Что-то кричит
На ходу.

Крикнул — и будь
Здоров.
Быстро бегут
Дни.
День колесу
Сродни.
Снежной январской
Порой
В камере сорок
Второй
Встретились вновь
Они.
Пятому гляди
В глаза,
Тридцать первый
Сказал:
«Там, где струится
Обь,
Есть деревушка
Топь
И очень хороший
Вокзал.
В жизни живут лишь
Раз,
Я вспоминать
Не горазд.
Глупый сибирский
Чалдон,
Скуп, как сто дьяволов,
Он.
За пяточок продаст.
Снежная белая
Гладь.
Нечего мне
Вспоминать.
Знаю одно:
Без грез
Даже в лихой
Мороз
Сладко на сене
Спать».

Пятый сказал
В ответ:
«Мне уже сорок
Лет.
Но не угас мой
Бес,
Так все и тянет
В лес,
В синий вечерний
Свет.
Много сказать
Не могу:
Час лишь лежал
Я в снегу,
Слушал метельный
Вой,
Но помешал
Конвой
С ружьями на бегу.
Серая, хмурая
Высь,
Тучи с землею
Слились».

Ты помнишь, конечно,
Тот
Метельный семнадцатый
Год,
Когда они
Разошлись?
Каждый пошел в свой
Дом
С ивами над прудом,
Видел луну
И клен,
Только не встретил
Он
Сердцу любимых
В нем.
Их было тридцать
Шесть.

В каждом кипела
Мечь.
И каждый в октябрьский
Звон
Пошел на влюбленных
В трон,
Чтоб навсегда их
Сместь.
Быстро бегут
Дни.
Встретились вновь
Они.
У каждого новый
Дом.
Влежку живут лишь
В нем,
Очей загасив огни.
Тихий вечерний
Час.
Колокол бьет
Семь раз.
Месяц широк
И ал.
Тот, кто теперь
Задремал,
Уж не поднимет
Глаз.
Теплая синяя
Весь,
Всякие песни
Есть...
Над каждым своя
Звезда...
Мы же поем
Всегда:
Их было тридцать
Шесть.

1924

АННА СНЕГИНА

1

— Село, значит, наше — Радово,
Дворов, почитай, два ста.
Тому, кто его оглядывал,
Приятственны наши места.
Богаты мы лесом и водью,
Есть пастбища, есть поля.
И по всему угодию
Рассажены тополя.

Мы в важные очень не лезем,
Но все же нам счастье дано.
Дворы у нас крыты железом,
У каждого сад и гумно.
У каждого крашены ставни,
По праздникам мясо и квас.
Недаром когда-то исправник
Любил погостить у нас.

Оброки платили мы к сроку,
Но грозный судья-старшина
Всегда прибавлял к оброку
По мере муки и пшена.
И чтоб избежать напасти,
Излишек нам был без тягот.
Раз — власти, на то они власти,
А мы лишь простой народ.

Но люди — все грешные души.
У многих глаза — что клыки.
С соседней деревни Криуши
Косились на нас мужики.
Житье у них было плохое —
Почти вся деревня вскачь
Пахала одной сохою
На паре заезженных кляч.

Каких уж тут ждать обилий, —
Была бы душа жива.
Украдкой они рубили
Из нашего леса дрова.
Однажды мы их застали...
Они в топоры, мы тож.
От звона и скрежета стали
По телу катилась дрожь.

В скандале убийством пахнет.
И в нашу и в их вину
Вдруг кто-то из них как ахнет! —
И сразу убил старшину.
На нашей быдластой сходке
Мы делу условили ширь.
Судили. Забили в колодки
И десять услали в Сибирь.
С тех пор и у нас неуряды.
Скатилась со счастья вожжа.
Почти что три года кряду
У нас то падеж, то пожар.

Такие печальные вести
Возница мне пел весь путь.
Я в радовские предместья
Ехал тогда отдохнуть.
Война мне всю душу изъела.
За чей-то чужой интерес
Стрелял я в мне близкое тело
И грудью на брата лез.
Я понял, что я игрушка,
В тылу же купцы да знать,

И, твердо простившись с пушками,
Решил лишь в стихах воевать.
Я бросил мою винтовку,
Купил себе «липу» и вот
С такою-то подготовкой
Я встретил 17-й год.

Свобода взметнулась неистово.
И в розово-смердном огне
Тогда над страной калифствовал
Керенский на белом коне.
Война «до конца», «до победы».
И ту же сермяжную рать
Прохвосты и дармоеды
Сгоняли на фронт умирать.
Но все же не взял я шпагу...
Под грохот и рев мортир
Другую явил я отвагу —
Был первый в стране дезертир.

Дорога довольно хорошая,
Приятная хладная звень.
Луна золотою порошею
Осыпала даль деревень.
«Ну, вот оно, наше Радово, —
Промолвил возница, —
Здесь!
Недаром я лошади вкладывал
За норы ее и спесь.
Позволь, гражданин, на чаишко.
Вам к мельнику надо?
Так вон!..
Я требую с вас без излишка
За дальний такой прогон».
.
Даю сороковку.
«Мало!»
Даю еще двадцать.
«Нет!»
Такой отвратительный малый.
А малому тридцать лет.

«Да что ж ты?
Имеешь ли душу?
За что ты с меня гребешь?»
И мне отвечает туша:
«Сегодня плохая рожь.
Давайте еще незвонких
Десяток иль штукек шесть —
Я выпью в шинке самогонки
За ваше здоровье и честь...»

И вот я на мельнице...
Ельник
Осыпан свечьми светляков.
От радости старый мельник
Не может сказать двух слов.
«Голубчик! Да ты ли?
Сергуха!
Озяб, чай? Поди, продрог?
Да ставь ты скорее, старуха,
На стол самовар и пирог!»
В апреле прозябнуть трудно,
Особенно так в конце.
Был вечер задумчиво чудный,
Как дружья улыбка в лице.
Объятия мельника круты,
От них заревет и медведь,
Но все же в плохие минуты
Приятно друзей иметь.
«Откуда? Надолго ли?» —
«На год». —
«Ну, значит, дружище, гуляй!
Сим летом грибов и ягод
У нас хоть в Москву отбавляй.
И дичи здесь, братец, до черта,
Сама так под порох и прет,
Подумай ведь только...
Четвертый
Тебя не видали мы год...»
.
.
Беседа окончена...

Чинно

Мы выпили весь самовар.
По-старому с шубой овчинной
Иду я на свой сеновал.
Иду я разросшимся садом,
Лицо задевает сирень.
Так мил моим вспыхнувшим взглядам
Состарившийся плетень.
Когда-то у той вон калитки
Мне было шестнадцать лет,
И девушка в белой накидке
Сказала мне ласково: «Нет».
Далекие, милые были.
Тот образ во мне не угас...
Мы все в эти годы любили,
Но мало любили нас.

2

«Ну что же! Вставай, Сергуша!
Еще и заря не текла,
Старуха за милую душу
Оладьев тебе напекла.
Я сам-то сейчас уеду
К помещице Снегиной...
Ей
Вчера настролял я к обеду
Прекраснейших дупелей».
Привет тебе, жизни денница.
Встаю, одеваюсь, иду.
Дымком отдает росяница
На яблонях белых в саду.
Я думаю:
Как прекрасна
Земля
И на ней человек.
И сколько с войной несчастных
Уродов теперь и калек.
И сколько зарыто в ямах.
И сколько зароят еще.
И чувствую в скулах упрямых
Жестокою судоргу щек.

Нет, нет!
Не пойду навеки.
За то, что какая-то мразь
Бросает солдату-калке
Пятак или гривенник в грязь.

«Ну, доброе утро, старуха.
Ты что-то немного сдала?»
И слышу сквозь кашель глухо:
«Дела одолели, дела.
У нас здесь теперь неспокойно.
Испариной все зацвело.
Сплошные мужицкие войны —
Дерутся селом на село.
Сама я своими ушами
Слышала от прихожан:
То радовцев бьют криушане,
То радовцы бьют криушан.
А все это, значит, безвластье.
Прогнали царя...
Так вот...
Посыпались все напасти
На наш неразумный народ,
Открыли зачем-то остроги,
Злодеев пустили лихих, —
Теперь на большой дороге
Покою не знай от них.
Вот тоже, допустим... с Криуши...
Их нужно б в тюрьму за тюрьмой,
Они ж, воровские души,
Вернулись опять домой.
У них там есть Прон Оглоблин,
Буддыжник, драчун, грублян.
Он вечно на всех озлоблен,
С утра по неделям пьян.
И нагло в третьевом годе,
Когда объявили войну,
При всем честном народе
Убил топором старшину.
Таких теперь тысячи стало
Творить на свободе гнусь.

Пропала Расея, пропала...
Погибла кормилица Русь...»

Я вспомнил рассказ возницы
И, взяв свою шляпу и трость,
Пошел мужикам поклониться,
Как старый знакомый и гость.

Иду голубою дорожкой
И вижу — навстречу мне
Несется мой мельник на дрожках
По рыхлой еще целине.
— Сергуха! За милую душу!
Постой, я тебе расскажу.
Сейчас. Дай поправить вожжу,
Потом и тебя оглоушу.
Чего ж ты мне утром ни слова?
Я Снегиным так и бряк.
Приехал ко мне, мол, веселый
Один молодой чудак.
(Они ко мне очень желанны,
Я знаю их десять лет.)
А дочь их замужняя Анна
Спросила:
«Не тот ли, поэт?» —
«Ну да, — говорю, — он самый». —
«Блондин?» —
«Ну конечно, блондин». —
«С кудрявыми волосами?» —
«Забавный такой господин». —
«Когда он приехал?» —
«Недавно». —
«Ах, мамочка, это он.
Ты знаешь,
Он был забавно
Когда-то в меня влюблен.
Был скромный такой мальчишка,
А нынче...
Поди ж ты...
Вот...
Писатель...»

Известная шишка...
Без просьбы уж к нам не придет».

И мельник, как будто с победы,
Лукаво прищурил глаз:
— Ну ладно! Прощай до обеда.
Другое сдержу про запас.

Я шел по дороге в Криушу
И тростью сшибал зеленыя.
Ничто не пробилось мне в душу,
Ничто не смутило меня.
Струилися запахи сладко,
И в мыслях был пьяный туман...
Теперь бы с красивой солдаткой
Завесть хорошо бы роман.

Но вот и Криуша...
Три года
Не зрел я знакомых крыш.
Сиреневая погода
Сиренью обрызгала тишь.
Не слышно собачьего лая,
Здесь нечего, видно, стеречь —
У каждого хата гнилая,
А в хате ухваты да печь.
Гляжу, на крыльце у Прона
Горластый
Мужицкий галдеж.
Толкуют о новых законах,
О ценах на скот и рожь.
— Здорово друзья!
— Э, охотник!
Здорово, здорово!
Садись.
Послушай-ка ты, беззаботник,
Про нашу крестьянскую жисть.
Что нового в Питере слышно?
С министрами, чай, ведь знаком?
Недаром, едрит твою в дышло,
Воспитан ты был кулаком.

Но все ж мы тебя не порочим.
Ты — свойский, мужицкий, наш,
Бахвалишься славой не очень
И сердце свое не продашь.
Бывал ты к нам зорким и рьяным,
Себя вынимал на испод. . .
Скажи:
Отойдут ли крестьянам
Без выкупа пашни господ?
Кричат нам,
Что землю не троньте,
Еще не настал, мол, миг.
За что же тогда на фронте
Мы губим себя и других?

И каждый с улыбкой угрюмой
Смотрел мне в лицо и в глаза,
А я, отягченный думой,
Не мог ничего сказать.
Дрожали, качались ступени,
Но помню
Под звон головы:
«Скажи,
Кто такое Ленин?»
Я тихо ответил:
«Он — вы».

3

На корточках ползали слухи,
Судили, решали шепча.
И я от моей старухи
Достаточно их получал.

Однажды, вернувшись с тяги,
Я лег подремать на диван.
Разносчик болотной влаги,
Меня прознобил туман.
Трясло меня, как в лихорадке,
Бросало то в холод, то в жар.
И в этом проклятом припадке
Четыре я дня пролежал.

Мой мельник с ума, зная, спятил.
Поехал.
Кого-то привез...
Я видел лишь белое платье
Да чей-то привздернутый нос.
Потом, когда стало легче,
Когда прекратилась трясь,
На пятые сутки под вечер
Простуда моя улеглась.
Я встал.
И лишь только пола
Коснулся дрожащей ногой,
Услышал я голос веселый:
— А!
Здравствуйте, мой дорогой!
Давненько я вас не видала.
Теперь из ребяческих лет
Я важная дама стала,
А вы — знаменитый поэт.

.
Ну, сядем.
Прошла лихорадка?
Какой вы теперь не такой!
Я даже вздохнула украдкой,
Коснувшись до вас рукой.
Да!..
Не вернуть что было.
Все годы бегут в водоем.
Когда-то я с вами любила
Сидеть у калитки вдвоем.
Мы вместе мечтали о славе...
И вы угодили в прицел,
Меня же про это заставил
Забывать молодой офицер...

Я слушал ее и невольно
Оглядывал стройный лик.
Хотелось сказать:
Довольно!
Найдемте другой язык!

Но почему-то, не знаю,
Смущенно сказал невпопад:
«Да... Да...
Я сейчас вспоминаю...
Садитесь.
Я очень рад.
Я вам прочитаю немного
Стихи
Про кабацкую Русь...
Отделано четко и строго.
По чувству — цыганская грусть». —
Сергей!
Вы такой нехороший.
Мне жалко,
Обидно мне,
Что пьяные ваши дебоши
Известны по всей стране.
Скажите:
Что с вами случилось?» —
«Не знаю». —
«Кому же знать?» —
«Наверно, в осеннюю сырость
Меня родила моя мать». —
«Шутник вы...» —
«Вы тоже, Анна». —
«Кого-нибудь любите?» —
«Нет!» —
«Тогда еще более странно
Губить себя с этих лет:
Пред вами такая дорога...»

Сгущалась, туманилась даль...
Не знаю, зачем я трогал
Перчатки ее и шаль.

.

Луна хохотала, как клоун,
И в сердце хоть прежнего нет,
По-странному был я полон
Наплывом шестнадцати лет.
Расстались мы с ней на рассвете
С загадкой движений и глаз...

Есть что-то прекрасное в лете,
А с летом прекрасное в нас.

Мой мельник. . .
Ох, этот мельник.
С ума меня сводит он.
Устроил волюнку, бездельник,
И бегаёт, как почтальон.
Сегодня опять с запиской,
Как будто бы кто-то влюблен:
«Придите,
Вы самый близкий.
С приветом
Оглоблин Прон».

Иду.
Прихожу в Криушу.
Оглоблин стоит у ворот
И спяну в печонки и в душу
Костит обнищальный народ.
«Эй, вы!
Тараканье отродье!
Все к Снегиной. . .
Р-раз и квас.
Дашь, мол, твои угожья
Без всякого выкупа с нас».
И тут же, меня завидя,
Снижая сварливую прыть,
Сказал в неподдельной обиде:
«Крестьян еще нужно варить».

«Зачем ты позвал меня, Проша?» —
«Конечно, ни жать, ни косить.
Сейчас я достану лошадь
И к Снегиной. . . вместе. . .
Просить. . .»
И вот запрягли нам клячу.
В оглоблях мосластая шкетъ —
Таких отдают с придачей,
Чтоб только самим не иметь.
Мы ехали мелким шагом,
И путь нас смешил и злил:

В подъемах по всем оврагам
Телегу мы сами везли.

Приехали.
Дом с мезонином
Немного присел на фасад.
Волнующе пахнет жасмином
Плетневый его палисад.
Слезаем.
Подходим к террасе
И, пыль отряхая с плеч,
О чем-то последнем часе
Из горницы слышим речь:
«Рыдай не рыдай — не помога...
Теперь он холодный труп...
Там кто-то стучит у порога...
Припудрись...
Пойду отопру...»

Дебелая грустная дама
Откинула добрый засов.
И Прон мой ей брякнул прямо
Про землю,
Без всяких слов.
«Отдай... —
Повторял он глухо. —
Не ноги ж тебе целовать!»

Как будто без мысли и слуха
Она принимала слова.
Потом в разговорную очередь
Спросила меня
Сквозь жуть:
«А вы, вероятно, к дочери?
Присядьте...
Сейчас доложу...»
Теперь я отчетливо помню
Тех дней роковое кольцо.
Но было совсем не легко мне
Увидеть ее лицо.
Я понял —
Случилось горе.

И молча хотел помочь.
«Убили... Убили Борю...
Оставьте.
Уйдите прочь.
Вы — жалкий и низкий трусишка!
Он умер...
А вы вот здесь...»

Нет, это уж было слишком.
Не всякий рожден перенести.
Как язвы, стыдясь оплеухи,
Я Прону ответил так:
«Сегодня они не в духе...
Поедем-ка, Прон, в кабак...»

4

Все лето провел я в охоте.
Забыл ее имя и лик.
Обиду мою
На болоте
Оплакал рыдальщик-кулик.

Бедна наша родина кроткая
В древесную цветень и сочь.
И лето такое короткое,
Как майская теплая ночь.
Заря холодней и багровей.
Туман припадает ниц.
Уже в облетевшей дуброве
Разносится звон синиц.
Мой мельник вовсю улыбается,
Какая-то веселость в нем.
«Теперь мы, Сергуха, по зайцам
За милую душу пальнем».
Я рад и охоте...
Коль нечем
Развеять тоску и сон.
Сегодня ко мне под вечер,
Как месяц, вкатился Прон.
«Дружище.
С великим счастьем.

Настал ожидаемый час.
Приветствую с новой властью!
Теперь мы всех р-раз — и квас!
Без всякого выкупа с лета
Мы пашни берем и леса.
В России теперь Советы
И Ленин — старшой комиссар.
Дружище!
Вот это номер!
Вот это почин так почин.
Я с радости чуть не помер.
А брат мой в штаны намочил.
Едри ж твою в бабушку плюнуть.
Гляди, голубарь, веселей.
Я первый сейчас же коммуны
Устрою в своем селе!»

У Прона был брат Лабутя,
Мужик — что твой пятый туз:
При всякой опасной минуте
Хвальбишка и дьявольский трус.
Таких вы, конечно, видали.
Их рок болтовней наградил.
Носил он две белых медали
С японской войны на груди.
И голосом хриплым и пьяным
Тянул, заходя в кабак:
«Прославленному под Ляояном
Ссудите на четвертак. . .»
Потом, насосавшись до дури,
Взволнованно и горячо
О сдавшемся Порт-Артуре
Соседу слезил на плечо.
«Голубчик! —
Кричал он. —
Петя!
Мне больно. . . Не думай, что пьян.
Отвагу мою на свете
Лишь знает один Ляоян».

Такие всегда на примете.
Живут, не моволя рук.

И вот он, конечно, в совете,
Медали запрятал в сундук.
Но с тою же важной осанкой,
Как некий седой ветеран,
Хрипел под сивушною банкой
Про Нерчинск и Турухан:
«Да, братец!
Мы горе видали,
Но нас не запугивал страх...»

.
Медали, медали, медали
Звенели в его словах.
Он Прону вытягивал нервы,
И Прон материл не судом.
Но все ж тот поехал первый
Описывать снегинский дом.

В захвате всегда есть скорость:
«Даешь! Разберем потом!
Весь хутор забрали в волость
С хозяйками и со скотом».

А мельник...
Мой старый мельник
Хозяек привез к себе,
Заставил меня, бездельник,
В чужой ковыряться судьбе.
И снова нахлынуло что-то...
Когда я всю ночь напролет
Смотрел на скривленный заботой
Красивый и чувственный рот.

Я помню —
Она говорила:
«Простите... Была неправа...
Я мужа безумно любила.
Как вспомню... болит голова...
Но вас
Оскорбила случайно...
Жестокость была мой суд...
Была в том печальная тайна,
Что страстью преступной зовут.

Конечно,
До этой осени
Я знала б счастливую быль...
Потом бы меня вы бросили,
Как выпитую бутыль...
Поэтому было не надо...
Ни встреч... ни вообще продолжать...
Тем более, с старыми взглядами
Могла я обидеть мать...»

Но я перевел на другое,
Уставясь в ее глаза,
И тело ее тугое
Немного качнулось назад.
«Скажите,
Вам больно, Анна,
За ваш хуторской разор?»
Но как-то печально и странно
Она опустила свой взор...

.
«Смотрите...
Уже светает.
Заря как пожар на снегу...
Мне что-то напоминает...
Но что?..
Я понять не могу...
Ах... Да..
Это было в детстве...
Другой... Не осенний рассвет...
Мы с вами сидели вместе...
Нам по шестнадцать лет...»

Потом, оглядев меня нежно
И лебедя выгнув рукой,
Сказала как будто небрежно:
«Ну, ладно...
Пора на покой...»

.
Под вечер они уехали.
Куда?
Я не знаю, куда.

В равнине, проложенной вехами,
Дорогу найдешь без труда.

Не помню тогдашних событий,
Не знаю, что сделал Прон.
Я быстро умчался в Питер
Развеять тоску и сон.

5

Суровые, грозные годы.
Но разве всего описать?
Слыхали дворцовые своды
Солдатскую крепкую «мать».
Эх, удаль!
Цветение в даях.
Недаром чумазый сброд
Играл по дворам на роялях
Коровам тамбовский фокстрот.
За хлеб, за овес, за картошку
Мужик залучил граммофон, —
Слюнявя козлиную ножку,
Танго себе слушает он.
Сжимая от прибыли руки,
Ругаясь на всякий налог,
Он мыслит до дури о штуке,
Катающейся между ног.

Шли годы
Размашисто, пылко...
Удел хлебороба гас.
Немало поперело в бутылках
«Керенок» и «ходей» у нас.
Фефела! Кормилец! Касатик!
Владелец земель и скотом,
За пару измызганных «катек»
Он даст себя выдрать кнутом.

Ну, ладно.
Довольно стонов,
Не нужно насмешек и слов!
Сегодня про участь Прона
Мне мельник прислал письмо:

«Сергуха! За милую душу!
Привет тебе, братец! Привет!
Ты что-то опять в Криушу
Не кажешься целых шесть лет.
Утешь!
Соберись, на милость!
Прижваривай по весне!
У нас здесь такое случилось,
Чего не расскажешь в письме.
Теперь стал покой в народе,
И буря пришла в угомон.
Узнай, что в двадцатом годе
Расстрелян Оглоблин Прон.
Расея. . .
Дуровая зыкъ она.
Хошь верь, хошь не верь ушам —
Однажды отряд Деникина
Нагрязнул на криушан.
Вот тут и пошла потеха. . .
С потехи такой — околеть.
Со скрежетом и со смехом
Гульнула казацкая плеть.
Тогда вот и чикнули Проню,
Лабутя ж в солому залез
И вылез,
Лишь только кони
Казацкие скрылись в лес.
Теперь он по пьяной морде
Еще не устал голосить:
«Мне нужно бы красный орден
За храбрость мою носить».
Совсем прокатились тучи. . .
И хоть мы живем не в раю,
Ты все ж приезжай, голубчик,
Утешить судьбину мою. . .»

И вот я опять в дороге.
Ночная июльская хмарь.
Бегут говорливые дроги
Ни шатко ни валко, как встарь.

Дорога довольно хорошая,
Равнинная тихая звень.
Луна золотою порошею
Осыпала даль деревень.
Мелькают часовни, колодцы,
Околицы и плетни.
И сердце по-старому бьется,
Как билось в далекие дни.

Я снова на мельнице...
Ельник
Усыпан свечьями светляков.
По-старому старый мельник
Не может связать двух слов.
«Голубчик! Вот радость! Сергуха?!
Озяб, чай? Поди, продрог?
Да ставь ты скорее, старуха,
На стол самовар и пирог.
Сергунь! Золотой! Послушай.

.
И ты уж старик по годам...
Сейчас я за милую душу
Подарок тебе передам». —
«Подарок?» —
«Нет...
Просто письмишко.
Да ты не спеши, голубок.
Почти что два месяца с лишком
Я с почты его приволок».

Вскрываю... читаю... Конечно!
Откуда ж больше и ждать.
И почерк такой беспечный
И лондонская печать.
«Вы живы?.. Я очень рада...
Я тоже, как вы, жива.
Так часто мне снится ограда,
Калитка и ваши слова.
Теперь я от вас далеко...
В России теперь апрель.
И синюю заволокой
Покрыта береза и ель.

Сейчас вот, когда бумаге
Вверяю я грусть моих слов,
Вы с мельником, может, на тяге
Подслушиваете тетеревов.
Я часто хожу на пристань
И, то ли на радость, то ль в страх,
Гляжу средь судов все пристальней
На красный советский флаг.
Теперь там достигли силы.
Дорога моя ясна...
Но вы мне попрежнему милы,
Как родина и как весна».

.

Письмо как письмо.
Беспричинно.
Я в жисть бы таких не писал.
Попрежнему с шубой овчинной
Иду я на свой сеновал.
Иду я разросшимся садом,
Лицо задевает сирень.
Так мил моим вспыхнувшим взглядам
Погорбившийся плетень.
Когда-то у той вон калитки
Мне было шестнадцать лет.
И девушка в белой накидке
Сказала мне ласково: «Нет».
Далекie милые были...
Тот образ во мне не угас,
Мы все в эти годы любили,
Но, значит,
Любили и нас.

1925

**СКАЗКА О ПАСТУШОНКЕ ПЕТЕ,
ЕГО КОМИССАРСТВЕ
И КОРОВЬЕМ ЦАРСТВЕ**

Пастушонку Пете
Трудно жить на свете:
Тонкой хворостиной
Управлять скотиной.

Если бы корова
Понимала слово,
То жилось бы Пете
Лучше нет на свете.

Но коровы в спуске
На траве у леса,
Говоря по-русски,
Смыслят ни бельмеса.

Им бы лишь мычалось,
Да трава качалась, —
Трудно жить на свете
Пастушонку Пете.

Хорошо весною
Думать под сосною,
Улыбаясь в дреме,
О родимом доме.

Май все хорошеет,
Ели все игольчей;
На коровьей шее
Плачет колокольчик.

Плачет и смеется
На цветы и травы,
Голос раздается
Звоном средь дубравы.

Пете пастушонку
Голоса не новы, —
Он найдет сторонку,
Где звенят коровы.

Соберет всех в кучу,
На село отгонит,
Не получит взбучу —
Чести не уронит.

Любо хворостиной
Управлять скотиной —
В ночь у перелесиц
Спи и плюй на месяцц.

— — —

Ну, а если лето —
Песня плохо спета.
Слишком много дела —
В поле рожь поспела.

Ах, уж не с того ли
Дни похорошели, —
Все колосья в поле
Как лебяжьи шен.

Но беда на свете
Каждый час готова.
Зазевался Петя —
В рожь зайдет корова.

А мужик, как взглянет,
Разведет ручищей
Да как в спину втянет
Прямо кнутовищей.

Тяжко хворостиной
Управлять скотиной.

Вот приходит осень
С цепью кленов голых,
Что шумит, как восемь
Чертенят веселых.

Мокрый лист с осины
И дорожных ивок
Так и хлещет в спину,
В спину и в загривок.

Елка ли, кусток ли,
Только вплоть до кожи
Сапоги промокли,
Одежонка — тоже.

Некому открыться,
Весь как есть пропащий.
Вспуганная птица
Улетает в чащу.

И дрожишь полсутки
То душой, то телом,
Рассказать бы утке —
Утка улетела.

Рассказать дубровам —
У дубровы опадь.
Рассказать коровам —
Им бы только лопать.

Нет, никто на свете
На обмокшем спуске
Пастушонка Петю
Не поймет по-русски.

Трудно хворостиной
Управлять скотиной.

Мыслит Петя с жаром:
То ли дело в мире
Жил он комиссаром
На своей квартире.

Знал бы все он сроки,
Был бы всех речистей,
Собирал оброки
Да дороги чистил.

А по вязкой грязи,
По осенней тряске
Ездил в каждом разе
В волостной коляске.

И приснился Пете
Страшный сон на свете.

Все доступно в мире, —
Петя комиссаром
На своей квартире
С толстым самоваром.

Чай пьет на террасе,
Ездит в тарантасе,
Лучше нет на свете
Жизни, чем у Пети.

Но всегда не даром
Служат комиссаром:
Нужно знать все сроки,
Чтоб собирать оброки.

Чай, конечно, сладок,
А с вареньем — дважды,
Но блюсти порядок
Может, да не каждый.

Нужно знать законы,
Ну, а где же Пете?
Он еще иконы
Держит в волсовете.

А вокруг совета
В дождь и непогоду
С самого рассвета
Уймище народу.

Наш народ ведь голый,
Что ни день, то с требой, —
То построй им школу,
То давай им хлеба.

Кто им наморочил?
Кто им накудахтал?
Отчего-то очень
Стал им нужен трактор.

Ну, а где же Пете?
Он ведь пас скотину —
Понимал на свете
Только хворостину.

А народ суровый
В ропоте и гаме
Хуже, чем коровы,
Хуже и упрямей.

С эдаким товаром
Дрянь быть комиссаром.

Взяли раз Петрушу
За живот, за душу,
Бросили в коляску
Да как дали таску...

• • • • •
Тут проснулся Петя.
Сладко жить на свете!

Встал, а день что надо —
Солнечный, звенящий,
Легкая прохлада
Овевает чаши.

Петя с кротким словом
Говорит коровам:
— Не хочу и даром
Быть я комиссаром. —

А над ним береза,
Веткой утираясь,
Говорит сквозь слезы,
Тихо улыбаясь:

— Тяжело на свете
Быть для всех примером.
Будь ты лучше, Петя,
Раньше пионером.

Малышам в острастку,
В мокрый день осенний,
Написал ту сказку
Я — Сергей Есенин.

1925

П Р И М Е Ч А Н И Я

ОТ РЕДАКТОРА

Настоящее издание стихотворных произведений Сергея Есенина является одним из наиболее полных. По полноте представленных текстов оно уступает только четырехтомному Собранию стихотворений Сергея Есенина, выпущенному ГИЗом в 1926—1927 годах. В настоящий сборник не включено лишь несколько стихотворений и пьеса в стихах «Страна негодяев», которая Есениным при жизни не публиковалась.

В основу публикуемых текстов положены их последние прижизненные редакции, осуществленные Есениным для первых трех томов Собрания стихотворений. Ранние печатные и рукописные варианты отнесены в примечания (или отмечены в примечаниях без их цитации). Стихи, остававшиеся при жизни поэта за пределами Собрания стихотворений, даются либо по IV тому этого Собрания (подготовленному уже без участия автора), либо по журнальным публикациям, прижизненным и посмертным. К числу стихотворений, извлеченных из периодической печати и архивов и не вошедших в Собрание стихотворений, относятся следующие: «Ах, метель такая, просто черт возьми», «Бабушкины сказки», «Батум», «Береза», «Вечер как сажа», «Егорий», «За рекой горят огни», «Королева», «Молотьба», «Побирушка», «По лесу леший кричит на сову», «Прячет месяц за овинами», «Село», «Сельский часослов», «Снежная равнина, белая луна». Все остальные произведения даны по Собранию стихотворений, с учетом последующих уточнений, внесенных редакторами произведений Есенина — С. А. Толстой-Есениной, К. Л. Зелинским, П. И. Чагиным (эти уточнения относятся преимущественно к датировке стихов, которая делалась поэтом при подготовке Собрания по памяти и в ряде случаев опровергается его рукописями и первыми публикациями). В текстах, в соответствии с авторской волей, сохранены некоторые особенности правописания поэта, имеющие стилистическое значение («чорный», «жолтый», «Пугачов» и т. п.).

В основу композиции сборника положено жанровое деление; он состоит из двух разделов: «Стихотворения» и «Поэмы» (в последний раздел входит и трагедия «Пугачов», близкая к жанру драматической поэмы). Внутри этих двух разделов распределение материала произведено по хронологическому принципу (внутри каждого года полнота

хронологическая последовательность не могла быть достигнута из-за отсутствия точных сведений о датировке некоторых стихотворений). В разделе «Стихотворения» особо выделен, как законченная в тематическом отношении группа лирических стихов, цикл «Персидские мотивы». Стихи этого цикла в свою очередь расположены в последовательности их написания (следует оговорить, что в книге Есенина «Персидские мотивы», где автор не придерживался хронологического принципа, эти стихи печатались в следующей очередности: «Улеглась моя бывшая рана», «Я спросил сегодня у менялы», «Шаганэ ты моя, Шаганэ», «Ты сказала, что Саади», «Никогда я не был на Босфоре», «Свет шафранный вечернего края», «Воздух прозрачный и синий», «Золото холодное луны», «Голубая родина Фирдуси», «В Хороссане есть такие двери», «Быть поэтом — это значит то же», «Руки милой — пара лебедей», «Отчего луна так светит тускло», «Глупое сердце, не Сейся!», «Море голосов воробьиных», «Голубая да веселая страна»).

Даты написания стихотворений даны редактором под текстом и лишь в редких случаях принадлежат автору. Если датировка предположительна, она сопровождается вопросительным знаком, заключенным в круглые скобки. Двойные даты (через тире) означают, что произведение писалось в данные годы, а другие двойные даты (через запятую) — что писатель снова возвращался к произведению.

В примечаниях редактор стремился представить сведения о времени и месте напечатания произведений поэта, отметить наличие вариантов или процитировать их, сообщить минимальные историко-литературные и фактические данные, помогающие освоению тех или иных текстов, пояснить отдельные диалектные или архаические выражения, встречающиеся в стихотворениях и поэмах Сергея Есенина. При работе над примечаниями редактору оказали помощь справочные материалы, любезно сообщенные Д. И. Золотницким. За предоставленные неопубликованные высказывания Д. Фурманова о С. Есенине, использованных во вступительной статье, приношу благодарность Т. Б. Дмитриевой.

СТИХОТВОРЕНИЯ

«Вот уже вечер. Роса» (стр. 45). Впервые — в книге: Сергей Есенин. Собрание стихотворений, т. I. М.—Л., 1926.

«Там, где капустные грядки» (стр. 45). Впервые — в книге: Сергей Есенин. Собрание стихотворений, т. I. М.—Л., 1926.

«Поет зима — а укает» (стр. 46). Впервые — в журнале для детей «Мирок», 1914, № 2. Есенин в 1916 году предполагал издать книжку стихов для детей «Зарянка» и включил это стихотворение в рукопись неизданной книжки, хранящуюся в архиве издателя М. В. Аверьянова в Рукописном отделе Института русской литературы АН СССР (Ленинград).

«Занграй, сыграй, тальяночка, малиновы меха» (стр. 46). Впервые — в книге Есенина «Радуница». Пг., 1916. *Тальянка* — вид гармоники. *Прибаски* — песни.

Подражание песне (стр. 47). Впервые (без названия) — в книге Есенина «Радуница». Пг., 1916. Для I тома Собрания стихотворений Есенин внес исправления в строки 2-ю и 5-ю. *Канон* — церковное песнопение.

«Выткался на озере алый свет зари» (стр. 47). Впервые — в журнале «Млечный Путь», 1915, № 3, затем — в «Ежемесячном журнале», 1915, № 8. В первопечатном тексте отсутствовало заключительное двестишие, которое Есенин внес в I том Собрания стихотворений. После 4-й строфы первоначально имелось двестишие, исключенное автором из I тома Собрания стихотворений:

Не отнимут знахари, не возьмет ведун —
Над твоими грезами я ведь сам колдун.

Персуду нет — нет дела до сплетни.

«Сыплет черемуха снегом» (стр. 48). Впервые — в «Ежемесячном журнале», 1915, № 6.

Калики (стр. 48). Впервые — в книге Есенина «Радуница». Пг., 1916. *Калики* — странствующие нищие, распевające духовные песни. *Скоморохи* — в древней Руси бродячие актеры и певцы-музыканты.

«Под венком лесной ромашки» (стр. 49). Впервые — в книге: Сергей Есенин. Собрание стихотворений, т. I. М.—Л., 1926.

«Хороша была Танюша, краше не было в селе» (стр. 50). Впервые — под названием «Танюша» в «Ежемесячном журнале», 1915, № 11.

«Темна ноченька, не спится» (стр. 50). Впервые — в книге: Сергей Есенин. Собрание стихотворений, т. I. М.—Л., 1926.

Что прошло — не вернуть (стр. 51). Впервые — в журнале «Красная новь», 1926, № 9. Стихотворение обнаружено в ученической тетради поэта, относящейся ко времени его обучения в Спас-Клепиковской учительской школе.

«Матушка в Купальницу по лесу ходила» (стр. 51). Впервые — в книге Есенина «Радуница». Пг., 1916. В I томе Собрания стихотворений Есенин внес изменения в строки 9-ю и 11-ю и снял двуступище, предшествовавшее заключительной строфе:

Пусть бы меня хаяли, пусть бы все гадели, —
Не спугнуть соколика на словах и деле.

Купальница — народное название купальской ночи, т. е. ночи на 24 июня, праздник Ивана Купалы (церковь отмечает в этот день также память св. Агриппины Купальницы). *Купыри* — болотное растение *Сутемень* — сумерки.

Песнь о Евпатии Коловрате (стр. 52). Впервые — в книге: Сергей Есенин. Собрание стихотворений, т. II. М.—Л., 1926. Написана первоначально в 1912 году, автограф этой редакции был утерян. Пётр восстановил стихотворение по памяти, повидимому несколько сократив его. «Песнь» представляет собой поэтическую обработку известного памятника старинной русской литературы — «Повести о разорении Батыем Рязани», ее четвертой части, рассказывающей о рязанском воеводе — богатыре Евпатии Коловрате, одном из героев сопротивления татарским ордам хана Батыя. Уловив тонко, что рассказ о Евпатии Коловрате имел вначале, повидимому, форму исторической песни, Есенин попытался приблизиться в своей «Песни» именно к этому жанру и широко использовал особенности языка и образов оригинала. *Облачные вентеры* — облака, подобные вентерям — рыболовным снарядам, представляющим собой сетчатые кошель на обручах. *Переточкины* — речушки. *Допоть* — татарское нашествие. *Сугоры* — холмы, пригорки. *Смолота* — хлеба, зерна. *Затулено* — закрыто. *Журишка* — ласкательное обращение к молодым (от жура — журавель). *Полоняников* — пленных. *По пыжну* — т. е. через мелкий лес. *Победилец* — гонец. *Баторе* — богатырь, рыцарь. *Кумашница* — сарафаны.

Берега (стр. 56). Впервые — в журнале «Мирок», 1914, № 1, за подписью: Аристон. Авторство Есенина установлено Д. Золотницким в статье «Из ранних стихов Сергея Есенина», помещенной в журнале «Нева», 1955, № 3.

Пороша (стр. 57). Впервые — в журнале «Мирок», 1914, № 2.

Село (стр. 57). Впервые — в журнале «Мирок», 1914, № 3. Больший перевод отрывка из поэмы Т. Г. Шевченко «Княжна».

С добрым утром! (стр. 58). Впервые — в журнале «Мирок», 1914, № 7.

Узоры (стр. 58). Впервые — в журнале «Друг народа», 1915, № 1. Журнал «Друг народа» был задуман группой писателей-суриковцев осенью 1914 года; Есенин стал секретарем редакции этого журнала. Однако выпустить первый номер ему удалось только к началу 1915 года; затем это издание прекратилось.

«Край любимый! Сердцу снятся» (стр. 59). Впервые — «Биржевые ведомости», утр. вып., 1915, 25 декабря, где начиналось несколько иначе. Другое начало было дано автором в записи этого стихотворения в альбом поэта-суриковца И. В. Репина. Окончательная редакция — в издании «Радуницы», выпущенном в 1921 году. *Переметки* — жерди, хворостины.

«Пойду в скуфье смиренным иноком» (стр. 59). Первоначальная редакция под названием «Инок», помещенная в «Радунице» (Пг., 1916), существенно отличается от окончательной переработки, сделанной автором в I томе Собрания стихотворений (Есенин снял ряд условных поэтических выражений и слов религиозного характера).

«Сторона ль моя, сторонка» (стр. 60). Впервые — в «Литературных приложениях» к «Ниве» за 1915 год, № 15 (стр. 613). *Забольная* — надоедливая. *Подожочек* — посох, трость.

«По дороге идут богомолки» (стр. 61). Впервые — под названием «Богомолки» в книге Есенина «Радуница». Пг., 1916. *Щипульные колки* — колючие ветви щипульника (шиповника). *Кукольни* — сорняк с темнорозовыми цветами и ядовитыми семенами. *Зык* — рев, резкий звук. *Канон* — церковное песнопение.

Ямщик (стр. 61). Впервые — в вечернем выпуске «Красной газеты», 1926, № 137, 14 июня. *Поверешный дым* — идущий с крыш, развеивающийся.

«Шел господь пытать людей в любви» (стр. 62). Впервые — в книге Есенина «Радуница». Пг., 1916. *Кулижка* — прогаинка в лесу. *Жамкал* — жевал, мял.

«Зашумели над затоном тростники» (стр. 63). Впервые (с посвящением поэту Сергею Городецкому, впоследствии

снятым) — в журнале «Млечный Путь», 1915, № 2; затем — в «Новом журнале для всех», 1915, № 4. Семик — весенний хороводный праздник, справляемый в четверг на Троице.

В хате (стр. 63). Впервые — в книге Есенина «Радунница». Пг., 1916. Драчонь — лепешки из муки с яйцами и маслом, испекаемые на сковороде. Держка — кадка или бочонок. Махотка — кринка.

«Я — пастух; мои палаты» (стр. 64). Впервые — в «Ежемесячном журнале», 1915, № 8. Сутелы — сумерки.

«Край ты мой заброшенный» (стр. 65). Впервые — в книге Есенина «Радунница». Пг., 1916. Прутник — кустарник.

«Черная, побтом пропахшая выть» (стр. 65). Впервые — в книге Есенина «Радунница» (Пг., 1916) под названием «Выть» и с посвящением Д. В. Философеву (публицисту и критику-декаденту). При последующих перепечатках автор снял заглавие и посвящение. Выть — земельный участок, а также доля, судьба. Верстве — рядница, сшитая в 3—4 полотнища, служащая для сушки зерна. Кукал — бечева, на которую нжут рыбу.

«Тоги да болота» (стр. 66). Впервые — в книге Есенина «Радунница». Пг., 1916. Взвсниваст — начинает звенеть, звучать.

«Гой ты, Русь моя родная» (стр. 66). Впервые — в книге Есенина «Радунница». Пг., 1916. Корогод — хоровод. Лехи — луговые или полевые полосы.

Егорий (стр. 67). Печатается впервые по черновому автографу, написанному на обороте рукописи заключительной части стихотворения «Марфа Посадница». Автограф хранится в Рукописном отделе Государственной Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград). Написано в августе 1914 года. Стихотворение представляет собой обработку фольклорного мотива, в котором св. Георгий Победоносец представлен в образе народного зэстунника — Егория Храброго. Несколько Есенин близок к народной легенде, видно из следующей характеристики фольклорных преданий о Егорини: «И в поговорках и в сказаниях Егорий пасет зверей, особенно волков, и распределяет им пищу... Покровительство стадам ведет Егория прямо к начальству над волками и другими дикими зверями... Представление именно волков собаками божественного воеводы — обычное представление» (А. И. Кирпичников. Святой Георгий и Егорий Храбрый. Исследование литературной истории христианской легенды. СПб., 1879, стр. 144 и 148). Громовень — шум, рев.

Марфа Посадница (стр. 69). Впервые — в I книге сборника «Скифы». Пг., 1917. Перепечатано в альманахе «Красный звон» Пг., 1918, с добавлением эпиграфа (снятого при последующих публикациях): «Помяни меня каплями дождевыми, яко стрелами произаема. Даниил Заточник». Написано в сентябре 1914 года. Черновой автограф, хранящийся в Рукописном отделе Государственной Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград), со-

держит множество разночтений по сравнению с окончательной авторской редакцией, опубликованной во II томе Собрания стихотворений. Стихотворение представляет собой обработку народного предания о Марфе Посаднице (XV в.), вдове новгородского посадника Борецкого. В избранной Есениным поэтической фольклорной версии, как и в его стихотворении, образ Марфы превратно истолкован как образ хранительницы традиций новгородской вольницы. На самом деле Марфа Борецкая представляла не народные, а боярские интересы, была орудием в руках бояр, пытавшихся сопротивляться объединительной политике московского великого князя Ивана III, стремившегося к созданию русского централизованного государства. Однако и эта вольная поэтическая версия, не дающая исторически верной характеристики образам Марфы и Ивана III (идеализирующая первую и чернящая второго), проникнута демократическими тенденциями, высоко поднимает образы и традиции героев новгородской вольницы. *Дулейка* — карман. *Зыками* — гулами. *Зорнис* — от зарницы. *Внуки Васькины* — т. е. Василия Буслаева, героя былин новгородского цикла. *Превнуки Микулы* — Микулы Селяниновича, былинного богатыря. *Шоломит* — наговаривает. *Зарукавник* — передник, фартук. *Дикомыть* — ловчая птица при соколиной охоте. *Потреба* — требование. *Садко*, *Буслай* — герои былин новгородского цикла. *Быльница* — от былника, растения типа полыни. *Тропарь* — церковная песнь в честь какого-нибудь праздника или святого.

Русь (стр. 72). Первоначально напечатана 2-я главка в «Новом журнале для всех», 1915, № 5. Впервые полностью (но без нумерации частей — главок) — в журнале «Северные записки», 1915, № 7—8. Окончательная авторская редакция, данная во II томе Собрания стихотворений, содержит ряд изменений сравнительно с первопечатным текстом. Два стихотворения, примыкающих к этой поэтической сюите («Тебе одной плету венок» и «Занеслися залетною пташкой»), помещены в «Литературных приложениях» к «Ниве» за 1915 год, № 12 (стр. 613 и 614). *Застрехи* — доски у соломенных крыш, поддерживающие солому с нижнего края. *Загызыкали* — заплакали, заскулили. *Бластались* — мерещились.

«По селу тропинкой кривенькой» (стр. 75). Впервые — под заголовком «Рекруты» (впоследствии снятым) в книге Есенина «Радуница». Пг., 1916. *Ливенка* — вид гармоники. *Зыками* — громкими звуками. *Остальные* — последние.

«Прячет месяц за овинами» (стр. 76). Впервые — в книге Есенина «Стихотворения». Л., 1953. Малая серия «Библиотеки поэта». Написано в 1914—1915 годах. Автограф — в тетради, сохранившейся в архиве издателя М. В. Аверьянова (Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР, Ленинград) и содержащей стихи, которые Есенин предполагал объединить в сборнике «Зарянка».

«Вечер как саж» (стр. 76). Впервые опубликовано, по рукописи, хранящейся в Рукописном отделе Института русской литературы АН СССР (Ленинград), Д. Золотницким в журнале «Нева», 1955, № 3. Предназначалось автором для сборника стихов «Зарянка».

оставшегося неизданным. *Гасница* — небольшая керосиновая лампа без стекла, «коптилка».

«По лесу леший кричит на сову» (стр. 77). Впервые напечатано Д. Золотницким в журнале «Нева», 1955, № 3 (по рукописной тетради Есенина, в которой собраны стихи, предназначенные поэтом в 1916 году для сборника «Зарянка», оставшегося неосуществленным; тетрадь хранится в Рукописном отделе Института русской литературы АН СССР, Ленинград).

Черемуха (стр. 77). Впервые — в журнале «Мирок», 1915, № 3.

Бабушкины сказки (стр. 78). Впервые — в журнале «Доброе утро», 1915, № 5—6.

Побирушка (стр. 79). Впервые — в журнале «Доброе утро», 1915, № 16.

Девичник (стр. 79). Впервые — в «Ежемесячном журнале», 1915, № 6; затем включено в книгу «Радуница». Пг., 1916. *Девичник* — обряд, отправляемый накануне свадьбы в доме невесты, где приглашенные девицы прощаются со своей подругой, поют и пляшут.

Вечер (стр. 80). Впервые — в книге Есенина «Радуница». Пг., 1916.

«В том краю, где желтая крапива» (стр. 80). Впервые — в «Ежемесячном журнале», 1916, № 9—10.

«Туча кружево в роще связала» (стр. 81). Впервые — в книге Есенина «Радуница». Пг., 1916. *На-умяк* или *на-умек* — наобум.

«Заглушила засуха засевки» (стр. 82). Впервые — под заголовком «Молебен» (снятым во втором издании «Радуницы», Пг., 1918) в редактировавшемся Максимом Горьким журнале «Летопись», 1916, № 2. *Загузынил* — загнусавил. *Бавкнул* — рявкнул. *Быльница* — растение типа полыни. *Еланки* — лесные полянки.

«На небесном синем блюде» (стр. 83). Впервые — в журнале «Красная новь», 1926, № 5.

«На плетнях висят баранки» (стр. 83). Впервые — под названием «Базар» в книге Есенина «Радуница». Пг., 1916. Заголовок снят автором в I томе Собрания стихотворений. *Лещужная* — от лещука, болотного растения, распространенного у прудов, возле озер. *На пыжну* — в мелколесье. *Запелвай*, как *Стенька Разин*. — Имеется в виду известная народная песня «Из-за острова на стрежень», возникшая в результате переработки стихотворения Д. Садовникова (1847—1883).

«Я снова здесь, в семье родной» (стр. 84). Впервые — в книге Есенина «Голубень». Пг., 1918.

«Устал я жить в родном краю» (стр. 85). Впервые — в журнале «Северные записки», 1916, № 9; затем — в газете «Советская страна», 1919, № 3, 10 февраля. Окончательный текст — в книге Есенина «Трерядница». М., 1920.

«Не бродить, не мять в кустах багряных» (стр. 86). Впервые — в книге Есенина «Голубень». Пг., 1918. Написано в 1915 году, окончательно обработано в октябре 1916 года (дата — по беловому автографу, хранящемуся в архиве И. И. Ясинского в Государственной Публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде).

Корова (стр. 86). Впервые — в журнале «Северные записки», 1916, № 9. Свей — рябь.

Песнь о собаке (стр. 87). Впервые — в газете «Советская страна», 1919, № 3, 10 февраля; затем (без заголовка) — в коллективном сборнике имажинистов «Плавилянья слов». М., 1920. Окончательная редакция — в первом издании книги Есенина «Трерядница». М., 1920.

В воспоминаниях М. Горького о Есенине находим следующий отзыв об этом стихотворении и его авторе:

«Я попросил его прочитать о собаке, у которой отняли и бросили в реку семерых щенят...

— А вам нравится о собаке?

Я сказал ему, что, на мой взгляд, он первый в русской литературе так умело и с такой искренней любовью пишет о животных.

— Да, я очень люблю всякое зверье, — молвил Есенин задумчиво и тихо, а на мой вопрос, знает ли он «Рай животных» Клоделя, не ответил, пощупал голову обеими руками и начал читать «Песнь о собаке». И когда произнес последние строки:

Покатались глаза собачьи
Золотыми звездами в снег

— на его глазах тоже сверкнули слезы.

После этих слов невольно подумалось, что Сергей Есенин не столько человек, сколько орган, созданный природой исключительно для поэзии, для выражения неисчерпаемой «печали полей», любви ко всему живому в мире и милосердия, которое — более всего иного — заслужено человеком» (М. Горький. Собрание сочинений в 30 томах, т. 17. М., 1952, стр. 63—64).

Табун (стр. 88). Впервые — во II книге сборника «Скифы». Пг., 1918. Гамаюн — сказочная вещая птица с человеческим лицом; *вихрастый гамаюн* (метафор.) — пастух.

Голубень (стр. 89). Впервые — в книге Есенина «Голубень». Пг., 1918. *Разымычивость* — возбужденность.

Поминки (стр. 91). Впервые — в книге Есенина «Радуница». Пг., 1916. *Коливо* — поминальная кутья, приносимая в церковь.

Теплый вечер (стр. 91). Впервые — в сборнике «Страда». Пг., 1916. Датируется предположительно. Существует также редакция этого стихотворения, относящаяся к 1917 году (см. С. Есенин. «Избранное», под ред. С. А. Толстой-Есениной. М., 1946) и начинающаяся словами «Гаснут красные крылья заката».

«За горами, за желтыми долами» (стр. 92). Впервые — в «Ежемесячном журнале», 1916, № 4, с посвящением Анне Сардановской. *Ектенья* — часть православного богослужения.

«Белая свитка и алый кушак» (стр. 93). Впервые — в «Ежемесячном журнале», 1916, № 5. Перепечатано с поправками в книге Есенина «Радуница». Пг., 1916. *Корогод* — хоровод. *Штися* — убегая.

«Запели тесаные дроги» (стр. 93). Впервые — в «Ежемесячном журнале», 1916, № 7—8, где начальная строфа была иной:

Сереют избы. Небо бело.
На солнце дремлют тополя.
Опять ты вновь заголубела,
Моя родимая земля!

Скончательная редакция — в книге Есенина «Голубень». Пг., 1918.

«Опять раскинулся узорно» (стр. 94). Впервые — в «Ежемесячном журнале», 1916, № 9—10.

«За рекой горят огни» (стр. 95). Впервые — в книге С. Есенин. Стихотворения. Л., 1953. Малая серия «Библиотеки поэта». Автограф — в тетради, предназначавшейся для сборника «Зарянка» (Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР, Ленинград). Датируется предположительно. *Купало* — древний народный праздник в так называемую Иванову ночь — на 24 июня, когда жгли костры и прыгали через них, устраивали разные игры, гадания и купанье. *Летошней* — минувшей.

Молотба (стр. 96). Впервые — в книге: С. Есенин. Стихотворения. Л., 1953. Малая серия «Библиотеки поэта». Автограф — в тетради под заглавием «Зарянка» (Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР).

Дед (стр. 96). Впервые — в книге Есенина «Радуница». Пг., 1916. *Жамковая* — мятая, давленная.

«В глазах пески зеленые» (стр. 97). Впервые — в журнале «Красная новь», 1926, № 6. 9 июля 1916 года было вписано в альбом М. М. Марьяновой.

«За темной прядью перелесиц» (стр. 97). Впервые — в журнале «Северные записки», 1916, № 9. Написано 31 июля 1916 года.

«В зеленой церкви за горой» (стр. 98). Впервые — в «Литературных приложениях» к «Ниве» за 1916 год, № 10 (стр. 252).

«Даль подернулась туманом» (стр. 99). Впервые — в журнале «Красная новь», 1926, № 7. Вписано в 1916 году в альбом Э. В. Гейман. В архиве И. И. Ясинского (Государственная Публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград) сохранился другой автограф, содержащий несколько иную редакцию и датированный октябрём 1916 года.

«О красном вечере задумалась дорога» (стр. 99). Впервые — в I книге сборника «Скифы». Пг., 1917. Написано в октябре 1916 года. Окончательная редакция, помещенная в книге Есенина «Голубень» (Пг., 1918), несколько отличается от первопечатного текста и от белого автографа, хранящегося в архиве И. И. Ясинского в Государственной Публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград). *Повесть* — навес над помещением для хранения хозяйственного инвентаря в крестьянском дворе. *Хмарь* — мгла.

«О товарищах веселых» (стр. 100). Впервые — в I книге сборника «Скифы». Пг., 1917. *Пожня* — луг, сеной покос внутри леса. *Лития* — часть православного, обычно предпраздничного богослужения.

«Там, где вечно дремлет тайна» (стр. 101). Впервые — во II книге сборника «Скифы». Пг., 1918; затем — в книге Есенина «Голубень». Пг., 1918.

«Весна на радость не похожа» (стр. 101). Впервые — в книге Есенина «Голубень». Пг., 1918.

«День ушел, убавилась черта» (стр. 102). Впервые — в «Ежемесячном журнале», 1916, № 11.

«Прощай, родная пуща» (стр. 103). Впервые — в газете «Знамя труда», 1918, № 107, 12 января; затем — в книге Есенина «Голубень». Пг., 1918. *Сошник* — сошный лемех.

«Гляну в поле, гляну в небо» (стр. 103). Впервые — во II книге сборника «Скифы». Пг., 1918.

«Покраснела рябина» (стр. 104). Впервые — во II книге сборника «Скифы». Пг., 1918. *Вой* — воин.

«Тучи с ожереба» (стр. 105). Впервые — в книге Есенина «Голубень». Пг., 1918. *Назарет* — город в Нижней Галилее, близ горы Фавора, где, согласно религиозной легенде, жил и начал проповедовать свое учение Христос. *Симеон* — имеется в виду Симеон

Столпник, который, по религиозному преданию, годами стоял с поднятыми ввысь руками.

Осень (стр. 106). Впервые — в I книге сборника «Скифы». Пг., 1917. Р. В. Иванов — народнический публицист и критик, писавший за подписью Р. Иванов-Разумник и являвшийся в то время одним из «теоретиков» так называемого «скифства». В ряде последующих перепечаток Есенин снимал заголовок, который восстановил в I томе Собрания стихотворений.

Лисица (стр. 106). Впервые — в книге Есенина «Голубень». Пг., 1918. А. М. Ремизов (род. в 1877 г.) — писатель-символист. Прошва — прошивка, узкая полоска. Бластился — мерещился. Желна — разновидность дятла.

«Ночь и поле, и крик петухов» (стр. 107). Начато в 1916, закончено в 1917 году. Первоначальный вариант этого стихотворения, весьма далекий от окончательной редакции, опубликован по рукописи (сохранившейся в архиве В. С. Миролубова в Институте русской литературы АН СССР, Ленинград) в журнале «Ленинград», 1940, № 23—24. На рукописи первоначального варианта, побывавшего, повидимому, в редакции журнала «Северные записки» и там отвергнутого, имеются критические замечания, вероятно принадлежащие издательнице журнала С. Чацкиной. Впервые ранний вариант с незначительными изменениями помещен в «Ежемесячном журнале», 1917, № 11—12. С последующими изменениями стихотворение напечатано во II книге сборника «Скифы» (Пг., 1918) и в книге Есенина «Голубень». Пг., 1918. Окончательную переработку стихотворения автор осуществил в своей книге «Березовый ситец». М., 1925. Кутья — кушанье из крупы с медом или риса с изюмом, которое, согласно религиозному обряду, едят на похоронах.

«Небо ли такое белое» (стр. 107). Впервые — в антологии «Поэты наших дней». М., 1924.

Пропавший месяц (стр. 108). Впервые — во временнике литературы, искусства и политики «Знамя труда», 1918, № 1, июнь.

«Не напрасно дули ветры» (стр. 109). Впервые — во II книге сборника «Скифы». Пг., 1918.

«О край дождей и непогоды» (стр. 110). Впервые — во II книге сборника «Скифы». Пг., 1918.

«О Русь, взмахни крылами» (стр. 110). Впервые — во II книге сборника «Скифы». Пг., 1918. Колюдов А. В. (1809—1842) — выдающийся русский поэт, которого Есенин по справедливости считал одним из родоначальников крестьянской литературы в России. Кюлов Н. А. (род. в 1887 г.) — поэт, начавший свой путь в 1905 году на страницах изданий демократического Суриковского литературного кружка и вскоре ставший одним из выразителей реакционных, кулацких настроений в литературе. К 1917 году Есенин еще не мог

объективно разобраться в политической сущности поэзии Клюева. Однако уже в первые годы революции антиреволюционная «клюевщина» вызвала у него чувство протеста, и Есенин решительно порвал отношения с Клюевым. *Чапыгин А. П.* (1870—1937) — талантливый советский писатель, выходец из деревни, изображавший в своих дореволюционных произведениях жизнь крестьян Севера, а в советские годы получивший известность историческими романами, посвященными массовым крестьянским движениям прошлого («Разин Степан», «Гулящие люди»). *Ноять* — ныть.

«Разбуди меня завтра рано» (стр. 112). Впервые — в книге Есенина «Преображение». М., 1918.

«Где ты, где ты, отчий дом» (стр. 113). Впервые — в журнале «Знамя», 1920, № 1, апрель.

«Нивы сжаты, рощи голы» (стр. 113). Впервые — в журнале «Знамя», 1920, № 2, май.

«Отвори мне, страж заоблачный» (стр. 114). Впервые — в книге Есенина «Преображение». М., 1918.

«О, пашни, пашни, пашни» (стр. 114). Впервые — в книге Есенина «Преображение». М., 1918. *Исайя* — один из библейских пророков.

«Проплясал, проплакал дождь весенний» (стр. 115). Впервые — по II книге сборника «Скифы». Пг., 1918. *Брюсов В. Я.* (1873—1924) и *Блок А. А.* (1880—1921) — крупнейшие поэты предреволюционных лет, приветствовавшие революцию и советскую власть. *Пилат Понтий* — римский наместник в Иудее, который, согласно библейскому преданию, допустил казнь Христа и при этом, в соответствии с обычаями, умыл руки. Имя Пилата, умывающего руки, служит синонимом безучастия к страданиям, равнодушия к судьбам людей. *Или, Или, Лима Савахани* — «Боже мой, боже мой, зачем ты меня оставил?» (по евангельскому преданию, Христос произнес эти слова перед смертью, на кресте).

«О, верю, верю, счастье есть!» (стр. 116). Впервые — в книге Есенина «Преображение». М., 1918.

«Я по первому снегу бреду» (стр. 116). Впервые — в книге Есенина «Преображение». М., 1918.

«Вот оно, глупое счастье» (стр. 117). Впервые — в книге Есенина «Преображение». М., 1918.

«Песни, песни, о чем вы кричите?» (стр. 117). Впервые — в книге Есенина «Преображение». М., 1918. Первопечатный текст был переработан автором при подготовке его книги «Березовый ситец» (М., 1925); в частности, Есенин заменил заключительную строфу, которая первоначально была следующей:

Есть несчастье в мире этом,
Хоть отраднo его носить.
То несчастье — родиться поэтом
И своих же стихов не любить.

«О муза, друг мой гибкий» (стр. 118). Впервые — в книге Есенина «Преображение». М., 1918. *Равумниковский лик.* — Имеется в виду Р. Иванов-Разумник, один из «теоретиков» народническо-декадентской группы «Скифы», к которой недолго примыкал Есенин. *Клюев.* — См. примечание к стихотворению «О Русь, взмахни крылами».

Товарищ (стр. 119). Впервые — во II книге сборника «Скифы» (Пг., 1918), в альманахе «Красный звон» (Пг., 1918) и в книге Есенина «Сельский часослов». М., [1918] (2-й год I века). Написано в марте 1917 года в Петрограде. *Он лежит на Марсовом поле.* — 23 марта 1917 года в Петрограде на Марсовом поле состоялись похороны борцов за революцию.

Певущий зов (стр. 123). Впервые — во II книге сборника «Скифы» (Пг., 1918), в альманахе «Красный звон» (Пг., 1918) и в книге Есенина «Сельский часослов» (М., 1918). *Назарет.* — См. примечание к стихотворению «Тучи с ожереба». *Юдо* — от чудо-юдо, сказочное чудовище. *Фавор* — гора, на которой, по евангельской легенде, совершилось «преображение» Христа. *Ирод* — иудейский царь, ставленник рабовладельческого Рима. Согласно преданию, Ирод, прозванный от волхвов о рождении Христа, предпринял поголовное уничтожение грудных младенцев в Вифлееме. *Саломея.* — По библейскому преданию, Саломея вызвала своей пляской восторг царя Ирода и его гостей и попросила себе в награду голову Иоанна Крестителя. *Иоанн* — так называемый Креститель или Предтеча, предшественник Христа, готовивший народ к восприятию его проповеди.

Преображение (стр. 125). Впервые — в газете «Знамя труда», 1918, № 179, 13 апреля, и в журнале «Наш путь», 1918, № 1, апрель; вошло в книгу Есенина «Преображение». М., 1918. *Содом* — по библейскому преданию, город у Мертвого моря, жители которого отличались такой жестокостью и развращенностью нравов, что на них пал гнев божий, обративший этот город в прах. *Егудиил* — имеется в виду демон, исполнитель гнева божьего (образ, созданный средневековьем). *Лот* — житель Содомы, спасшийся, по библейскому преданию, от небесной кары, постигнувшей Содом, и бежавший из горящего города, не обращая назад своих взоров. *Омеж* — сошник, лемех.

Инония (стр. 128). Напечатано в отрывках (с пропуском 29—44 и 73—76 стихов 2-й части и всей 3-й части) в газете «Знамя труда», 1918, № 205, 19 мая. Написано в январе 1918 года в Петрограде. Впервые полностью (но без посвящения) — в журнале «Наш путь», 1918, № 2. В своей книге «Преображение» (М., 1921) Есенин внес ряд изменений в первоначальный текст. Он изменил первые 4 стиха 2-й части, ранее читавшиеся так:

Колокольные над Русью клики.
Это плачут стены Кремля.
Ныне, как Петр Великий,
Вздыбливаю тебя, земля!

Стихи 45—48 той же части первоначально читались:

Ныне же, как Петр Великий, я
Рушу под собою твердь.
Под гармоники пьяной клики
Заставляю плясать и смерть.

За 40-й строкой 3-й части в первой редакции следовали 16 строк, которые Есенин в 1921 году снял в корректуре своей невышедшей книги «Ржаные кони» и затем уже не восстанавливал:

Опалю твои нивы и рощи,
Осушу все реки и моря.
Кобелем исхудалым, тощим
Завоет над землей заря.
Языком от колючей жажды
Будет синие лизать небеса
И, как ведра в провал овражный,
Будет злые опускать глаза.
Но не зачерпнут в долине
Воды они, где бежал поток;
С сухой загубелой глиной
Прикроет их дно песок.
И, кусая зубастой злостью
Железную на шее цепь,
Подохнет она, а кости,
Как льдины, усеют цепь.

Инония — от слова инб (ладно), воображаемый город счастья, воплощение некоторых утопических представлений крестьян-сектантов. *Иеремия* — один из четырех главных библейских пророков; в так называемой «Книге Иеремии» содержатся темы разрушения Иерусалима, окончания плена Вавилонского и гибели Вавилона. *Китеж* — легендарный город, упоминаемый в преданиях и былинах Согласно легенде о нем, Китеж скрылся под землю во время нашествия Батыя на Русь, и на его месте образовалось озеро. Предание о Китеже связано и с религиозной версией, по которой избранные слышат колокольный звон церковей исчезнувшего города. Этому мертвому городу Есенин противопоставляет свой утопический град Инонию. *Кузьма Индикоплов*, т. е. плаватель в Индию, — купец, а затем монах, живший в Александрии в VI веке н. э.; в своей «Христианской топографии», критикуя учение Птоломея и основываясь на «священном писании», пытался дать свою теорию строения Вселенной. *Радонж*. — Имеется в виду так называемый святой Сергий Радонежский (1314—1392) — преобразователь монастырей в северной Руси, активно содействовавший политике великого князя Московского. *Олимпий* — святой мученик, почитаемый церковью. *Назарет* — см. примечание к стихотворению «Тучи с ожереба».

Сельский часослов (стр. 134). Впервые, с посвящением Вл. Чернявскому, — в газете «Знамя труда», М., 1918, № 224, 11 июня. *Часослов* — книга с текстами некоторых церковных служб. *Израмитил* — условное имя, восходящее к образу Эммануила (в Книге пророка Исайи), ожидаемого избавителя и преобразователя.

«Тучи — как озера» (стр. 138). Первая главка стихотворения «Скифы», впервые напечатанного во II книге сборника «Скифы» (Пг., 1918) и в альманахе «Красный звон» (Пг., 1918). Впоследствии Есенин выделил эту главку из стихотворения и печатал ее самостоятельно (например, в книге: С. Есенин. О России и революции. М., 1925, стр. 21).

Иорданская голубица (стр. 139). Впервые — в книге Есенина «Сельский часослов». М., 1918. В том же году в книге Есенина «Преображение» (М., 1918) в виде отдельных стихотворений помещены 1-я, 3-я и 5-я главки. Написано 20—23 июня 1918 года в селе Константинове. В статье «Как делать стихи?» В. Маяковский отмечает строки из 2-й главки «Иорданской голубицы». Он пишет: «Стали мне попадаться есенинские строки и стихи, которые не могли не нравиться, вроде:

.. Небо — колокол, месяц — язык. . .

и др.

Есенин выбирался из идеализированной деревенщины, но выбирался, конечно, с провалами, и рядом с

Мать моя — родина,
Я — большевик. . .

появлялась апология «коровы» (В. В. Маяковский. Полное собрание сочинений, т. 10. М., 1941, стр. 224). *Иорданская голубица* — согласно библейской легенде, голубь, паривший над головой Христа во время его крещения в реке Иордань. *Строфа 3-я главки 5-й* комментируется следующими высказываниями Есенина из его (написанной в сентябре 1918 года) брошюры «Ключи Марии»: «... символическое древо, которое означает «семью»... в Иудее носило имя Маврикийского дуба, под которым Авраам встречает св. Троицу» (Сергей Есенин. Ключи Марии. М., 1920, стр. 10 и 11).

Кантата (стр. 141). Впервые — в сборнике «Зарево заводов», книга I. Самара, 1919. Написана осенью 1918 года в Москве. Есенин написал «Кантату» к торжествам открытия мемориальной доски (исполненной скульптором С. Т. Коненковым) на Кремлевской стене в память бойцов, павших в боях за Великую Октябрьскую социалистическую революцию.

Небесный барабанщик (стр. 142). Впервые — во втором сборнике поэтов-имажинистов «Конница бурь». М., 1920. Л. Н. Старк (Рябовский) — поэт и журналист, сотрудник дооктябрьской «Правды». *Белое стадо горилл*. — Так поэт характеризовал белые армии контрреволюции.

«Теперь любовь моя не та» (стр. 144). Впервые — в сборнике «Конница бурь». М., 1920. Это стихотворение является одним из печатных свидетельств расхождения Есенина с Клюевым, неудовлетворенности характером произведений последнего, начала борьбы с ним.

Королева (стр. 145). Впервые — в журнале для детей «Доброе утро», 1918, № 3—4.

«Заметает пурга» (стр. 145). Впервые — во втором издании книги Есенина «Радуница». Пг., 1918. *Коляда* — старинный рождественский обряд с песнями и обходом соседей.

«Зеленая прическа» (стр. 146). Написано 15 августа 1918 года. Напечатано впервые в книге Есенина «Преображение». М., 1918.

«Я покинул родимый дом» (стр. 147). Впервые — в сборнике имажинистов «Конница бурь». М., 1920.

«Хорошо под осеннюю свежесть» (стр. 148). Впервые — в сборнике имажинистов «Конница бурь». М., 1920.

«Закружилась листва золотая» (стр. 148). Впервые — в сборнике имажинистов «Плавильня слов». М., 1920.

«И небо и земля все те же» (стр. 149). Впервые — в газете «Советская страна», 1919, № 2, 3 февраля. *Езекиильский* — по имени одного из четырех главных библейских пророков.

«В час, когда ночь воткнет» (стр. 149). Впервые — в журнале «Красная новь», 1926, № 6. Вписано в январе 1919 года в альбом Н. Н. Ольховской. Существует предположение, что этот отрывок связан с мотивами стихотворения «Небесный барабанщик». Строка *Что нам Индия? Что Толстой?* выражает отрицательное отношение к распространенной в ту пору в Индии философии пассивности и рока и к учению Л. Н. Толстого и «толстовцев» о непротивлении злу насилем.

«Вот такой, какой есть» (стр. 150). Впервые — в «Красной новь», 1926, № 6. Вписано в 1919 году в альбом поэту-самоучке И. В. Репину.

Пантократор (стр. 150). Впервые — в газете «Советская страна», 1919, № 4, 17 февраля, с посвящением поэту-имажинисту Рюрику Ивневу, впоследствии снятым. Написано в феврале 1919 года в Москве. *Пантократор* — от слова пантократия (греч.), означающего всемогущество, всевластие. *Верша* — рыболовное орудие, сделанное из прутьев. *Закорки* — запячье и поясница.

«Ветры, ветры, о снежные ветры» (стр. 153). Стихотворение предназначалось Есениным для неосуществленного сборника

его стихов «Руссеянь», который готовился изд-вом «Альциона» в 1921 году. Печатается по IV тому Собрания сочинений (Стихи и проза). М.—Л., 1927.

«Душа грустит о небесах» (стр. 153). Впервые — в сборнике имажинистов «Плавильня слов». М., 1920; одновременно — в книге Есенина «Трерядница». М., 1920.

«Я последний поэт деревни» (стр. 154). Впервые — в книге Есенина «Трерядница» (М., 1920) и в сборнике «Имажинисты» (М., 1921). *Мариенгоф А. Б.* — поэт-имажинист.

Хулиган (стр. 154). Впервые — в журнале «Знамя», 1920, № 5—7, ноябрь. Заголовок дан в I томе Собрания стихотворений.

Исповедь хулигана (стр. 156). Впервые — в сборнике имажинистов «Золотой кипяток». М., 1921. *Пегас* — в греческой мифологии крылатый конь, символ поэтического вдохновения.

Кобыльи корабли (стр. 158). Впервые — в сборнике имажинистов «Харчевия зорь» (М., 1920) и в книге Есенина «Трерядница» (М., 1920). Окончательная редакция — во II томе Собрания стихотворений.

Сорокоуст (стр. 161). Первоначально 2-я и 3-я части печатались в журнале «Творчество», 1920, № 7—10, затем — впервые полностью в сборнике «Имажинисты». М., 1921. Написано в августе 1920 года. В статье «Как делать стихи?» В. Маяковский одобительно отзывался о строках из 3-й части «Сорокуста»: «...стали мне попадаться есенинские строки и стихи, которые не могли не нравиться, вроде:

Милый, милый, смешной дуралей...

и т. д.»

(В. В. Маяковский. Полное собрание сочинений, т. 10. М., 1941, стр. 224). *Сорокуст* — у православных молитвы об умершем в течение сорока дней после его смерти.

«По-осеннему кычет сова» (стр. 163). Впервые — в журнале «Знамя», 1920, № 3—4, май—июнь.

Песнь о хлебе (стр. 164). Впервые — в сборнике имажинистов «Звездный бык» (1921).

«Мир таинственный, мир мой древний» (стр. 165). Впервые — в журнале «Культура и жизнь», 1922, № 2—3. В дальнейшем многократно перепечатывалось под названием «Волчья гибель». Окончательная авторская редакция — в I томе Собрания стихотворений. *Выбель* — выцветающая гниль. *Чугунная гать* — узкоколейная железная дорога, проложенная через насыпной путь по болотистым местам.

«Сторона ль ты моя, сторона!» (стр. 166). Впервые — в «Собрании стихотворений» Есенина (Берлин, 1822), затем — в журнале «Красная нива», 1923, № 41. Окончательная редакция — в книге Есенина «Стихи (1920—1924)». М.—Л., 1924.

«Не жалею, не зову, не плачу» (стр. 167). Впервые — в журнале «Красная новь», 1922, № 2, март—апрель.

«Все живое особой метой» (стр. 167). Впервые — в журналах «Красная новь», 1922, № 3, май, и «Красная нива», 1923, № 41, 14 октября.

«Прощание с Мариенгофом» (стр. 168). Впервые — в журнале имажинистов «Гостиница для путешественников в прекрасном», М., 1922, № 1, ноябрь.

«Не ругайтесь. Такое дело!» (стр. 169). Впервые — в журнале «Огонек», 1923, № 26.

«Да! Теперь решено. Без возврата» (стр. 170). Впервые — в книге Есенина «Стихи скандалиста» (Берлин, 1923), затем — в журнале имажинистов «Гостиница для путешественников в прекрасном», М., 1924, № 1 (3). Стихотворение представляет часть цикла из трех стихотворений под общим названием «Москва кабацкая».

«Мне осталась одна забава» (стр. 171). Впервые — в журнале «Гостиница для путешественников в прекрасном», М., 1924, № 1 (3).

«Я усталым таким еще не был» (стр. 172). Вместе со стихотворениями «Да! Теперь решено. Без возврата» и «Мне осталась одна забава» входило в цикл «Москва кабацкая», впервые напечатанный в журнале «Гостиница для путешественников в прекрасном», М., 1924, № 1 (3).

«Сыпь, гармоника. Скука... Скука» (стр. 173). Впервые — в книге Есенина «Стихи скандалиста» (Берлин, 1923), как часть цикла «Москва кабацкая». В России впервые — в I томе Собрания стихотворений. О мотивах сострадания и отчаяния в этом стихотворении писал М. Горький (Собрание сочинений в 30 томах, т. 17. М., 1952, стр. 61—62).

«Я обманывать себя не стану» (стр. 174). Впервые — в журнале «Красная новь», 1923, № 6, октябрь—ноябрь. *Тверской околоток* — центральный район Москвы, располагавшийся вокруг Тверской улицы (ныне — улица Горького) и Тверского бульвара.

«Эта улица мне знакома» (стр. 175). Впервые — в журнале «Красная новь», 1923, № 6, октябрь—ноябрь. Написано в 1923 году в Париже.

«Заметался пожар голубой» (стр. 176). Впервые — в журнале «Красная нива», 1923, № 41, 14 октября. Написано в

1923 году в Москве. Вместе с последующими шестью стихотворениями составляет в книге Есенина «Москва кабацкая» (Л., 1924) цикл «Любовь хулигана», посвященный Августе Миклашевской.

«Ты такая ж простая, как все» (стр. 177). Впервые — в журнале «Красная нива», 1923, № 41, 14 октября.

«Пусть ты выпита другим» (стр. 178). Впервые — с посвящением Августе Миклашевской, в журнале «Красная новь», 1923, № 7, декабрь.

«Дорогая, сядем рядом» (стр. 179). Впервые — в журнале «Красная новь», 1923, № 7, декабрь.

«Мне грустно на тебя смотреть» (стр. 180). Впервые — в журнале «Русский современник», Л., 1924, № 2.

«Ты прохладой меня не мучай» (стр. 182). Впервые — в журнале «Русский современник», 1924, № 2.

«Вечер черные брови насопил» (стр. 184). Впервые — в журнале «Красная новь», 1924, № 1, январь—февраль. 5-ю строфу этого стихотворения имел в виду Владимир Маяковский, когда в выступлении на диспуте «Упадочное настроение среди молодежи» (13 февраля 1927 года) говорил о строках, которые ему нравятся у Есенина. «Это самое «др», — замечал Маяковский. — другая, дорогая, — вот что делает поэзию поэзией. Вот чего многие не учитывают. Отсутствие этого «др» засушивает поэзию не менее докладов, о которых говорит тов. Калинин, превращая и ее в скучную пасторскую риторiku». Вместе с тем Маяковский полемизировал против узко интимного характера развития лирической темы в этом стихотворении Есенина и приводил ироническую народную частушку: «Но уж если говорить о «др», — продолжал он, — то я вам приведу одну частушку:

Дорогой и дорогая,
дорогие оба,
дорогая дорогова
довела до гроба.

Это «др» почище, чем у Есенина» (В. В. Маяковский. Полное собрание сочинений, т. 10. М., 1941, стр. 337).

Ленин (стр. 184). Впервые (без последних 9 строк) — в III книге альманаха «Круг». М.—Л., 1924. Заключительные строки (от слов: «И вот он умер...») были опубликованы отдельно в журнале «Красная новь», 1924, № 4, июнь—июль. Написано под впечатлением смерти В. И. Ленина в январе 1924 года в Москве. Поэма «Гуляй-Поле» не была написана Есениным.

«Годы молодые с забубенной славой» (стр. 187). Впервые — в журнале «Красная новь», 1924, № 3, апрель—май. Написано в феврале 1924 года в Москве.

Письмо к матери (стр. 188). Впервые — в журнале «Красная новь», 1924, № 3, апрель—май. *Шушун* — женская верхняя одежда (кофта, телогрейка или сарафан).

Сукин сын (стр. 189). Впервые (без заглавия) — в журнале «Новый мир», 1925, № 3. Название дано в книге Есенина «Персидские мотивы». М., 1925.

Возвращение на родину (стр. 191). Впервые — в журнале «Красная новь», 1924, № 4; июнь — июль, а затем в книге Есенина «Стихи (1920—1924)». М., 1924, под названием «На родине» и с посвящением А. Сахарову. Окончательная редакция — в книге Есенина «Страна Советская». Тифлис, 1925. Написано 1 июня 1924 года в Москве. *Есенина Татьяна* — мать поэта (Татьяна Федоровна Есенина, скончалась 3 июля 1955 года). *Кукольни* — сорняк с темнорозовыми цветами. *По-байроновски наша собачонка*. — Есенин имеет в виду следующие строки из «Паломничества Чайльд-Гарольда» Байрона (песнь первая, строфа 13):

Один я в мире средь пустых,
Необозримых вод;
Зачем скорбеть мне о других?
Кто обо мне вздохнет?
Быть может, пес повоеет мой,
Но, у другого сыт,
В меня ж, прибредшего домой,
Свои клыки вонзит.

Пушкину (стр. 194). Впервые — в книге Есенина «Стихи (1920—1924)». М., 1924, под названием «К Пушкину». Окончательная авторская редакция — в I томе Собрания стихотворений. Написано в июне 1924 года и прочитано в день 125-летия со дня рождения Пушкина на митинге перед памятником великому поэту на Тверском бульваре в Москве.

«Мы теперь уходим понемногу» (стр. 194). Впервые — под заглавием «Памяти Ширяевца» — в журнале «Красная новь», 1924, № 4, июнь—июль, затем — в книге Есенина «Стихи (1920—1924)». М., 1924. В I томе Собрания стихотворений заголовки сняты. Написано в июне 1924 года в Москве. Ширяевец — псевдоним А. В. Абрамова (1887—1925), поэта, выходяца из крестьянской среды.

«Этой грусти теперь не рассыпать» (стр. 195). Впервые — в журнале «Русский современник», 1924, № 3. Написано в июле 1924 года.

«Низкий дом с голубыми ставнями» (стр. 196). Впервые — в журнале «Русский современник», 1924, № 3. *Вить* — земля, а также — судьба.

«Отговорила роща золотая» (стр. 198). Впервые — в журнале «Красная новь», 1924, № 6, октябрь—ноябрь. Окончатель-

ная авторская редакция — в I томе Собрания стихотворений. Написано в августе 1924 года.

«Издатель славный! В этой книге» (стр. 199). Впервые — в вечернем выпуске «Красной газеты», 1925, № 316, 31 декабря, затем — в журнале «Молодая гвардия», 1926, № 1.

Русь Советская (стр. 199). Впервые — в журнале «Красная новь», 1924, № 5, август—сентябрь. Окончательная авторская редакция — в книге Есенина «Страна Советская». Тифлис, 1925. Написано летом 1924 года в Москве. *Буденный С. М.* — Маршал Советского Союза, народный герой гражданской войны, командовавший легендарной Первой Конной армией. *Перекоп.* — Имеется в виду знаменитая Перекопско-Чонгарская операция Красной Армии, осуществленная в ночь с 11 на 12 ноября под командованием М. В. Фрунзе и обеспечившая разгром армии белого генерала Врангеля. *Демьян Бедный* (псевдоним Е. А. Придворова, 1883—1945) — выдающийся советский поэт, сотрудник «Правды» с начала ее существования, популярнейший в народе поэт-агитатор и песенник эпохи гражданской войны.

Русь уходящая (стр. 202). Впервые — в книге Есенина «Русь Советская». Баку, 1925. Написано летом 1924 года.

Письмо к женщине (стр. 205). Впервые — в книге Есенина «Русь Советская». Баку, 1925. Написано осенью 1924 года, в Тбилиси. В строфе, начинающейся словами «Земля — корабль!..», и в строке «Хвала и слава рулевому!» — намечаются образы стихотворения «Капитан земли», посвященного В. И. Ленину. *Попутчик* — распространенное в 20-х годах определение, характеризующее писателей — выходцев из непролетарской среды, принявших революцию и платформу советской власти.

Письмо от матери (стр. 208). Впервые это стихотворение, являющееся «ответом» на «Письмо матери», было напечатано под ошибочным заголовком «Письмо к матери» в книге Есенина «Русь Советская». Окончательная авторская редакция — во II томе Собрания стихотворений. Написано осенью 1924 года в Тбилиси. *Александр Есенин* — отец поэта.

Ответ (стр. 210). Впервые — в книге Есенина «Русь Советская». Баку, 1925. Написано осенью 1924 года в Тбилиси. «Ответом» завершается развитие темы, представленной в стихотворениях «Письмо матери» и «Письмо от матери». *Плакида* — плакальщица.

Баллада о двадцати шести (стр. 213). Впервые, без посвящения, — в газете «Бакинский рабочий», 1924, № 214, 22 сентября, затем — в книге Есенина «Русь Советская». Баку, 1925. *Якулов Г. Б.* (1884—1928) — талантливый художник и театральный декоратор, автор проекта памятника 26 бакинским комиссарам, работавший над проектом в 1924 году в Баку. *Двадцать шесть.* — Двадцать шесть бакинских комиссаров (С. Шаумян, А. Джапаридзе, И. Фиолетов, М. Азизбеков и др.) были выдающимися руководителями трудящихся

Азербайджана в их борьбе за советскую власть в 1917—1918 годах. После временного падения советской власти в Баку 26 комиссаров были злодейски расстреляны английскими интервентами с помощью предателей-эсеров в песчаной степи, близ станции Ахча-Куйма. *Шаумян С. Г.* (1878—1918) — выдающийся деятель Коммунистической партии, ученик и соратник В. И. Ленина, участник революционного движения с 1898 года, с декабря 1917 года — чрезвычайный комиссар по делам Кавказа, с апреля 1918 года — председатель Бакинского Совета Народных Комиссаров. *Джапаридзе А. П.* (1880—1918) — выдающийся деятель Коммунистической партии, ученик В. И. Ленина, участник революционного движения с 1898 года, в 1918 году — комиссар внутренних дел Бакинского Совета Народных Комиссаров.

Поэтам Грузии (стр. 218). Впервые — в книге Есенина «Страна Советская». Баку, 1925. Написано в Тбилиси. *Как голубые роги.* — Есенин имеет в виду грузинскую литературную группу «Голубые роги», символистского направления, возникшую в 1916 году и существовавшую до начала 30-х годов. *Кунак* — у кавказских горцев друг.

На Кавказе (стр. 220). Впервые — в журнале «Красная нива», 1925, № 7, 15 февраля. *Парнас* — гора в Греции, являвшаяся, согласно греческой мифологии, местом пребывания Аполлона и муз; в переносном смысле — центр и вершина искусств и поэзии. *«Не пой, красавица, при мне...»* — начальная строка известного стихотворения Пушкина. *Азамат, Кавбич* — персонажи «Героя нашего времени» («Бэла») Лермонтова. *Был пулей друа успокоен.* — В дореволюционной литературе о Лермонтове существовала ложная версия о дружбе между Лермонтовым и Мартыновым, ставшим убийцей поэта. *Грибоедов* похоронен на крутом склоне горы Мтацминда над Тбилиси. *Персидская хмарь* — персидский мрак (Есенин имеет в виду персидских религиозных изуверов и националистов, организовавших зверское убийство Грибоедова). *Зурна* — восточный духовой музыкальный инструмент. *Тари* — грузинский музыкальный инструмент. *Есть Маяковский...* — Есенин не понимал политического и художественного значения агитационной работы В. Маяковского, ошибочно считал ее ненужной; отсюда и выпад против Маяковского (с конкретным намеком на одну из агитреклам Маяковского: «Нигде кроме, как в Моссельпроме»). *И Клюев, ладожский дьячок.* — Намек на религиозные и областнические мотивы реакционной поэзии Н. Клюева, к которой Есенин после революции относился резко отрицательно.

Памяти Брюсова (стр. 222). Впервые — в газете «Заря Востока», 1924, № 700, 11 октября. Написано под впечатлением известия о смерти выдающегося поэта и культурного деятеля В. Я. Брюсова, последовавшей 9 октября 1924 года.

Стансы (стр. 223). Впервые — в тифлисской газете «Заря Востока», 1924, № 713, 26 октября. *П. Чагин* — литератор и журналист, редактор газеты «Бакинский рабочий», написавший предисловие к книге Есенина «Русь Советская», вышедшей в Баку в 1925 году. *Ти-*

гулевка — арестантское помещение, «холодная». О клеточной судьбе несчастной канарейки — намек на 11-ю строфу стихотворения Есенина «На Кавказе». *Демьянам*. — Имеется в виду Демьян Бедный, резко осудивший в печати пьянство Есенина. В стихию промышлов... — П. И. Чагин ознакомил Есенина с трудом и бытом рабочих нефтяных промыслов в Баку, стараясь сблизить его с пролетарской средой.

Метель (стр. 225). Впервые — в газете «Заря Востока», 1925, № 770, 4 января, и в журнале «Новый мир», 1925, № 5.

Весна (стр. 228). Впервые — в газете «Заря Востока», 1925, 4 января, и в журнале «Новый мир», 1925, № 2. *Что для поэтов свой закон*... — Такой мысли в «Капитале» Маркса, разумеется, нет. Есенин мог слышать в литературной среде рассуждения о следующем высказывании Маркса в письме к Иосифу Вейдемейеру: «...поэт — каков бы ни был как человек — нуждается в одобрении и преклонении. Я думаю, что это свойство самой природы» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, том XXV, стр. 120). Из услышанного им Есенин сделал совершенно превратное заключение. *Повитель* — вьющееся цветущее растение (тип хмеля).

Письмо деду (стр. 230). Впервые — в журнале «Прожектор», 1925, № 4, 28 февраля. Первопечатный текст подвергался впоследствии некоторым авторским исправлениям — в книге «Страна Советская» (Тифлис, 1925) и во II томе Собрания сочинений.

Персидские мотивы

Весь лирический цикл был написан в 1924—1925 годах и посвящен: «С любовью и дружбой П. И. Чагину». Вошел частично, вместе с рядом других стихотворений, в книгу Есенина «Персидские мотивы». М., 1925. После выхода книги поэт опубликовал еще шесть стихотворений, завершающих цикл.

«Улеглась моя былая рана» (стр. 234). Впервые — в журнале «Красная новь», 1925, № 2, февраль. Затем отредактировано автором для I тома Собрания стихотворений. Написано осенью 1924 года. *Чайхана* — чайная.

«Я спросил сегодня у менялы» (стр. 235). Впервые — в журнале «Красная новь», 1925, № 2, февраль. Написано осенью 1924 года. *Полтумана* — от тумана, иранской золотой монеты.

«Шаганэ ты моя, Шаганэ!» (стр. 236). Впервые — в журнале «Красная новь», 1925, № 2, февраль. Написано в декабре 1924 года в Батуми.

«Ты сказала, что Саади» (стр. 236). Впервые — в журнале «Красная новь», 1925, № 2, февраль. Написано 19 декабря 1924 года в Батуми. *Саади Муслихиддин* (1184—1291) — крупнейший персидско-таджикский поэт. *Коран* — священная книга мусульман.

«Никогда я не был на Босфоре» (стр. 237). Впервые — в газете «Заря Востока», 1925, № 782, 18 января, затем — в журнале «Красная нива», 1925, № 9, март. Написано в январе 1925 года.

«Свет вечерний шафранного края» (стр. 238). Впервые — вместе с предыдущим стихотворением, в газете «Заря Востока». Написано в январе 1925 года. *Хайям Омар* (около 1040—1123) — великий персидско-таджикский поэт и ученый.

«Воздух прозрачный и синый» (стр. 239). Впервые — в газете «Бакинский рабочий», 1925, № 82, 13 апреля. Написано в начале 1925 года. *Пери* — в иранской мифологии ангел-хранитель в образе женщины, расширительно — прекрасная женщина.

«Золото холодное луны» (стр. 240). Напечатано впервые вместе с предыдущим стихотворением в газете «Бакинский рабочий», а затем — в журнале «Красная новь», 1925, № 5, июнь. Написано в начале 1925 года. Первоначально стихотворение открывалось строкой «Золото текучее луны...», которую *Есенин* исправил в I томе Собрания стихотворений.

«В Хороссане есть такие двери» (стр. 241). Впервые — в газете «Бакинский рабочий», 1925, № 74, 3 апреля, затем — в журнале «Красная новь», 1925, № 3, март. Написано в марте 1925 года.

«Голубая родина Фирдуси» (стр. 242). Напечатано вместе с предыдущим стихотворением в газете «Бакинский рабочий». Написано в марте 1925 года. *Фирдуси (Фирдоуси) Абуль-Касим* (934—ок. 1020) — великий персидско-таджикский эпический поэт. *Урус* — русский (в восточном произношении).

«Голубая да веселая страна» (стр. 243). Впервые — в журнале «Красная нива», 1926, № 1, 3 января. Написано 8 апреля 1925 года в Баку.

«Море голосов воробьиных» (стр. 243). Впервые — в газете «Бакинский рабочий», 1925, № 179, 10 августа, затем — в журнале «Красная новь», 1926, № 8, октябрь. Написано в августе 1925 года в Мардакьянах.

«Быть поэтом — это значит то же» (стр. 244). Впервые — в журнале «Красная новь», 1925, № 8, октябрь. Написано в августе 1925 года в Мардакьянах.

«Руки милой — пара лебедей» (стр. 245). Впервые — в журнале «Прожектор», 1925, № 18, 30 сентября. Написано в августе 1925 года в Мардакьянах.

«От чего луна так светит тускло» (стр. 246). Напечатано вместе с предыдущим стихотворением в журнале «Прожектор». Написано в августе 1925 года в Мардакьянах.

«Глупое сердце, не бойся» (стр. 247). Впервые — в журнале «Красная новь», 1925, № 8, октябрь. Написано в августе 1925 года в Мардакьянах.

Капитан земли (стр. 249). Впервые — в газете «Заря Востока», 1926, № 1109, 21 февраля, со следующим примечанием: «Впервые публикуемое стихотворение Сергея Есенина «Капитан земли» написано в январе 1925 года в Батуми, накануне годовщины смерти Ленина».

Воспоминанье (стр. 251). Впервые — в газете «Заря Востока», 1926, № 1120, 7 марта. Написано в январе 1925 года в Батуми. «Над омраченным Петроградом...» — строка из первой части «Медного всадника» Пушкина. *Черепahi из стали* — танки. *Учредилка* — Учредительное собрание, созданное в Петрограде 5(18) января 1918 года и носившее контрреволюционный, антинародный характер, было распушено по решению ВЦИК 6(19) января 1918 года. *Аврора* — крейсер Балтийского флота, залпами своих пушек (направленных на Зимний дворец в Петрограде) возвестивший начало новой эры — эры Великой Октябрьской социалистической революции.

Батум (стр. 252). Незавершенное стихотворение. Автограф хранится в архиве Института мировой литературы имени Горького АН СССР. Первые три строфы опубликованы в журнале «Огонек», 1945, № 43. Печатается по книге: Сергей Есенин. Сочинения. Под ред. К. Зелинского и П. Чагина. М., 1955, т. 1, стр. 244—247.

Мой путь (стр. 255). Впервые — в газете «Бакинский рабочий», 1925, № 90, 24 апреля. *Вела войну с японцем*. — Имеется в виду русско-японская война 1904—1905 годов. *Черных дел России*. — Имеется в виду империалистическая политика правящих кругов царской России. *Лориган* — марка французских духов.

Письмо к сестре (стр. 259). Впервые — в газете «Бакинский рабочий», 1925, № 102, 10 мая, и — с сокращениями — в журнале «Прожектор», 1925, № 13, 15 июля. *Дельвиг А. А.* (1798—1831) — поэт, друг Пушкина. *Наш Александр... Саша* — Пушкин. В первых трех строках имеется в виду стихотворение Пушкина «Череп» («Прими сей череп, Дельвиг, он...»).

Собаке Качалова (стр. 261). Впервые — в газете «Бакинский рабочий», 1925, 7 апреля, и в журнале «Красная новь», 1926, № 2. Написано в апреле 1925 года в Москве. *Качалов В. И.* (1875—

1948) — выдающийся актер, один из ближайших сотрудников Станиславского в МХАТе, народный артист СССР. Есенин был дружен с Качаловым.

«Несказанное, синее, нежное» (стр. 262). Впервые — в газете «Бакинский рабочий», 1925, № 77, 7 апреля, и в журнале «Красная нива», 1925, № 14. Написано в апреле 1925 года.

«Заря окликает другую» (стр. 263). Впервые — в газете «Бакинский рабочий», 1925, № 104, 12 мая, и в журнале «Красная новь», 1925, № 5, июнь. Написано в апреле 1925 года.

Песня (стр. 264). Впервые — в газете «Бакинский рабочий», 1925, № 108, 17 мая, и в журнале «Красная новь», 1925, № 5, июнь. Окончательная авторская редакция — в I томе Собрания стихотворений.

«Не вернусь я в отчий дом» (стр. 265). Впервые — в газете «Бакинский рабочий», 1925, № 108, 17 мая, и в альманахе «Красная новь», М.—Л., 1925, № 1.

«Ну, целуй меня, целуй» (стр. 266). Впервые — в газете «Бакинский рабочий», 1925, № 110, 19 мая, и в журнале «Красная новь», 1925, № 5, июнь. Написано в апреле 1925 года.

«Синий май. Заревая теплынь» (стр. 267). Впервые — в газете «Бакинский рабочий», 1925, № 110, 10 мая, и в журнале «Красная новь», 1925, № 6, июль—август. Окончательная авторская редакция — в I томе Собрания стихотворений. Написано в мае 1925 года.

«Не уютная жидкая лунность» (стр. 267). Впервые — в газете «Бакинский рабочий», 1925, № 115, 25 мая, и в журнале «Новый мир», 1926, № 4.

1 Мая (стр. 268). Впервые — в газете «Бакинский рабочий», 1925, № 98, 5 мая. *Не очень легте!* — т. е. не подражайте стихам поэтов литературной группы «Лэф».

«Прощай, Баку! Тебя я не увижу» (стр. 269). Впервые — в газете «Бакинский рабочий», 1925, № 115, 25 мая, и в журнале «Красная новь», 1926, № 2. Написано в мае 1925 года.

«Вижу сон. Дорога черная» (стр. 270). Впервые — в газете «Бакинский рабочий», 1925, № 161, 20 июня, затем — в журнале «Красная нива», 1926, № 9, 28 февраля. Написано 2 июля 1925 года.

«Спит ковыль. Равнина дорогая» (стр. 271). Впервые — в газете «Бакинский рабочий», 1925, № 161, 20 июня, затем — в журналах «Красная нива» (1925, № 32, 2 августа) и «Огонек» (1925, № 31, 26 июля). Окончательная редакция — в I томе Собрания стихотворений. Написано в июле 1925 года.

«Я иду долиной. На затылке кепи» (стр. 271). Впервые — в газете «Бакинский рабочий», 1925, № 174, 4 августа, затем — в журналах «Огонек» (1925, № 31) и «Красная нива» (1925, № 33, 9 августа). Окончательная авторская редакция — в I томе Собрания стихотворений. Написано в июле 1925 года в Москве.

Я помню (стр. 272). Впервые — в газете «Бакинский рабочий», 1925, № 174, 4 августа, затем — в журнале «Красная нива», 1925, № 37, 6 сентября. Написано в июле 1925 года в Москве.

«Каждый труд благослови, удача» (стр. 273). Впервые — в газете «Бакинский рабочий», 1925, № 171, 31 июля, затем — в журналах «Красная нива» (1925, № 7, сентябрь) и «Огонек» (1925, № 38, 13 сентября). Написано 12 июля 1925 года в селе Константиново.

«Видно, так заведено навеки» (стр. 274). Впервые — в газете «Бакинский рабочий», 1925, № 171, 31 июля, затем — в журналах «Огонек» (1925, № 38, 13 сентября) и «Красная нива» (1925, № 7, сентябрь). Написано 13 июля 1925 года в селе Константиново.

«Жизнь — обман с чарующей тоскою» (стр. 275). Впервые — в газете «Бакинский рабочий», 1925, № 189, 21 августа, затем — в журнале «Красная нива», 1925, № 8. Написано в августе 1925 года.

«Гори, звезда моя, не падай» (стр. 276). Впервые — в газете «Бакинский рабочий», 1925, № 189, 21 августа, затем — в журнале «Красная нива», 1925, № 8. Написано 18 августа 1925 года в Мардакьянах.

«Листья падают, листья падают» (стр. 277). Впервые — в журнале «Прожектор», 1925, № 18, 30 сентября. Написано в августе 1925 года в Мардакьянах.

«Над окошком месяц. Под окошком ветер» (стр. 278). Впервые — в журнале «Красная нива», 1925, № 8. Написано в августе 1925 года. *Лиховая* — лихая, злая, озорная. «*Липа всковая*» — название популярной в дореволюционной России песни, близкой к жанру так называемого «жесточкого романа».

«Сыпь, тальянка, звонко, сыпь, тальянка, смело» (стр. 278). Впервые — в журнале «Красная нива», 1925, № 8. Написано 8 сентября 1925 года в Москве.

«Я красивых таких не видел» (стр. 279). Впервые — в журнале «Красная нива», 1925, № 42, 11 октября. Написано 13 сентября 1925 года в Москве.

«Ах, как много на свете кошек!» (стр. 279). Впервые — в журнале «Красная нива», 1925, № 42, 11 октября. Оконча-

тельная авторская редакция — в I томе Собрания стихотворений. Написано в сентябре 1925 года.

«В этом мире я только прохожий» (стр. 280). Впервые — в журналах «Красная нива» (1925, № 42, 11 октября) и «Красная новь» (1925, № 8). Некоторые поправки внесены Есениным в последней редакции (I том Собрания стихотворений). Написано в сентябре 1925 года.

«Ты запой мне ту песню, что прежде» (стр. 281). Впервые — в журналах «Красная нива» (1925, № 42, 11 октября) и «Красная новь» (1925, № 8). Написано 13 сентября 1925 года в Москве.

«Эх вы, сани! А кони, кони!» (стр. 282). Впервые — в журнале «Новый мир», 1925, № 11. Написано 19 сентября 1925 года в Москве. В окончательной авторской редакции (I том Собрания стихотворений) выпущено второе четверостишие первопечатного текста:

Снеговая, пустая дорога,
Только скрип, только снег и поля.
Ах, как выткало небо много
Рассыпающегося миткаля!

«Снежная замять дробится и колется» (стр. 283). Впервые — в журнале «Новый мир», 1925, № 11. Написано 20 сентября 1925 года в Москве.

«Синий туман. Снеговое раздолье» (стр. 284). Впервые — в альманахе «Красная новь». М.—Л., 1925, № 2. Написано 22—24 сентября 1925 года в Москве.

«Слышишь — мчатся сани, слышишь — сани мчатся» (стр. 284). Впервые — в журнале «Красная новь», 1925, № 9, ноябрь. Написано 3 октября 1925 года в Москве.

«Голубая кофта. Синие глаза» (стр. 285). Впервые — в журналах «Красная новь» (1925, № 9, ноябрь) и «Огонек» (1926, № 3, 17 января). Написано в октябре 1925 года в Москве.

«Снежная замять крутит бойко» (стр. 285). Впервые — в журналах «Красная новь» (1926, № 1) и «Огонек» (1926, № 3, 17 января). Написано в ночь с 4 на 5 октября 1925 года в Москве.

«Вечером синим, вечером лунным» (стр. 286). Впервые — в журналах «Красная новь» (1925, № 8, октябрь), «Красная нива» (1925, № 50, 6 декабря) и «Огонек» (1926, № 3, 17 января). Написано в ночь с 4 на 5 октября 1925 года в Москве.

«Не криви улыбку, руки теребя» (стр. 286). Впервые — в журнале «Красная новь», 1926, № 2. Написано в ночь с 4 на 5 октября 1925 года в Москве.

«Плачет метель, как цыганская скрипка» (стр. 286). Впервые — в журнале «Красная новь», 1926, № 1. Написано в ночь с 4 на 5 октября 1925 года в Москве.

«Ах, метель такая, просто черт возьми» (стр. 287). Печатается по книге: Сергей Есенин. Избранное. Под ред. С. А. Толстой-Есениной. М., 1946. Написано в ночь с 4 на 5 октября 1925 года в Москве.

«Снежная равнина, белая луна» (стр. 287). Печатается по книге: С. Есенин. Избранное. Под ред. С. А. Толстой-Есениной. М., 1946. Написано в ночь с 4 на 5 октября 1925 года в Москве.

«Сочинитель бедный, это ты ли» (стр. 287). Впервые — в журнале «Красная новь», 1925, № 9. Написано в ночь с 4 на 5 октября 1925 года в Москве.

«Свищет ветер, серебряный ветер» (стр. 287). Впервые — в журнале «Красная нива», 1925, № 45, 1 ноября. Написано 14 октября 1925 года в Москве.

«Мелколесье. Степь и дали» (стр. 288). Первоначальная редакция стихотворения («Темнолесье. Степь и дали») — в журнале «Красная нива», 1925, № 50, 6 декабря. Окончательная авторская редакция — в журнале «Красная новь», 1925, № 10, декабрь. Написано 21—22 октября 1925 года в Москве. *Венка* — венская двухрядная гармоника.

Цветы (стр. 289). Впервые — в однодневной газете, выпущенной редакцией «Бакинского рабочего» в помощь артистам цирка, затем — в журнале «Красная новь», 1926, № 11. Написано в октябре 1925 года. Это стихотворение представляет собой первоначальную редакцию стихотворения «*Цветы мне говорят — прощай*».

«*Цветы мне говорят — прощай*» (стр. 292). Впервые — в журналах «Красная новь» (1925, № 10, декабрь) и «Красная нива» (1925, № 10, 6 декабря). При подготовке I тома Собрания стихотворений Есенин внес отдельные исправления в журнальный текст. Написано 27 октября 1925 года в Москве на основе переработки стихотворения «*Цветы*», оставленного поэтом в его черновых рукописях.

Черный человек (стр. 293). Впервые — в журнале «Новый мир», 1926, № 1. Окончено 14 ноября 1925 года.

«*Клен ты мой опавший, клен заледенелый*» (стр. 297). Впервые — в журнале «Красная нива», 1926, № 1, 3 января. Написано 28 ноября 1925 года в Москве.

«*Какая ночь! Я не могу*» (стр. 298). Впервые — в журнале «Новый мир», 1926, № 2. Написано 30 ноября 1925 года в Москве.

«*Не гляди на меня с упреком*» (стр. 299). Впервые — в журнале «Новый мир», 1926, № 2. Написано 1 декабря 1925 года в Москве.

ПОЭМЫ

Пугачов (стр. 305). Трагедия «Пугачов» в 1922 году вышла тремя отдельными изданиями: изд. «Эльзевир» (Пг.), изд. «Имажинисты» (М.) и изд. «Русского универсального издательства» (Берлин). Монолог Буркова из VIII части «Пугачова» под названием «Из трагедии «Пугачов» был опубликован в сборнике имажинистов «Конский сад» (М., 1922). Печатается по последней редакции, представленной в III томе Собрания стихотворений. Написано в марте—августе 1921 года в Москве (замысел «Пугачова» относится к 1919 году). «Пугачову» предшествовал, как вспоминает И. Н. Розанов, драматургический опыт Есенина, относящийся к 1917—1918 годам, — трагедия в стихах «Крестьянский мир», уничтоженная автором в корректуре сборника «Скифы». И. Н. Розанов приводит в воспоминаниях интересные замечания Есенина о своей трагедии: «У меня, — говорил Есенин, — совсем не будет любовной интриги. Разве она так необходима? Умел же без нее обходиться Гоголь. — И потом, немного помолчав, прибавил: — В моей трагедии вообще нет ни одной бабы. Они тут совсем не нужны: пугачовщина — не бабий бунт. Ни одной женской роли. Около пятнадцати мужских (не считая толпы) и ни одной женской... Я несколько лет, — продолжал Есенин — изучал материалы... Я очень, очень много прочел для своей трагедии... Прежде всего сам Пугачов. Ведь он был почти гениальным человеком, да и многие из его сподвижников были людьми крупными, яркими фигурами... Еще есть одна особенность в моей трагедии. Кроме Пугачова, никто почти в трагедии не повторяется: в каждой сцене новые лица. Это придает больше движения и выдвигает основную роль Пугачова» (Иван Розанов. Есенин о себе и о других. М., 1926, стр. 12—13).

Максим Горький, вспоминая о том, как в Берлине летом 1922 года он слушал на квартире А. Н. Толстого отрывки из «Пугачова» в чтении автора, следующим образом передает свое непосредственное впечатление от трагедии Есенина: «Взволновал он меня до спазмы в горле, рыдать хотелось. Помнится, я не мог сказать ему никаких похвал, да он — я думаю — и не нуждался в них» (М. Горький. Собрание сочинений в 30 томах, т. 17. М., 1952, стр. 63).

Есенин, действительно, много работал над историческими источниками, готовясь к созданию «Пугачова». В частности, он внимательно изучил «Историю Пугачева» А. С. Пушкина. В его трагедии фигурирует ряд исторических лиц (Хлопуша и др.) и имен (генералы Екатерины II — Рейнсдорп, Михельсон и т. д.). *Имя мертвого Петра* — т. е. убитого при дворцовом перевороте царя Петра III, имя которого принял Е. И. Пугачев. *Проскачет хмарь* — развеется туман. *Тамерлан* — вернее Тимур (1336—1405), знаменитый среднеазиатский полководец-завоеватель.

Песнь о великом походе (стр. 335). Печаталась в журналах «Октябрь» (1924, № 3) и «Звезда» (1924, № 5), была включена Есениным в его книгу «Русь Советская» (Баку, 1925) и вышла отдельным изданием (М., 1925). Вошла в III том Собрания

стихотворений. Написана в июне 1924 года в Ленинграде. Прибыв летом 1924 года в Ленинград, Есенин живо заинтересовался темой героической обороны красного Питера от банд белогвардейского генерала Юденича в 1919 году. Он создал поэму, в которой показал оборону Петрограда в связи с событиями гражданской войны, с разгромом белых армий Колчака, Деникина, Корнилова, Врангеля на разных фронтах великой освободительной битвы советского народа и прославил мужество и героизм борющихся революционных масс и подвиги героев гражданской войны — К. Е. Ворошилова, С. М. Буденного. Широко использовал Есенин в поэме мотивы популярной в годы гражданской войны народной песни «Яблочко» и частушки на мотивы этой песни. *Дрохва* — или дрофа, птица, принадлежащая к группе журавлиных. *Лесфорт Франц* (1656—1699) — приближенный Петра I; участвовал в организации петровской армии и флота. *Чупрын* — хохол, вихор. *Губчека* — Губернская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией. *Ни ноготой вас не взять, ни рязанами* — не взять деньгами (от названий старинных русских монет: ногота, резань). *Никь*. — Ударить в ник означает: ударить по шее. *Лигово* — местечко под Петроградом, где шли бои против белых. *Гуляй-полевсей* — от Гуляй-Поля, города в Запорожье, где в годы гражданской войны происходили жестокие битвы.

Поэма о 36 (стр. 350). Впервые — в книге Есенина «Русь Советская» (Баку, 1925). Вошла в III том Собрания стихотворений. Написана в августе 1924 года. *Баргузин* — северо-восточный ветер на Байкале. *Шлиссельбург*. — Имеется в виду Шлиссельбургская крепость, место тюремного заключения для политических борцов в царской России. *Браслет* — ручные кандалы. *Чалдон* — коренной житель Сибири.

Анна Снегина (стр. 362). Впервые — в газете «Бакинский рабочий», 1925, № 95, 1 мая, и № 96, 3 мая, а затем с некоторыми сокращениями — в журнале «Красная новь», 1925, № 4, май. Окончательная авторская редакция — в III томе Собрания стихотворений. Поэма написана в январе 1925 года в Батуми. Есенин считал «Анну Снегину» своей большой творческой удачей. В письме к П. И. Чагину от 14 декабря 1924 года он писал: «Теперь сижу в Батуме. Работаю и скоро пришлю вам поэму. — по-моему, лучше всего, что я написал» (цитируется по книжке: С. Есенин. Стихотворения. Л., 1953, стр. 382—383, Малая серия «Библиотеки поэта»). *Липа* — подложный документ. *Калифствовал Керенский*. — А. Ф. Керенский был в 1917 году главой буржуазного, контрреволюционного Временного правительства; словом «калифствовал» Есенин подчеркивает непрочность власти Керенского, «калифа на час». *Война «до конца», «до победы»* — лозунги буржуазии в период между февралем и октябрём 1917 года, требовавшей продолжения империалистической войны. *Булдыжник* — буян, озорник. *На испод* — наизнанку. *Под Ляо-яном*. — Там во время русско-японской войны царская армия потерпела поражение. *О славшемся Порт-Артуре*. — Во время русско-японской войны Порт-Артур долго оборонялся героическими русскими воинами и был сдан

японцам генералом Стесселем. *Нерчинск* и *Турухан* — места политической ссылки в царской России: в восточном Забайкалье (нерчинская ссылка) и на севере Енисейской губернии (туруханская ссылка). *Керенки* — так называли в народе бумажные деньги, выпущенные в 1917 году Временным правительством. *Катъки* — сторублевые кредитные билеты с изображением Екатерины II, доньги царского времени.

Сказка о пастушонке Пете, его комиссарстве и коровьем царстве (стр. 383). Впервые — в журнале «Пионер», 1925, № 23, затем — в журнале «Красная панорама», 1926, № 12. Написана в октябре 1925 года. *Волсовет* — волостной Совет.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Анна Снегина	362
«Ах, как много на свете кошек!»	279
«Ах, метель такая, просто черт возьми»	287
Бабушкины сказки	78
Баллада о двадцати шести	213
Батум	252
«Белая свитка и алый кушак»	93
Береза	56
«Быть поэтом — это значит то же»	244
«В глазах пески зеленые»	97
«В зеленой церкви за горой»	93
«В том краю, где желтая крапива»	80
В хате	63
«В Хороссане есть такие двери»	241
«В час, когда ночь воткнет»	149
«В этом мире я только прохожий»	280
Весна	228
«Весна на радость не похожа»	101
«Ветры, ветры, о снежные ветры»	153
Вечер	80
«Вечер как сажа»	76
«Вечер черные брови насопил»	184
«Вечером синим, вечером лунным»	286
«Видно, так заведено навеки»	274
«Вижу сон. Дорога черная»	270
Возвращение на родину	191
«Воздух прозрачный и синий»	239
Воспоминанье	251
«Вот оно, глупое счастье»	117
«Вот такой, какой есть»	150
«Вот уж вечер. Роса»	45
«Все живое особой метой»	167
«Выткался на озере алый свет зари»	47
«Где ты, где ты, отчий дом»	113
«Глупое сердце, не бойся»	247
«Гляну в поле, гляну в небо»	103
«Годы молодые с забубенной славой»	187
«Гой ты, Русь моя родная»	66
«Голубая да веселая страна»	243
«Голубая кофта. Синие глаза»	285

«Голубая родина Фирдуси»	242
Голубень	89
«Гори, звезда моя, не падай»	276
«Да! Теперь решено. Без возврата»	170
«Даль подернулась туманом»	99
Девичник	79
Дед	96
«День ушел, убавилась черта»	102
«Дорогая, сядем рядом»	179
«До свиданья, друг мой, до свиданья»	302
«Душа грустит о небесах»	153
Егорий	67
«Жизнь — обман с чарующей тоскою»	275
«Заглушила засуха засебки»	82
«За горами, за желтыми долами»	92
«Заиграй, сыграй, тальяночка, малиновы меха»	46
«Закружилась листва золотая»	148
Заметает пурга	145
«Заметался пожар голубой»	176
«Запели тесаные дроги»	93
«За рекой горят огни»	95
«Заря окликает другую»	263
«За темной прядью перелесиц»	97
«Зашумели над затоном тростники»	63
«Зеленая прическа»	146
«Золото холодное луны»	240
«Издатель славный! В этой книге»	199
«И небо и земля все те же»	149
Инония	128
Иорданская голубица	139
Исповедь хулигана	156
«Каждый труд благослови, удача»	273
«Какая ночь! Я не могу»	298
Калики	48
Кантата	141
Капитан земли	249
«Клен ты мой опавший, клен заледенелый»	297
Кобылки корабли	158
Ксрова	86
Королева	145
«Край любимый! Сердцу снятся»	59
«Край ты мой заброшенный»	65
Ленин	184
Лисица	106
«Листья падают, листья падают»	277
Марфа Посадница	69
«Матушка в Купальницу по лесу ходила»	51
«Мелколесье. Степь и дали»	288
Метель	225
«Мир таинственный, мир мой древний»	165
«Мне грустно на тебя смотреть»	180
«Мне осталась одна забава»	171

«Может, поздно, может, слишком рано»	301
Мой путь	255
Молотьба	96
«Море голосов воробьиных»	243
«Мы теперь уходим понемногу»	194
На Кавказе	220
«На небесном синем блюде»	83
«На плетнях висят баранки»	83
«Над окошком месяц. Под окошком ветер»	278
Небесный барабанщик	142
«Небо ли такое белое»	107
«Не бродить, не мять в кустах багряных»	86
«Не вернусь я в отчий дом»	265
«Не гляди на меня с упреком»	299
«Не жалею, не зову, не плачу»	167
«Не криви улыбку, руки теребя»	236
«Не напрасно дули ветры»	109
«Не ругайтесь. Такое дело!»	169
«Несказанное, синее, нежное»	262
«Неуютная жидкая лунность»	267
«Нивы сжаты, рощи голы»	113
«Низкий дом с голубыми ставнями»	196
«Никогда я не был на Босфоре»	237
«Ночь и поле, и крик петухов»	107
«Ну, целуй меня, целуй»	266
«О, верю, верю, счастье есть!»	116
«О край дождей и непогоды»	110
«О красном вечере задумалась дорога»	99
«О муза, друг мой гибкий»	118
«О, пашни, пашни, пашни»	114
«О Русь, взмахни крылами»	110
«О товарищах веселых»	100
«Опять раскинулся узорно»	94
Осень	106
Ответ	210
«Отвори мне, страж заоблачный»	114
«Отговорила роща золотая»	193
«Отчего луна так светит тускло»	246
Памяти Брюсова	222
Пантократор	150
Певущий зов	123
1 Мая	268
«Песни, песни, о чем вы кричите?»	117
Песня	264
Песнь о великом походе	335
Песнь о Евпатии Коловрате	52
Песнь о собаке	87
Песнь о хлебе	164
Письмо деду	230
Письмо к женщине	205
Письмо к матери	188
Письмо к сестре	259

Письмо от матери	208
«Плачет метель, как цыганская скрипка»	286
П-бирушка	79
«Под венком лесной ромашки»	49
«По дороге идут богомолки»	61
Подражание песне	47
«Лет зима — аukat»	46
«Пойду в скуфье смиренным иноком»	59
«Покраснела рябина»	104
«По лесу леший кричит на сову»	77
П-минки	91
«По-осеннему кычет сова»	163
Пороша	57
«По селу тропинкой кривенькой»	75
Поэма о 36	350
Поэтам Грузии	218
Преображение	125
Пропавший месяц	108
«Проплясал, проплакал дождь весенний»	115
«Прощай, Баку! Тебя я не увижу»	269
«Прощай, родная пуща»	103
Прощание с Мариенгофом	168
«Прячет месяц за овинами»	76
Пугачов	305
«Пускай ты выпита другим»	178
Пушкину	194
«Разбуди меня завтра рано»	112
«Руки милой — пара лебедей»	245
Русь	72
Русь Советская	199
Русь уходящая	202
С добрым утром!	58
«Свет вечерний шафранного края»	238
«Свищет ветер, серббряный ветер»	287
Село	57
Сельский часослов	134
«Синий май. Заревая теплынь»	267
«Синий туман. Снегорог раздолье»	284
Сказка о пастушонке П-те, его комиссарстве и коровьем царстве	383
«Слышишь — мчатся сани, слышишь — сани мчатся»	284
«Снежная замять дробится и колется»	283
«Снежная замять крутит бойко»	285
«Снежная равнина, белая луна»	287
Собаке Качалова	261
Сорокоуст	161
«Сочинитель бедный, это ты ли»	287
«Спит ковыль. Равнина дорогая»	271
Стансы	223
«Сторона ль моя, сторонка»	60
«Сторона ль ты моя, сторона!»	166
Сукин сын	189
«Сыплет черемуха снегом»	48

«Сыпь, гармоника. Скука... Скука»	173
«Сыпь, тальянка, звонко, сыпь, тальянка, смело»	278
Табун	88
«Там, где вечно дремлет тайна»	101
«Там, где капустные грядки»	45
«Темна ноченька, не спится»	50
«Теперь любовь моя не та»	144
Теплый вечер	91
Товарищ	119
«Топи да болота»	66
«Туча кружево в роще связала»	81
«Тучи — как озера»	133
«Тучи с ожереба»	105
«Ты запой мне ту песню, что прежде»	281
«Ты меня не любишь, не жалеешь»	300
«Ты прохладой меня не мучай»	182
«Ты сказала, что Саади»	236
«Ты такая ж простая, как все»	177
Узоры	58
«Улеглась моя былая рана»	234
«Устал я жить в родном краю»	85
«Хороша была Танюша, краше не было в селе»	50
«Хорошо под осеннюю свежесть»	148
Хулиган	154
Цветы	289
«Цветы мне говорят — прощай»	292
Черемуха	77
«Черная, потом пропахшая вить»	65
Черный человек	293
Что прошло — не вернуть	51
«Шаганэ ты моя, Шаганэ!»	236
«Шел господь пытать людей в любви»	62
«Эта улица мне знакома»	175
«Этой грусти теперь не рассыпать»	195
«Эх вы, сани! А кони, кони!»	282
«Я иду долиной. На затылке кепи»	271
«Я красивых таких не видел»	279
«Я обманывать себя не стану»	174
«Я — пастух; мои палаты»	64
«Я покинул родимый дом»	147
Я помню	272
«Я по первому снегу бреду»	116
«Я последний поэт деревни»	154
«Я снова здесь, в семье родной»	84
«Я спросил сегодня у менялы»	235
«Я усталым таким еще не был»	172
Ямщик	61

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

1. *Фронтиспис. Фото, 20-е годы.*
2. *Между стр. 96 и 97. Есенин в форме военнослужащего, 1916.*
3. *Между стр. 176 и 177. Есенин. Фото, 20-е годы.*
4. *Стр. 181. Автограф стихотворения «Мне грустно на тебя смотреть».*
5. *Стр. 183. Автограф стихотворения «Вечер черные брови насопил».*
6. *Стр. 197. Автограф стихотворения «Отговорила роща золотая».*
7. *Между стр. 240 и 241. Есенин. Фото, 20-е годы.*
8. *Между стр. 352 и 353. Есенин. Фото, 20-е годы.*

СОДЕРЖАНИЕ¹

Сергей Есенин. Статья А. Л. Дымшица 5

СТИХОТВОРЕНИЯ

«Вот уж вечер. Роса»	45 393
«Там, где капустные грядки»	45 393
«Поет зима — аукает»	46 393
«Заиграй, сыграй, тальяночка, малиновы меха»	46 393
Подражание песне	47 393
«Выткался на озере алый свет зари»	47 393
«Сыплет черемуха снегом»	48 393
Калики	48 394
«Под венком лесной ромашки»	49 394
«Хороша была Танюша, краше не было в селе»	50 394
«Темна ноченька, не спится»	50 394
«Что прошло — не вернуть»	51 394
«Матушка в Купальницу по лесу ходила»	51 394
Песнь о Евпатии Коловрате	52 394
Береза	56 395
Пороша	57 395
Село	57 395
С добрым утром!	58 395
Узоры	58 395
«Край любимый! Сердцу снятся»	59 395
«Пойду в скуфье смиренным иноком»	59 395
«Сторона ль моя, сторонка»	60 395
«По дороге идут богомолки»	61 395
Ямщик	61 395
«Шел господь пытать людей в любви»	62 395
«Зашумели над затоном тростники»	63 395
В хате	63 396
«Я — пастух; мои палаты»	64 396

¹ Первая цифра соответствует странице стихотворения, вторая, курсивом, — странице примечания.

«Край ты мой заброшенный»	65 396
«Черная, потом пропавшая выть»	65 396
«Тоги да болота»	65 396
«Гой ты, Русь моя родная»	66 396
Егорий	67 396
Марфа Посадница	69 396
Русь	72 397
«По селу тропинкой кривенькой»	75 397
«Прячет месяц за овинами»	76 397
«Вечер как сажа»	76 397
«По лесу леший кричит на сову»	77 398
Черемуха	77 398
Бабушкины сказки	78 398
Побирушка	79 398
Девичник	79 398
Вечер	80 398
«В том краю, где желтая крапива»	80 398
«Туча кружево в роце связала»	81 398
«Заглушила засуха засежки»	82 398
«На небесном сплел блюде»	83 398
«На плетнях висят баранки»	83 398
«Я снова здесь, в семье родной»	84 399
«Устал я жить в родном краю»	85 399
«Не бродить, не мять в кустах багряных»	86 399
Корова	86 399
Песнь о собаке	87 399
Табун	88 399
Голубень	89 399
Поминки	91 400
Теплый вечер	91 400
«За горами, за желтыми долами»	92 400
«Белая свитка и алый кушак»	93 400
«Запели тесаные дроги»	93 400
«Опять раскинулся узорно»	94 400
«За рекой горят огни»	95 400
Молотьба	96 400
Дед	96 400
«В глазах пески зеленые»	97 400
«За темной прядью перелесец»	97 401
«В зеленой церкви за горой»	98 401
«Даль подернулась туманом»	99 401
«О красном вечере задумалась дорога»	99 401
«О товарищах веселых»	100 401
«Там, где вечно дремлет тайна»	101 401
«Весна на радость не похожа»	101 401
«День ушел, убавилась черта»	102 401
«Грошдай, родная пуца»	103 401
«Гляну в поле, гляну в небо»	103 401
«Покраснела рябина»	104 401
«Тучи с ожереба»	105 401
Осень	106 402
Лисица	106 402

«Ночь в поле, и крик петухов»	107 402
«Небо ли такое белое»	107 402
Пропавший месяц	108 402
«Не напрасно дули ветры»	109 402
«О край дождей и непогоды»	110 402
«О Русь, взмахни крылами»	110 402
«Разбуди меня завтра рано»	112 403
«Где ты, где ты, отчий дом»	113 403
«Нивы сжаты, рощи голы»	113 403
«Отвори мне, страж заоблачный»	114 403
«О пашни, пашни, пашни»	114 403
«Проплясал, проплакал дождь весенний»	115 403
«О, верю, верю, счастье есть!»	116 403
«Я по первому снегу бреду»	116 403
«Вот оно, глупое счастье»	117 403
«Песни, песни, о чем вы кричите?»	117 403
«О муза, друг мой гибкий»	118 404
Товарищ	119 404
Певущий зов	123 404
Преображение	125 404
Июния	128 404
Сельский часослов	134 406
«Тучи — как озера»	138 406
Иорданская голубица	139 406
Каштата	141 406
Небесный барабанщик	142 406
«Теперь любовь моя не та»	144 407
Королева	145 407
«Заметает пурга»	145 407
«Зеленая прическа»	146 407
«Я покинул родимый дом»	147 407
«Хорошо под осеннюю свежесть»	148 407
«Закружилась листва золотая»	148 407
«И небо и земля все те же»	149 407
«В час, когда ночь воткнет»	149 407
«Вот такой, какой есть»	150 407
Пантократор	150 407
«Ветры, ветры, о снежные ветры»	153 407
«Душа грустит о небесах»	153 408
«Я последний поэт деревни»	154 408
Хулиган	154 408
Исповедь хулигана	156 408
Кобыльи корабли	158 408
Сорокоуст	161 408
«По-осеннему кычет сова»	163 408
Песнь о хлебе	164 408
«Мир таинственный, мир мой древний»	165 408
«Сторона ль ты моя, сторона!»	166 409
«Не жалею, не зову, не плачу»	167 409
«Все живое особой метой»	167 409
Прощание с Мариенгофом	168 409
«Не ругайтесь. Такое дело!»	169 409

«Да! Теперь решено. Без возврата»	170 409
«Мне осталась одна забава»	171 409
«Я усталым таким еще не был»	172 409
«Сыпь, гармоника. Скука... Скука»	173 409
«Я обманывать себя не стану»	174 409
«Эта улица мне знакома»	175 409
«Заметался пожар голубой»	176 409
«Ты такая ж простая, как все»	177 410
«Пусть ты выпита другим»	178 410
«Дорогая, сядем рядом»	179 410
«Мне грустно на тебя смотреть»	180 410
«Ты прохладой меня не мучай»	182 410
«Вечер черные брови насопил»	184 410
Ленин	184 410
«Годы молодые с забубенной славой»	187 410
Письмо к матери	188 411
Сукин сын	189 411
Возвращение на родину	191 411
Пушкину	194 411
«Мы теперь уходим понемногу»	194 411
«Этой грусти теперь не рассыпать»	195 411
«Низкий дом с голубыми ставнями»	196 411
«Отговорила роща золотая»	198 411
«Издатель славный! В этой книге»	199 412
Русь Советская	199 412
Русь уходящая	202 412
Письмо к женщине	205 412
Письмо от матери	208 412
Ответ	210 412
Баллада о двадцати шести	213 412
Поэтам Грузии	218 413
На Кавказе	220 413
Памяти Брюсова	222 413
Стансы	223 413
Метель	225 414
Весна	228 414
Письмо деду	230 414
Персидские мотивы:	
«Улегалась моя былая рана»	234 414
«Я спросил сегодня у менялы»	235 414
«Шаганэ ты моя, Шаганэ!»	236 414
«Ты сказала, что Саади»	236 415
«Никогда я не был на Босфоре»	237 415
«Свет вечерний шафранного края»	238 415
«Воздух прозрачный и синий»	239 415
«Золото холодное луны»	240 415
«В Хороссане есть такие двери»	241 415
«Голубая родина Фирдуси»	242 415
«Голубая да веселая страна»	243 415
«Море голосов воробьиных»	243 415
«Быть поэтом — это значит то же»	244 415
«Руки милой — пара лебедей»	245 416

«Отчего луна так светит тускло»	246 416
«Глупое сердце, не бойся»	247 416
Капитан земли	249 416
Воспоминанье	251 416
Батум	252 416
Мой путь	255 416
Письмо к сестре	259 416
Собаке Качалова	261 416
«Несказанное, синее, нежное»	262 417
«Заря окликает другую»	263 417
Песня	264 417
«Не вернусь я в отчий дом»	265 417
«Ну, целуй меня, целуй»	266 417
«Синий май. Заревая теплынь»	267 417
«Неуютная жидкая лунность»	267 417
1 Мая	268 417
«Прощай, Баку! Тебя я не увижу»	269 417
«Вижу сон. Дорога черная»	270 417
«Спит ковыль. Равнина дорогая»	271 417
«Я иду долиной. На затылке кепи»	271 418
Я помню	272 418
«Каждый труд благослови, удача»	273 418
«Видно, так заведено навеки»	274 418
«Жизнь — обман с чарующей тоскою»	275 418
«Гори, звезда моя, не падай»	276 418
«Листья падают, листья падают»	277 418
«Над окошком месяц. Под окошком ветер»	278 418
«Сыпь, тальянка, звонко, сыпь, тальянка, смело»	278 418
«Я красивых таких не видел»	279 418
«Ах, как много на свете кошек!»	279 418
«В этом мире я только прохожий»	280 419
«Ты запой мне ту песню, что прежде»	281 419
«Эх вы, сани! А кони, кони!»	282 419
«Снежная замять дробится и колется»	283 419
«Синий туман. Снеговое раздолье»	284 419
«Слышишь — мчатся сани, слышишь — сани мчатся»	284 419
«Голубая кофта. Синие глаза»	285 419
«Снежная замять крутит бойко»	285 419
«Вечером синим, вечером лунным»	286 419
«Не криви улыбку, руки теребя»	286 419
«Плачет метель, как цыганская скрипка»	286 420
«Ах, метель такая, просто черт возьми»	287 420
«Снежная равнина, белая луна»	287 420
«Сочинитель бедный, это ты ли»	287 420
«Свищет ветер, серебряный ветер»	287 420
«Мелколесье. Степь и дали»	288 420
Цветы	289 420
«Цветы мне говорят — прощай»	292 420
Черный человек	293 420
«Клен ты мой опавший, клен заледенелый»	297 420
«Какая ночь! Я не могу»	298 420
«Не гляди на меня с упреком»	299 420

«Ты меня не любишь, не жалеешь»	300 421
«Может, поздно, может, слишком рано»	301 421
«До свиданья, друг мой, до свиданья»	302 421

П О Э М Ы

Пугачов	305 422
Песнь о великом походе	335 422
Поэма о 36	350 423
Анна Снегина	362 423
Сказка о пастушонке Пете, его комиссарстве и коровьем царстве	383 424
Примечания	389
Алфавитный указатель произведений	425
Список иллюстраций	430

Редакционная коллегия:

*В. Н. Орлов (главный редактор), М. О. Ауэзов,
А. Г. Дементьев, В. П. Друзин, В. О. Псрцов,
А. А. Прокофьев, М. Ф. Рыльский, В. М. Саянов,
А. А. Сурков, А. Т. Твардовский, Н. С. Тихонов,
И. Г. Ямпольский (зам. главного редактора)*

Есенин Сергей Александрович
СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Редактор *В. П. Друзин*

Художник *И. С. Серов*
Худож. редактор *М. Е. Новиков*
Техн. редактор *В. Г. Комм*
Корректор *П. Е. Суздальский*

Сдано в набор 17/VIII 1956 г. Подписано
в печать 26/X 1956 г. Бумага 84×108/32.
Печ. л. 27,5+5 вкл. (23,06) Уч.-изд. л.
21,35. Тираж 30 000. Зак № 738. Цена
8 р. 35 к.

Ленинградское отделение издательства
«Советский писатель»
Ленинград, Невский пр., д. 28.

Типография № 3 Управления культуры
Ленгорисполкома
Ленинград, Красная ул., 1/3.

„БИБЛИОТЕКА ПОЭТА“

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ

Большая серия

**В. А. Жуковский
Н. И. Гнедич**

Малая серия

**Исторические песни
К. Ф. Рылев
Н. А. Некрасов
(тт. I—III)**

ВЫХОДЯТ ИЗ ПЕЧАТИ

Большая серия

**А. Кантемир
Н. П. Огарев
И. Бунин
С. Есенин**

Малая серия

**И. Козлов
Э. Багрицкий
Янка Купала
Д. Гурамишвили**

